



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

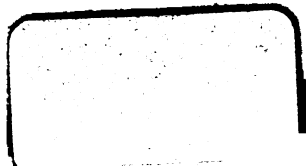
- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



1333







X 1062





Амфи́театров, А. В.  
"

**А. АМФИТЕАТРОВЪ**

**ЖИТЕЙСКАЯ  
НАКЛЮПЬ**



PG 3451  
A7Z35

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества „Общественная Польза“

Большая Подъяческая, 39.

1903.



**Verlag und Buchhandlung  
«Wiek Kultury»**

**БИБЛИОТЕКА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВЛЯ**

**«ВЪК КУЛЬТУРЫ»**

Посвящается

Петру Петровичу

Мельникову



## СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
I. Фармазоны . . . . .	1
II. Птичка Божія . . . . .	23
III. Травля подсудимыхъ . . . . .	37
VI. О неудачномъ поколѣніи . . . . .	45
V. Владыки Будущаго . . . . .	57
1. . . . .	59
2. . . . .	67
3. . . . .	73
VI. Юные . . . . .	83
VII. «Татьяны». . . . .	101
1. . . . .	103
2. . . . .	110
VIII. Напрасныя смерти. . . . .	115
IX. Диффамация. . . . .	133
X. Тальма. . . . .	141
XI. Другъ. . . . .	155
XII Желѣзнодорожный разбой. . . . .	169
XIII. Среди ликующихъ. . . . .	181
1. Аркадійское пожарище . . . . .	183
2. Томленіе духа . . . . .	195
3. «Мѣсто Кюбное» . . . . .	219
4. Наводненскій Гамлетъ. . . . .	229
5. Изъ мыслей о петербуржцахъ. . . . .	237
XIV. Разговоры съ финансистомъ . . . . .	249
I. Сумерки боговъ . . . . .	251
II. Серьезное успокоеніе . . . . .	261
XV. Несторова лѣтопись 1899 года . . . . .	271

1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

**Verlag und Buchhandlung  
«Wiek Kultur»**

**БИБЛИОТЕКА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВЛЯ**

**«ВЪК КУЛЬТУРЫ»**

Я ѣхалъ курьерскимъ поѣздомъ изъ Москвы въ Петербургъ. Въ вагонѣ было пусто. Ближайшимъ ко мнѣ сосѣдомъ по креслу оказался бравый мужчина, лѣтъ подъ пятьдесятъ, широкоплечій, усатый, съ краснымъ загорѣлымъ лицомъ и богатырскою грудью. Разговорились. Оказался средней руки землевладѣльцемъ Н—ской губерніи, а прежде служилъ въ гусарахъ, дослужился до ротмистра и вышелъ въ отставку. Хозяиничаетъ, женатъ, имѣетъ кучу дѣтей и, — о, диво, истинно дворянское диво! — ни гроша долга, хотя, какъ самъ признается, «смолоду было бито-граблено».

— Зато теперь ужь... ни-ни! Не пью, курить бросилъ, а — что до женщинъ, такъ, будучи женатымъ на моей свѣтъ-Натальѣ Александровнѣ, не имѣю времени даже вспомнить: существуютъ ли, кромѣ нея, на землѣ, другія представительницы прекраснаго пола? Такъ-то-съ. А было, всего было... Однако, не всхрапнуть ли? Уже первый часъ...

Онъ вынулъ часы, на цѣпочкѣ, обремененной множествомъ брелоковъ. Въ числѣ ихъ бросилась въ глаза огромная золотая монета незнакомой, иностранной чеканки

— Что это у васъ? — заинтересовался я.

— Это? Ха-ха-ха! Фармазонскій рубль! Слышали? Шучу: старый мексиканскій долларъ. Рѣдкостная штука. Я думаю, во всей Россіи только въ нашей семьѣ и имѣется. У меня, у брата Пети, брата Володи, брата Сенички, брата Федички, брата Мити, брата Герасима, брата Тита, брата Онисима... Какъ увидите у кого на пузѣ такую

златницу, такъ и знайте: Жряховъ, значить. Хе-хе-хе! фармазоны! Я брата Онисима двадцать лѣтъ не видалъ. Иду по Невскому: навстрѣчу — рамоли, еле ноги движеть, и на жилетѣ — долларъ этотъ. — Извините, говорю, милостивый государь, съ кѣмъ именно изъ братьевъ моихъ, Жряховыхъ, имѣю удовольствіе? — Я, отвѣчаетъ, Онисимъ. А ты кто же? Ванечка или Вольдемаръ?.. Вотъ-съ, фармазонство какое!

И, лукаво посмѣиваясь, онъ вытянулся на креслѣ во весь свой богатырскій ростъ, закинулъ руки за голову, смежилъ очи и почти моментально заснулъ, съ хитрою улыбкою на губахъ.

Утромъ, проснувшись подъ Вишерою, слышу громкую бесѣду. Говорили вчерашній спутникъ со «златницею» и новый пассажиръ, сѣвшій ночью гдѣ-то на промежуточной станціи, — юный, упитанный щеголекъ, съ очень хорошими, барственными манерами. Первое, что привлекло мое вниманіе, когда я осматривалъ пришельца, — точь въ точь такой же брелокъ-златница, что и у Жряхова, эффектно вывѣшенный на цвѣтномъ жилетѣ. Жряховъ пучилъ глаза на златницу незнакомца, видимо недоумѣвающей и сбитый съ толку.

— Позвольте-съ, — гудѣлъ его густой голосъ, — вы слово, честное дворянское слово даете мнѣ, что вы не изъ Жряховыхъ?

— Странный вы человѣкъ! — отзываясь ему веселый теноръ, — говорю же вамъ: Ергаевъ Вадимъ, Ергаевъ моя фамилія, а съ Жряховыми ничего общаго не имѣю.

— Непостижимо!

— Слыхалъ, что есть такіе помѣщики въ нашемъ уѣздѣ. Только изъ нихъ никто уже въ этомъ имѣньи не живетъ. Купецъ какой-то арендуетъ.

— Вѣрно-съ... Но въ такомъ случаѣ... удивительно-съ!.. Откуда же это у васъ?.. Быть не можетъ!.. Удивительно!

Бормоча такія безтолковыя восклицанія, Жряховъ продолжалъ таращиться на юношу, облизывалъ губы языкомъ, щипалъ себя за усы, воздымалъ плечи къ ушамъ, — вообще, видимо, сгоралъ отъ нетерпѣливаго любопытства предъ какою-то сомнительною загадкою или мистификаціей... И, наконецъ, вдругъ выпалилъ густымъ басомъ, глядя пассажиру прямо въ глаза:

— Стало быть, Клавдія-то Карловна жива еще?

Юноша удивленно раскрылъ ротъ, странно дрыгнувъ ножкою и протянувъ медлительно и въ носъ:

— Жи-и-ива... А вы ее знаете?

— Гмъ... знаю ли я ее? — съ ожесточеніемъ и даже какъ бы обидясь, воскликнулъ Жряховъ. — Кому же ее и знать, какъ не мнѣ? Ивану Жряхову?! Всѣмъ намъ, Жряховымъ, благодѣтельница, пуще матери родной!.. Да! я могу ее знать! Клавдія Карловна нашего времени человѣкъ. Но вотъ, какъ вы ее изволите знать, — это, признаюсь, мнѣ весьма удивительно: вѣдь ей, по самому дамскому счету, сейчасъ за пятьдесятъ... Куда! къ шестидесяти близко!..

Юноша опять конфузливо дрыгнувъ ножкою и, слегка усиливъ розовыя краски на своемъ сытомъ личикѣ, возразилъ:

— Неужели? Я бы ей и сорока не далъ. Удивительно сохранилась!

Жряховъ внезапно фыркнулъ и закатился смѣхомъ. Глядя на него, засмѣялся и — сначала изумленный и даже готовый обидѣться — юноша.

— О... о... отъ нея? — съ трудомъ пересиливая смѣхъ, выговорилъ Жряховъ, коснувшись указательнымъ перстомъ златницы спутника. Тотъ неопредѣленно пожалъ плечами. Жряховъ залился еще пуще.

— А говорили... ничего общаго!.. — лепеталъ онъ, вытирая выступившія слезы, — нѣтъ, батюшка! Кто симъ отмѣченъ, въ томъ... хо-хо-хо!.. стало быть, есть жряховское!



есть! Хо-хо-хо! Фармазоны! Такъ сохранилась, говорите? Ахъ, чортъ ее подери!

— Клавдія Карловна — предпочтенная дама, — серьезно сказалъ юноша. — Въ нашемъ захолустыи она просто — фениксъ. Мы бы погибли, спились безъ нея. Вѣдь отъ этой провинціальной скуки чортъ знаетъ, до чего можно дойти. Хоть пулю въ лобъ — иной разъ, а вотъ Застя на кухаркиной сестрѣ спяну женился. Скажу вамъ откровенно: безъ Клавдіи Карловны я самъ не знаю, что со мною было бы... Изъ университета я удаленъ за «исторію», пріѣхалъ подъ надзоръ, тоска, хандра, не до работы, кругомъ пьянство, развратъ, — ну, знаете, съ волками жить по-волчьи выть... пропалъ бы, кабы не Клавдія Карловна.

Жряховъ одобрительно кивалъ головою.

— Что говоритъ! — согласился онъ, — сколько ей нашего брата, дворянъ, спасеніемъ обязано, — даже удивленія достойно. Только я до сей поры полагалъ, что она исключительно нашъ жряховскій родъ, по многочисленности онаго, спасла, а теперь вижу, что стала выступать и въ другія фамилии. Вы, г. Ергаевъ, давно ли изволили гостить у Клавдіи Карловны?

— Лѣтомъ 1897-го года.

— Такъ-съ. А я лѣтомъ 1875-го. Разныхъ выпусковъ, стало быть.

И бѣшенный смѣхъ снова овладѣлъ имъ. Юноша тоже загоготалъ.

— Господа, — сказалъ я, — вы такъ заразительно смѣетесь, что слушать завидно. А, судя по громкому вашему разговору, — то, чему смѣетесь, не секретъ. Не будьте эгоистами: дайте повеселиться и мнѣ, бѣдному, скучающему попутчику.

— Съ удовольствіемъ, — сказалъ Жряховъ.

— Ничего не имѣю противъ, — прохихикалъ юноша.

— Видите ли, — началъ Жряховъ, уѣздъ, гдѣ я родился, — и вотъ гдѣ они, — кивнулъ онъ на юношу, — те-

перь жительствоуютъ, медвѣжьей уголь. Тамъ и желѣзная дорога-то недавно прошла—всего лѣтъ десять, какъ зацѣпилась вѣткою за Николаевку. Дворянство, въ мое время, сидѣло еще по усадьбамъ много, только, по захолустной суккѣ, всѣ такъ между собою перероднились, что во всемъ уѣздѣ не стало ни жениховъ, ни невѣстъ—все кузины, да кузены: никакой попъ вѣнчать не станеть. Ладно-сь. Любвей, стало быть, нема, а безъ любвей—какая же и общственность? Старикамъ хорошо: водки выпить, въ карты поиграть, а молодому человѣку это—тьфу! рано! ему романическое подавай, съ чувствами. И, такъ какъ въ романическомъ была у насъ, молодыхъ дворянъ, большая убыль, — ибо сосѣдскія барышни, зная, что мы не женихи, пребывали къ намъ весьма холодны и готовы были промѣнять всѣхъ насъ гуртомъ на любого франта изъ другихъ уѣздовъ, только бы не былъ кузень,—то впадали мы въ холостую тоску, а чрезъ нее въ огорчительные для родителей и пагубные поступки.

Юноша вдругъ фыркнулъ. Жряховъ пріятно на него уставился:

— Что вы-сь?

— Н-н-ничего... я вспомнилъ... продолжайте...

— Родитель мой, Авксентій Николаевичъ Жряховъ, и родительница, Марья Семеновна, были люди строгіе, богобоязненные. Дѣтей имѣли множество и дрожали наль ними трепетно. А сынки, то-есть я и братцы мои, удались, какъ нарочно, сорванецъ на сорванцѣ, умы буйные, страсти пылкія... И вотъ съ, — тонко улыбнулся рассказчикъ, — вспоминаю я изъ дѣтства моего такую картину. Пріѣхалъ изъ корпуса на побывку братъ Онисимъ. Мнѣ тогда годовъ девять было, а ему семнадцать, восемнадцатый. Парень — буря-бурею... Н-ну... Живеть недѣлю, другую. Вдругъ, въ одинъ прекрасный день — катастрофа... Онисимъ — словно туча; горничная Малаша — вся въ слезахъ; мать ея, скот-

ница, вопить, что кого то погубили, и такъ она не оставитъ, пойдетъ до самого губернатора; маменька валяется въ обморокахъ и кричитъ, что Онисимъ ей не сынъ, и видѣтъ она его, безпутнаго, не хочетъ; а папенька ходитъ по кабинету, палитъ трубку, разводитъ руками и бормочетъ:

— Что-жъ подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Человѣкъ молодой. Законъ природы, законъ природы!

Малашъ дали сто рублей и убрали ее изъ дома, но... недѣли двѣ спустя, въ слезахъ была прачка Устя, и про походъ къ губернатору вопила Устина тетка. Еще черезъ недѣлю—Груша съ деревни, и Грушинъ отецъ явился въ усадьбу съ преогромнымъ коломъ. Съ березовымъ-съ. Положеніе становилось серьезно. Папенька съ маменькою, хотя люди достаточные, однако не фабриковали фальшивыхъ бумажекъ, чтобы съ легкостью располагать сторублевками. А ихъ, судя по энергіи брата Онисима и обилію крестьянскихъ дѣвицъ въ околоткѣ, надо было заготовить преогромный запасъ. Чувствуя себя безсильною предъ сыновнимъ фатумомъ, мамаша продолжала рыдать, проклинать и падать въ обмороки, а папаша курить трубку и рассуждать:

— Что-жъ подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы!

И вотъ тутъ-то впервые слетѣлъ къ намъ съ небеси ангель-избавитель, въ лицѣ Клавдіи Карловны

Она тогда всего лишь третій годъ овдовѣла и жила строго-строго. Ѣздила въ далекіе монастыри Богу молиться, платья носила темныхъ цвѣтовъ, манеры скромныя, изъ себя—картина. Блондинка, на щекахъ розы, глаза голубые на выкатѣ, лучистые этакіе, ростъ, фигура, атуры... заглядѣнье! Вотъ-съ, пріѣзжаетъ она къ намъ, по сосѣдству, въ гости-съ. Маменька ей, конечно, всю суть души и возрыдала. Клавдія Карловна—ангелъ она!—большое участіе выказала... даже разгорячилась и въ румянецъ взошла.

— Позвольте,—говорить,—Марья Семеновна, покажите мнѣ этого безнравственнаго молодого человѣка!

— Охъ, — маменька отвѣчаетъ, — душенька Клавдія Карловна! Мнѣ этого негодяя совѣстно даже и выводить-то къ добрымъ людямъ.

Однако, послѣла за братомъ Онисимомъ. Осмотрѣла его Клавдія Карловна внимательно. Ну, — гдѣ учитесь? да любите ли вы свое начальство? да начальство вами довольно ли? да зачѣмъ вы огорчаете маменьку? да маменька вамъ — мать родная... Словомъ, вся бабья нравоучительная канитель, по порядку, какъ быть надлежить.

Юноша Ергаевъ опять захихикалъ.

— Было-сь? — кротко обратился къ нему Жряховъ.

— Какъ на фотографіи! — раскатился тотъ.

— Отпустили Онисима дамы. Клавдія Карловна и говоритъ мамашѣ:

— Что хотите, душечка Марья Семеновна, а онъ не безнравственный!

— Душечка, безнравственный!

— Ахъ, не безнравственный!

— Милочка, безнравственный!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! не повѣрю, не могу повѣрить! Быть не можетъ. Такой пріятный мальчикъ, и вдругъ безнравственный!

— Душечка, Малашкѣ — сто, да Устюшкѣ — сто, да Грушкинъ отецъ — съ березовымъ коломъ. Пришлось бы вамъ коль-то увидеть, такъ повѣрили-бъ, что безнравственный!

Задумалась Клавдія Карловна и вдругъ — съ вдохновеніемъ такимъ, въ очахъ-то голубыхъ:

— Вся эта его безнравственность, — просто налетъ! юный налетъ — ничего больше! Душечка Марья Семеновна, умоляю васъ: не позволяйте ему погибнуть!

Маменька резонно возражаетъ:

— Какъ ему не позволишь, жеребцу этакому? Услѣдишь развѣ? Я человекъ старый, а онъ, извергъ, шастаетъ — ровно о четырехъ копытахъ.

— Это, — говоритъ Клавдія Карловна, — все оттого, что онъ одичалъ у васъ. Ему надо въ обществѣ тонкихъ чувствъ вращаться, женское вліяніе испытать... Такъ-съ? — круто повернулся рассказчикъ къ Ергаеву.

Тотъ кивнулъ головою, трясаясь отъ беззвучнаго смѣха.

— Вручите, — говоритъ, — его, душечка Марья Семеновна, мнѣ! Я вамъ его спасу! Я образумлю, усовѣщу! Я чувствую, что могу усовѣстить! И должна! Должна, какъ сосѣдка ваша, какъ другъ вашъ, какъ христіанка, наконецъ... Отпустите его ко мнѣ погостить, — я усовѣщу!

— О, Господи! — простоналъ Ергаевъ.

— Хорошо-съ. Мамашѣ что же? Кума съ возу, — куму легче. Обрадовалась даже: все-таки хоть нѣсколько дней дѣтище милое на глазахъ торчать не будетъ, да и та надежда естъ, — авось, хоть въ чужомъ-то дому не станеть безобразить, посовѣстится... Ну-съ, уѣхалъ нашъ донъ-Жуанъ съ Клавдіей Карловной, и слѣдъ его простыль. Недѣля, другая, третья... только — когда ужъ въ корпусъ надо было ѣхать, появился дия за три. Еще больше его ввысь вытянуло худой сталь, баритономъ заговорилъ, а глаза мечтательные этакіе и словно какъ бы съ поволокою. У васъ совсѣмъ не такіе! — бросилъ онъ Ергаеву.

— Помилуйте, — обидчиво отозвался тотъ, — да вѣдь съ 1897-го-то года два лѣта прошли!

— Рѣчь у Онисима стала учтивая, манеры — въ любую гостиную. Просто ахнула мамаша: узнать нельзя малаго! Ай-да, Клавдія Карловна!.. И, въ дополненіе благодарній, подарила она ему на память часы съ цѣпочкою, и на цѣпочкѣ — точно такую же вещицу, какъ видите вы у насъ съ г. Ергаевымъ... Въ нашемъ роду она тогда была первая-съ.

Ну-съ, затѣмъ исторія прекращаетъ свое теченіе на годъ. Братъ Онисимъ въ офицеры вышелъ и въ полкъ поступилъ, а на побывку лѣтнюю пожаловалъ братъ Герасимъ — только что курсъ гимназіи кончилъ и на юридиче-

скій мѣтилъ. Книжечкѣ умныхъ навезъ. Развивать, говорить, васъ буду! Смиреникъ такой, — шалостей никакихъ; ходить въ садъ съ книжкой, листьями вертеть, на поляхъ отмѣтки дѣлаеть. Мамаша не нарадуется. Только вдругъ— объясненіе. Приходить:

— Маменька, предупредите папеньку, что я университетъ рѣшилъ по боку.

— Какъ? что? почему? уморить ты насъ хочешь?

— Потому что я долженъ жениться, и мнѣ станетъ не до ученья,—придется содержать свою семью.

— Жениться? Да ты ошалѣлъ? когда? на комъ?

— На Феничкѣ.

— На просвирниной дочери?!

Такъ маменька и рухнула... Очнувшись:

— Рассказывай, говорить, разбойникъ, что у васъ было! добивай мать!

Отвѣчаетъ:

— Да ничего особеннаго. Я ей «Что дѣлать» читаль.

— Ну?

— Она ничего не поняла.

— Еще бы! просвирнина-то дочь!

— Тогда я началъ ей «Шагъ за шагомъ» читать.

— Ну?

— Она тоже ничего не поняла, но...

— Да не мучь! не тани!

— Но какъ-то стала въ интересномъ положеніи.

Маменька опять въ обморокъ. Папенька пришелъ, усами пошевелилъ, трубочкой попыхтѣлъ:

— Что-жъ, говорить, — подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы!

— Вотъ, — братъ одобряетъ, — за это я васъ уважаю. Здравый образъ мыслей имѣте.

— Но жениться на Фенькѣ,—продолжаетъ отецъ, — и думать забудь, прохвость! Проклянута, наслѣдства лишу, изъ дома выгоню.

— А вотъ за это, — возражаетъ братъ, — я васъ презираю. Подлый образъ мыслей имѣете.

И пошла у насъ въ домѣ каждодневная буря. — Женюсь! — Вонъ изъ дома! — Женюсь! — Вонъ изъ дома!.. Не житье, а каторга.

Въ такихъ-то тѣсныхъ обстоятельствахъ маменька и вспомнила о Клавдіи Карловнѣ, какъ она нашего Онисима въ чувства возвратила. Къ ней:

— Голубушка! благодѣтельница! Вы одна можете! спасите! усовѣстите!

Выслушала та, вздохнула глубоко, возвела голубыя очи горѣ, перекрестилась и говорить:

— Пришлите!

И—что же бы вы думали-съ? Поѣхаль къ ней Герасимъ яко бы съ визитомъ, да... только мы его и видѣли. Лишь за три дня до отъѣзда явился—молодцомъ, еще лучше Онисима, вылощенный такой, надушенный, и «златница» на цѣпочкѣ. Лихо! О Феничкѣ и не спросилъ, а ее тѣмъ временемъ маменька замужъ спроворила, хорошаго жениха нашла, изъ города почтальона,—смирный, всего на семь четвертныхъ миру пошелъ и еще ручку у маменьки поцѣловаль съ благодарностью. Стали было у насъ въ домѣ надъ Герасимомъ подшучивать:

— Какъ же, молъ, братецъ, тебя Клавдія Карловна усовѣщивала? колѣнками на горохъ ставила или иное что?

А онъ весьма серьезно:

— Прошу васъ на эту тему не острить. И кто объ этой святой женщинѣ дурно подумаетъ, не только скажетъ, тотъ будетъ имѣть дѣло со мною. А эту вещь,—златницею потрясаетъ,—я сохраню на всю жизнь, какъ зѣницу ока, на память, какія умныя и развитыя дамы существуютъ въ Россіи, и до какого благороднаго самопожертвованія могутъ онѣ доходить!..

Ну-съ... Я буду кратокъ. Черезъ годъ Клавдіи Карловнѣ пришлось спасать брата Тита: тоже жениться хо-

тѣль — на сосѣдской гувернанткѣ. Затѣмъ брата Митю, — въ городъ сталъ больно часто ѣздить, такъ мамаша за его здоровье опасалась. А какъ пріѣхалъ братъ Ѳедичка, изъ правовѣднія, то мамаша даже и выжидать не стала, чтобы онъ выкинулъ какое-нибудь художество, а прямо такъ-таки усадила его въ тарантасъ и отвезла къ Клавдіи Карловнѣ:

— Усовѣщивайте!.. Хотя и ничего еще не набѣдокурить, а усовѣщивайте!.. Такая ужъ ихъ подлая жряховская порода!

И только на братѣ Петѣ вышла было, въ сей традиціи, малая зацѣпка. Рыжій онъ у насъ такой, весноватый, угрюмый, — одно слово, буреломъ. По лѣсному институту первымъ силачомъ слылъ. Волосы — копромъ. Въ кого только такимъ чортомъ уродился? Привезла его маменька... Клавдія Карловна — какъ взглянула, даже изъ себя перемѣнилась:

— Ахъ, — говорить, — рыжій! ненавижу рыжихъ!

— Голубушка, — плачетъ маменька, — душечка! Клавдія Карловна!

— Нѣтъ, нѣтъ! И не просите! Не могу я имѣть вліянія на рыжихъ! Не могу! Не могу! Антипатичны моей натурѣ! Не въ силахъ, — извините, не въ силахъ.

— Голубушка! Да не все ли равно — кого усовѣщевать-то? Брюнетъ ли, блондинъ ли, рыжій, — совѣсть то въдъ цвѣтовъ не разбираетъ, безволосая она...

— Ахъ, ахъ! Какъ все равно? Какъ все равно? Флюиды нужны, а я флюидовъ не чувствую.

— Матушка! — убѣждаетъ маменька, — флюиды будутъ.

Насилу уговорила.

— Такъ и быть, Марья Семеновна, видючи ваши горькія слезы, возьмусь я за вашего Петю. Но помните: это съ моей стороны жертва, великая жертва.

— Ужъ пожертвуйте, матушка!



Прослезилась Клавдія Карловна и крѣпко жметъ ей руку:

— Ахъ, Марья Семеновна! вся жизнь моя—одно самопожертвованіе.

— За то васъ Богъ наградить!—сказала маменька.

Взглянула на небо:

— Развѣ Онъ!

Вашъ покорнѣйшій слуга тѣмъ временемъ доучивался въ Петербургѣ, у нѣмца-офицера, въ пансіонѣ: въ юнкерское училище готовился. Братья старшіе, тѣмъ временемъ, уже въ люди вышли. Онисимъ ротою командоваль, Герасимъ—товарищъ прокурора, Митька—главный бухгалтеръ въ банкѣ... Хорошо-съ. Ъдучи къ родителямъ на каникулы, обхожу весь родственннй приходъ—проститься. Ну, извѣстно: поцѣлуй папеньку съ маменькой, кланяйся всѣмъ, вспомяни на родномъ пепелищѣ. Отцѣловались съ братомъ Онисимомъ, ухожу уже.

— Да!—кричить, — главное-то позабылъ! Вотъ что: увидишь Клавдію Карловну, такъ, голубчикъ, кланяйся ей очень; очень, очень! да ручку поцѣлуй, дуракъ! да передай вотъ эту штуkenцію... Отъ брата Онисима-моль! Пожжа-луйста!

И суеть мнѣ превосходнѣйшій альбомъ—въ серебрѣ—и надпись на крышкѣ:

«Отъ вѣчно преданнаго и благодарнаго».

— А о златницѣ сей,—показываетъ,—передай, что всегда памятую и не спимаю.

У Герасима—та же самая исторія. У Дмитрія—та же. У Тита—та же. Навалили мнѣ подарковъ къ передачѣ кучу. Шали какія-то, мѣха, коверъ... И все—отъ благодарнаго, признательнаго, пикогда не забуду вашихъ благодарннй, ношу и помню, будьте во мнѣ увѣрены. Даже дико мнѣ стало: что за родня у меня такая? Папенькѣ съ маменькой—шишь, а чужой дамѣ—горы горами шлютъ... просто неловко какъ-то! Высказаль это свое недоумѣніе брату Титу, а онъ далъ мнѣ подзатыльникъ и говоритъ:

— Глупъ еще. Зеленъ. Созрѣешь — самъ посылать будешь. Айда!

Пріѣхалъ. Здравствуйте, папенька! Здравствуйте, маменька! Радостно. Ну, пирогъ съ морковью, творогъ со сливками, простокваша, — все, какъ свойственно. Отпироваль первые родственные восторги, вспомнилъ: ба! да вѣдь у меня подарки на рукахъ... Иду къ родителямъ:

— Папенька, позвольте вашего шарабана.

— Зачѣмъ? куда?

— Къ Клавдіи Карловнѣ.

Каково же было мое удивленіе, когда папенька вдругъ страшно вытаращилъ на меня глаза и едва не уронилъ трубку изъ рукъ, а маменька всплеснула руками и облилась горькими слезами.

— Уже! — стонаетъ, — уже!..

А отецъ тянетъ:

— Какъ ты ска-заль?

— Къ Клавдіи Карловнѣ.

— Пошелъ вонъ, дуракъ!

Ушелъ. Ничего не понимаю, за что обруганъ и выгнанъ. Отъ дверей зовутъ назадъ:

— Зачѣмъ тебѣ къ Клавдіи Карловнѣ?

Мать опять какъ всплеснетъ руками и — негодующимъ голосомъ:

— Аксюша! какъ тебѣ не стыдно?

Даже покраснѣла вся.

— Какъ зачѣмъ? Мнѣ братцы цѣлую уйму вещей навязали, — все просили ей въ презентъ передать.

— Ага!.. ну, успѣешь... — снисходительно сказалъ отецъ.

— Торть тамъ яблочный, отъ Ѳеди... не испортился бы? — говорю деликатно и, казалось бы, вполне резонно. А онъ опять вдругъ насупился, да какъ вскинется:

— Русскимъ тебѣ говорю языкомъ: успѣешь... м-м-мерзавецъ!

Ладно. Дитя я былъ покорное: не пускають, и не надо. Даже не доискивался, почему. Понялъ такъ, что, должно быть, папенька и маменька съ Клавдіей Карловной поссорились... Пошелъ со скуки, съ ружьемъ да Діанкою-псицею, слоновъ слонять по лугамъ-болотамъ. лѣсамъ дубравамъ; деревушкамъ да выселкамъ. Вотъ-съ, иду я какъ-то селомъ нашимъ съ охоты, а у волостного правленія на крыльцѣ писариха сидитъ, сѣмячки щелкаетъ.—Здрате!—Здрате! Сѣмячковъ не угодно ли?— Будьте такъ любезны!.. Баба не старая, мужъ пьяница, драния ноздря... И пошло у насъ это каждый день. Какъ я съ ружьемъ, она—на крыльцѣ.

— Здрате! — Здрате! — Сѣмячковъ прикушайте! — Покорнѣйше благодарю. Съ недѣлю только всего и роману было. Сѣмечекъ пуда два сгрызъ, — инда оскомина на языкъ явилась. Но потомъ сія дама говоритъ мнѣ: — Молодой человѣкъ, какъ вы мнѣ аванжны! — Будто? — Правильно. И ежели бы вы завтра о полудняхъ въ рошу пришли, я бы вамъ <sup>36</sup>одно хорошее слово сказала.. Превосходно-съ. Являюсь. Она тамъ. Восторгъ! Но—вообразите же себѣ, милостивые государи, мою жесточайшую неудачу: не успѣлъ прозвучать нашъ первый поцѣлуй, какъ кусты зашелестѣли, раздвинулись, и—подобно deus ex machina—выросъ предъ нами... мой отецъ!

— Табло!—восторгнулся Ергаевъ.

— Наитаблѣйшее-съ табло. Я обомлѣлъ. Пассія моя завизжала:—Ахъ, святители! у, безстыдники!—и была такова. А родитель, глядя на меня съ выраженіемъ полной безпомощности предъ волею судьбы, выпустилъ изъ-подъ усовъ огромный клубъ дыма, и бысть мнѣ гласъ его изъ клуба того, яко изъ облака небеснаго:

— Что же подѣлаешь? Ничего не подѣлаешь. Законъ природы.

И больше ничего. Повернулся и ушелъ.

За обѣдомъ—строгъ Маменька съ заплаканными гла-

зами. Смотрить на меня и головою качаетъ. Преглупо. Подали блинчики съ вареньемъ. Отецъ воззрился и говорить сурово-пресурово:

— Ты что же, любезнѣйшій, порученій набралъ, а исполнять ихъ и въ усъ не дуешь?

— Какихъ порученій, папенька?

— Самъ же говорилъ, что братья просили тебя передать Клавди Карловнѣ подарки.

— Но, папенька...

— Что тамъ «но». Нехорошо, братъ. Она — другъ нашего дома, почтеннѣйшая дама въ уѣздѣ, а ты манкируешь. Тортъ-то яблочный прокисъ, небось... что она подумаетъ? Жряховы, а кислыми тортами кормятъ. Позоръ на фамилію. Свези тортъ, сегодня же свези! Дама почтенная... другъ семейства...

Жряховъ улыбнулся, задумчиво покрутилъ усъ, и кивнувъ, принялъ молодцоватую осанку.

— Поѣхаль, пріѣхаль... Вышла — батюшки! тѣль я и ошалѣль: глаза голубые, пеньюаръ голубой, туфли голубыя, брошь-бирюза голубая, — волосы, кажись, и тѣ, съ обалдѣнія, мнѣ за голубые показались. Вьются! Ручка, ножка... Господи! Ей тогда уже подъ тридцать было, — ну... вотъ Ергаевъ говоритъ, что она и по сейчасъ сохранилась, а въ тѣ поры...

Жряховъ поникъ думною головою.

— Разумѣется, — продолжалъ онъ, послѣ долгой и сладкой паузы, — родительскій домъ свой я увидаль затѣмъ, лишь когда ударилъ часъ ѣхать обратно въ Питеръ, гдѣ ждало меня юнкерское училище... Прошли прекрасные дни въ Аранхуэцѣ!.. Плакала она... — Боже мой! я до сего времени не могу вспомнить безъ содроганія. Мы сидѣли на скамьѣ у пруда, и мнѣ казалось, что вотъ, — прудъ уже обратился въ солено-горькій океанъ, и въ немъ копошатся спруты, и плаваютъ акулы... И я самъ ревелъ, — инда у меня распухъ носъ, и потрескались губы... И вотъ

вынимаетъ она изъ кармана эту самую златницу и подаетъ мнѣ ее печальною рукою, и говорить унылымъ-унылымъ голосомъ, какъ актрисы разговариваютъ въ пятыхъ актахъ драматическихъ представлений... «Ванечка, другъ мой! Сохрани этотъ мексиканскій долларъ. Я дарю его только тѣмъ, кого люблю больше всего на свѣтѣ. Береги его, Ванечка,— это большая рѣдкость. Покойникъ-мужъ привезъ мнѣ ихъ изъ Америки пятьдесятъ, а вотъ теперь... у меня ихъ... остается... всего двадцать во-о-о-о-семь!!!

— Теперь только шесть, — дѣловито поправилъ Ергаевъ.

— Такъ вѣдь времени-то сколько ушло,—огрызнулся Жряховъ, — подсчитайте: двадцать два года! И еще, говорить, милый ты мой другъ, Ванечка, умоляю тебя: не снимай ты съ себя брелока этого никогда, никогда, — слышишь? — никогда! И если увидишь на комъ подобный же брелокъ, отнесись къ тому человѣку, какъ другу и това рищу, и помоги ему во всемъ, отъ тебя зависящемъ. И онъ, Ванечка, тоже всегда сдѣлаетъ для тебя все, что можетъ. Потому что это — значить, другъ мой, лучший другъ, такой же другъ, какъ ты, Ванечка. А кто мнѣ другъ, тотъ и друзьямъ моимъ другъ. Они всѣ мнѣ въ томъ клялись страшною клятвою. И ты, Ванечка, поклянись.

— Извольте, — говорю, — съ особеннымъ удовольствіемъ...

И, дѣйствительно, преоригинальную она меня, волкъ ее зашь, клятву заставила дать. Но сего вамъ, милостивый государь, знать не дано, ибо вы есте намъ, фармазонамъ, человѣкъ посторонній. А г. Ергаеву она и безъ того должна быть извѣстна.

Г. Ергаевъ смотрѣлъ въ сторону и посвистывалъ, что-то черезчуръ румявенькій.

— Такъ вотъ-съ. И клялись, и плакали, и цѣловались. Тѣмъ часомъ подали лошадей. Глазки она осушила, перекрестила меня, я ручку у нея поцѣловалъ, она меня — какъ

по закону слѣдуетъ, матерински въ лобикъ, и вдругъ исполнилась вдохновенія:

— Передай, говорить, матери, что я того... исполнила долгъ свой и возвращаю ей тебя достойнымъ сыномъ ея, какъ приняла, — не посрамленъ родъ Жряховыхъ и, покуда я жива, не посрамится во вѣки!

Пророчица-сь! Дебора! Веледа!! Иоанна д'Аркъ!!!

Жряховъ умолкъ и склонилъ голову въ умиленномъ воспоминаніи.

— И больше вы не видались съ Клавдіей Карловной? — спросилъ я.

— Видѣться-то видѣлся, да что-сь... — онъ махнулъ рукою. — Лѣтъ пять спустя, когда мы послѣ покойнаго папеньки наслѣдство дѣлили. Заѣхалъ къ ней, — попрежнему красота писаная; развѣ что только располнѣла въ излишество, не для всѣхъ пріятномъ. Обрадовалась, угощеніе, разспросы, Ванечка, ты... Ну, думаю, вспомнимъ старинку: чмокъ ее въ плечо... Что же вы думали бы, государи мои? Даже пополовѣла вся — какъ отпрянетъ, какъ задрожитъ, какъ зарыдаетъ. — Ванечка! кричить, — ты! ты! ты! могъ такъ меня оскорбить? такъ унижить? Да за кого же ты меня принимаешь? Ахъ, Ванечка! Ванечка! Ванечка! Грѣхъ тебѣ, смертный грѣхъ! — Клавдія Карловна, говорю, — никогда никто ее иначе, какъ Клавдіей Карловной не звалъ, и братья тоже говорили...

— Это вѣрно, — пробурчалъ Ергаевъ.

— Клавдія Карловна! — да вѣдь было же...

— А она мнѣ гордо и строго: — Ванечка, изъ любви къ страждущему человѣчеству, для спасенія гибнущаго юношества, чтобы утереть слезы отцовъ и матерей, я какъ могла, исполняла долгъ свой. Но теперь, когда ты взрослый, офицеръ, женихъ... Ахъ, Ванечка! Ванечка! какъ ты могъ подумать?! Сколько у тебя братьевъ, — и липъ ты одинъ дерзнулъ оскорбить меня такъ жестоко. А я тебя еще больше всѣхъ ихъ любила!.. Да-сь!..

— А балаболка эта, златница мексиканская, — перемѣнилъ тонъ Жряховъ, — дѣйствительно, насъ, всѣхъ ужасно какъ дружить... Вѣдь вотъ, — обратился онъ къ Ергаеву, — вижу я васъ въ первый разъ, а вы мнѣ уже удивительно какъ милы. Смотрю на васъ, и молодость вспоминаю, и смѣшны вы мнѣ, и любезны... Только денегъ въ долгъ не просите, а то — прошу быть знакомымъ — все, чѣмъ могу... въ память Клавдіи Карловны... помилуйте! за долгъ почту! Потому — златницею связанъ съ вами... ха-ха-ха! фармазоны мы съ вами, сударь мой, даромъ, что у меня шерсть сѣдая, а у васъ молоко на губахъ не обсохло. Фармазоны-съ, одной ложки фармазоны... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!..

\* \*  
\*

Приглашенный въ «вѣдомство» для разноса, — смущенный и трепетный, — стоялъ я — предъ его превосходительствомъ, о, какимъ, чортъ его побери, превосходительствомъ! — самимъ Онисимомъ Авксентьевичемъ Жряховымъ. Онъ меня пушилъ, онъ мнѣ грозилъ, а я чувствовалъ себя погибшимъ.

— Нельзя-съ! — убрать-съ! воспретить-съ! прекратить-съ! — звучали въ ушахъ моихъ жестокія слова, и чувствовалъ я, что на сей разъ слово есть и дѣло, и что я уже убранъ, воспрещенъ, прекращенъ.

— Министръ-съ...

— Ваше превосходительство!

— Не могу съ... Министръ-съ...

Я чувствовалъ, что лечу въ пропасть. И въ этотъ мигъ — какъ солнечный лучъ спасенія — вдругъ блеснули мнѣ на жилетѣ его превосходительства золотые блики. И въ памяти встали мои недавніе дорожные спутники, голубоглазая Клавдія Карловна... Мексиканскій долларъ! — вихремъ промчалось въ головѣ моей, и, вдохновляемый восторгомъ отчаянія, я заговорилъ, толкаемый какъ бы неземною силою:

— Ваше превосходительство! даю вамъ слово, что впалъ въ заблужденіе въ послѣдній разъ въ моей жизни. Предайте его забвенію, ваше превосходительство. Я раскаиваюсь. Предайте забвенію.

— Не могу-съ!

— Ваше превосходительство!

— Не могу-съ.

— Ваше превосходительство! Во имя святой женщины, отъ которой вы получили сію златницу! Ради... Клавдіи Карловны!

Генераль нелѣпо открылъ ротъ и онѣмѣлъ.

— Вы... вы знаете?—слабо пролепеталъ онъ. Я твердо глядѣлъ ему въ глаза:

— Наслышанъ-съ.

Долго молчалъ генераль. Потомъ — мягко этакъ, меланхолически и со «слабымъ маніемъ руки»:

— Ну... на этотъ разъ, такъ и быть... будемъ считать инцидентъ исчерпаннымъ. Но впредь... ради Бога, будьте осторожниѣе. Ради Бога! ну, для меня, наконецъ! для меня-а-а!..

— Ваше превосходительство!!!

1900.







# Птичка Божія.



Бѣдному сыну газеты снился сонъ.

Предсталъ ему Великій Духъ и сказалъ:

— Бѣдный сынъ газеты! Проси у меня, чего ты хочешь. Я сегодня въ такомъ добромъ настроеніи, что расположенъ исполнять безпрекословно всѣ просьбы человѣческія, хотя бы онѣ были безумны.

— Ваше высокопревосходительство, господинъ Великій Духъ! Чего можетъ желать бѣдный сынъ газеты, какъ не имѣть свою собственную газету, быть ея хозяиномъ и редакторомъ?—отвѣтствовалъ бѣдный сынъ газеты.

— Глупостей желаешь ты, бѣдный сынъ газеты!—сказалъ Великій Духъ.— Не хочу вводить тебя въ невыгодную сдѣлку и, по безмѣрной моей кротости и долготерпѣнію, предоставляю тебѣ право перемѣнить желаніе. Проси чего нибудь поумнѣе.

Бѣдный сынъ газеты напрягъ мозги, но, сколько ни теръ лобъ и темя ручкою отъ пера, не могъ выжать изъ себя никакой иной просьбы, кромѣ:

— Ваше великодушіе! сдѣлайте меня редакторомъ!

— О, глупый, бѣдный сынъ газеты!—съ сокрушеніемъ сердечнымъ воскликнулъ Великій Духъ,— съ какою неистовою настойчивостью стремишься ты къ собственной своей гибели! Не исполню нелѣпой просьбы твоей, если не попросишь меня даже до трехъ разъ.

— Не токмо до трехъ, но даже до трехсотъ тридцати трехъ разъ готовъ взывать къ вашему высокопревосходительству: господинъ Великій Духъ! Великій, Великій, Великій Духъ! сдѣлайте меня редакторомъ.

— Ну, если ты такъ безгранично упрямя и неразумень, — сказалъ Великій Духъ, — видно, нечего съ тобою дѣлать: быть по сему! Отнынѣ редакторъ еси, и ничто редакторское тебѣ не чуждо. Вооружись синимъ карандашемъ, садись въ редакторское кресло, просматривай рукописи, гранки и полосы, — и да будетъ пасть тобою мое благословеніе! А дабы ты въ новомъ положеніи своемъ не растерялся и не сбился съ пути истиннаго, се — будутъ блюсти тебя аггелы мои, а тебѣ вѣрные слуги: Трудъ, Сомнѣніе и Трепетъ.

Услыхавъ эти имена, бѣдный сынъ газеты поморщился и говорить:

— Ваше великодушіе! нельзя ли какъ-нибудь обойтись безъ нихъ?

— Никакъ нельзя, — отвѣчалъ Великій Духъ, — ибо ты теперь редакторъ, и ничто редакторское тебѣ не чуждо. Безъ Труда же, Сомнѣнія и Трепета редакторы на Руси не живутъ. Засимъ — всего пріятнаго! Желаю успѣха. Au plaisir de vous revoir!

Сдѣлалъ ручкою и исчезъ, — только въ воздухѣ мелькнули фалды вицмундира.

Не успѣлъ бѣдный сынъ газеты оглянуться, анъ — предъ нимъ уже редакторскій столъ, и аггелъ Трудъ ему кресло подкатываетъ, а Сомнѣніе съ Трепетомъ волокутъ вона по какой кучѣ рукописей и гранокъ: — какъ, — говорятъ, прикажете нумеръ составить? — Взялъ бѣдный сынъ газеты въ руки синій карандашъ и началъ редактировать. Орудуетъ такъ, что Трудъ, въ сторонкѣ стоя, только языкомъ пощелкиваетъ въ знакъ своего совершеннаго удовольствія. Сдалъ бѣдный сынъ газеты матеріалъ метранпажу, руки потираетъ, глаза веселые, ходитъ козыремъ: хорошо, чортъ возьми, быть редакторомъ!

— Что? — хвастаетъ онъ аггеламъ, — видали вы такихъ редакторовъ? Каково нумерокъ — то составленъ? ась?

— Не видали, — говоритъ Трудь, — и лучше составить невозможно.

А Сомнѣніе:

— Хорошо то, хорошо, — только смотри: за передовую тебѣ нагорить.

— Это почему?

— Да потому, что былъ въ 1843 году циркуляръ, изъемлющій подобные вопросы изъ сферы гласнаго об-сужденія.

— Что за вздоръ! Въ 1843 году! Ты бы еще вспомнилъ царя Гороха, когда грибы воевали!

— Да я ничего... я только такъ... вѣдь не отмѣненъ онъ, циркуляръ-то... Самъ знаешь: захотятъ вспомнить, — такъ вспомнать.

А Тренеть, — весь блѣдный, глаза остолбенѣлые, вихры дыбомъ, — уже лепечетъ путаннымъ, шепелявымъ языкомъ:

— Вспомнать! вспомнать! всенепремѣнно вспомнать! — какъ пить дадутъ. Убери ты эту статью изъ нумера, сдѣлай милость! Ну, что тебѣ стоитъ? Нумеръ и безъ нея конфетка. Что за охота рисковать?

— Инъ ладно, — говоритъ редакторъ, — дѣйствительно, на первыхъ порахъ рисковать не стоитъ. Хороша передовица, да ужъ чортъ съ ней! Только чѣмъ же я — вмѣсто нея — дыру-то въ нумерѣ заткну? что поставлю?

— А вотъ, — говоритъ Трудь, — превосходнѣйшая у насъ въ наборѣ имѣется статья «О преимуществѣ удобренія полей фосфоритами предъ удобреніемъ оныхъ чрезъ гуано» — коротенькая, всего этакъ строкъ на 1000, и вопросъ, можно сказать, самый животрепещущій: всякій агрономъ съ наслажденіемъ прочтетъ!

— Да развѣ я для агрономовъ изданіе-то начиналъ? — закричалъ на аггела бѣдный сынъ газеты.

— Не для агрономовъ, но, согласись, есть же между твоими подписчиками и штуки три агрономовъ? Надо и о

нихъ позаботиться. Это даже будетъ съ твоей стороны весьма благородно, если ты, вмѣсто того, чтобы потакать вкусамъ массы, согласишься о фосфоритахъ, во вкусъ трехъ человѣкъ. Значить, серьезный ты, съ «улицею» не заиграешь.

— А ужъ безопасно-то какъ!—говорить Сомнѣніе.

— За такими статьями—какъ за каменною стѣною!—говорить Трепетъ.

Подумаль-подумаль бѣдный сынъ газеты и махнулъ рукою:

— Э! гдѣ наше не пропадало! Вали гуано и фосфориты! Скучища это, — ну, да на фельетонѣ выйдемъ. Забористо написали фельетонистъ, собака,—все знакомыя лица, публика животики надорветъ, хохотавши.

— Вотъ тоже насчетъ фельетона хотѣло я тебѣ замѣтить,—говорить Сомнѣніе:—преталантливо, но... рѣзко, мой другъ, ужасно рѣзко! Попадеть намъ за него на шапку,—можешь быть твердо увѣренъ.

Всплеснулъ руками бѣдный сынъ газеты:

— Да неужели же опять противъ циркуляра?

— Нѣтъ, говорить Сомнѣніе, — циркуляра покуда нѣту. Будетъ онъ, но сейчасъ нѣтъ. Но такъ какъ въ фельетонѣ этомъ говорится нѣчто о военныхъ, то непременно генераль-майоръ Бритый-Стриженный поѣдетъ на тебя жаловаться.

— Это правда, — согласился бѣдный сынъ газеты. — Онъ невѣроятно щекотливъ на самолюбіе и великій жалобщикъ. Но, такъ и быть, я вычеркну изъ фельетона военныхъ и замѣню ихъ штатскими. Фельетонистъ у меня съ такою перемѣною безпремѣнно запьетъ отъ горя и авансу запроситъ, но—не газету же мнѣ изъ-за него закрыть! Ставь штатскихъ вмѣсто военныхъ, — и шабашъ!

— А въ такомъ разѣ поѣдетъ жаловаться дѣйствительный статскій совѣтникъ Непужный-Брандахлысть.

— Изъ Сциллы въ Харибду!—воскликнулъ бѣдный

сынъ газеты, ибо онъ былъ, хотя и русскій газетчикъ, однако человекъ образованный.—Что же намъ, господа аггелы, тогда съ фельетономъ этимъ дѣлать и чѣмъ его замѣстить?

— А вотъ,—отвѣчаетъ Сомнѣніе и въ карманъ (свой, впрочемъ) лѣзетъ.—Заходили тутъ намедни господинъ Гейнце съ господиномъ Матвѣевымъ и оба по рукописи оставили. Просматриваль я ихъ. Превосходнѣйшія произведенія. Г. Гейнце «Капитанскую дочку» въ прозѣ написали, а г. Матвѣевъ стихи — «Беззаботность птички» называется.

— Дайте ка прочесть,—сказалъ бѣдный сынъ газеты и, взявъ стихи г. Матвѣева, продекламировалъ вслухъ:

### Беззаботность птички.

Птичка Божія не знаетъ  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не свиваетъ  
Долговѣчнаго гнѣзда.  
Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ,  
Солнце красное взойдетъ,  
Птичка гласу Бога внемлетъ,  
Встрепенется и поетъ.  
За весной, красой природы,  
Лѣто красное пройдетъ,  
И туманы, непогоды  
Осень поздняя несетъ.  
Людыамъ скучно, людыамъ горе!  
Птичка въ дальнія страны,  
Въ теплый край, за сине море  
Улетаетъ до весны.

— Прелестно! — воскликнулъ бѣдный сынъ газеты,— жаль только, что я какъ будто уже читалъ гдѣ-то что-то подобное. Въ хрестоматіи Галахова, что ли? А то — и художественно, и мысль есть... просто, можно сказать, пушкинская вещица! Неправда ли?

— И притомъ совершенно невинно, — дало самодовольный отзывъ Сомнѣніе.

Но другіе аггелы не раздѣлили его восторговъ.



— Ну, это еще бабушка надвое сказала, — возразил Трепетъ.

Тутъ ужъ даже Сомнѣніе обидѣлось на его трусость и возразило:

— Знаешь ли? ты начинаешь пересаливать. Хоть весь цензурный архивъ пересмотри, а циркуляра, воспреещающаго писать о птичкахъ, не было.

— Оставь, пожалуйста! — съ досадою вскричалъ Трепетъ, — птичка, птичка! Надо знать, о какой птичкѣ рѣчь. Кабы дѣло шло о птичкѣ, которая ходитъ весело по тропинкѣ бѣдствій, не предвидя отъ сего гибельныхъ послѣдствій, — я бы слова не сказала: печатайте, сколько хотите! А вѣдь эта птичка — какая? Божія! По моему, прежде чѣмъ печатать птичку г. Матвѣева, ее, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ послать въ духовную цензуру.

— Пожалуй, — согласилось Сомнѣніе, подумавъ нѣсколько.

— Иду дальше, — продолжалъ Трепетъ. — «Не знаетъ ни заботы, ни труда». По вашему, такую штуку можно печатать?

— Почему же нѣтъ?

— Въ такомъ-то сочувственномъ тонѣ?

— Что же тутъ преступнаго?

— Какъ — что?! Господа! Да тогда вы ужъ лучше прямо, въ прозѣ, валяйте: «Искренно, молъ, симпатизируемъ пролетариату, не имѣющему ни труда, ни результатовъ онаго, о коихъ онъ могъ бы заботиться»...

— Богъ съ тобою, Трепетъ! — возмугилось Сомнѣніе, — вѣдь, о птичкѣ рѣчь идетъ, а не о человѣкѣ!

— О птичкѣ, о птичкѣ... пролетарій, братъ, онъ — что человѣческой, что птичій — все пролетарій! Нельзя! вотъ это! Или, по крайней мѣрѣ, относись съ заслуженнымъ порицаніемъ... Хоть такъ — напримѣръ:

Птичка *глупая* не знаетъ  
Ни заботы, ни труда.

Или:

*О, лѣнтяйка!* ты не знаешь  
Ни заботы, ни труда...

Или даже:

*Негодяйка!* ты не знаешь  
Ни заботы, ни труда...

— Нѣтъ, нѣтъ! — замахалъ руками бѣдный сынъ газеты, — съ ума ты сошелъ, Трепетъ? Вѣдь, какъ никакъ, а мое изданіе — органъ свободомыслящій, а ты хочешь навязать ему мещерскую окраску!.. Положимъ, оно спокойнѣе, но — есть же, наконецъ, и у меня гражданское мужество, волкъ васъ заѣшь! И, наконецъ, если мы возьмемъ такой глупый тонъ, какой дуракъ насъ читать станетъ?

— Остановимся тогда на такой редакціи, — скромно предложилъ Трудъ:

— Птичка *страчная* не знаетъ  
Ни заботы, ни труда...

«Странный», знаете ли, слово обоюдоострое. Оно и начальству угодно, и для либеральной розницы хорошо. Начальству его можно представить, какъ умѣренное порицаніе зла, а либералы прочтутъ въ немъ, между строкъ, замаскированное восхваленіе блага. «Странная» — очень полезный эпитетъ, господа!

— Вотъ тебѣ зададутъ полезный эпитетъ! — проворчалъ Трепетъ, — нѣтъ, другъ-редакторъ! если ты хочешь спать спокойно, не смущаясь сомнѣніями, преступенъ ты или нѣтъ, — передѣлай-ка ты оба эти стиха изъ отрицательнаго оборота въ положительный. Молъ —

Птичка умная! ты знаешь  
И заботы, и труды...

Тогда, вмѣсто вреднаго восхваленія безработаго пролетаріата, получится, наоборотъ, воздаяніе по заслугамъ, трудящейся на самое себя и опекающей свое имущество, гражданственности, что всякому лестно и отнюдь въ тоже время не анти-либерально, ибо собственность признаютъ и либералы.

— Идешь, — подумавъ, согласился бѣдный сынъ газеты. Но какъ же теперь быть дальше?

Хлопотливо не свиваетъ  
Долговѣчнаго гнѣзда?

— Очень просто. Правъ:

Хлопотливо ты свиваешь  
Долговѣчное гнѣздо.

То-есть — въ результатѣ трудовъ своихъ, дѣлаешься хотя бы скромнымъ домовладѣльцемъ, что, разумѣется, много почтеннѣе, чѣмъ скитаться по свѣту, не имѣя твердаго пристанища, — гдѣ день, гдѣ ночь.

— Пусть даже и такъ! но риема не выходить: «труды» — «гнѣздо»... Это въ родѣ «медвѣдя» и «дядя». За такую риему Буренинъ изъ насъ котлетъ надѣлаетъ, Андреевскаго мы въ слезу вгонимъ, Волинскій насъ осмѣетъ.

— А ты поставь множественное число: «гнѣзды» — вотъ и будетъ риема.

Птичка умная, ты знаешь  
И заботы, и труды,  
Хлопотливо ты свиваешь  
Долговѣчныя гнѣзды.

— Да такой формы нѣтъ «гнѣзды»!.. Гнѣзда, а не гнѣзды!

— Велика важность, что нѣту! Не было потребности въ формѣ, — вотъ ея и не было. А явилась потребность, — она и родилась. Это называется развитіемъ живого языка. На то и языкъ, чтобы развиваться. Нѣтъ, ставь гнѣзды, непременно гнѣзды!..

— А что, господа, — робко предложило Сомнѣніе, — не отказаться ли намъ вовсе отъ птички? Богъ ее знаетъ, — двукрылая она... Мало ли какія птички бываютъ! Вотъ императоръ Николай Павловичъ, какъ изъ мемуаровъ извѣстно, даже орла птичкою называлъ. А орлы-то бываютъ серьезные: Бѣлый, Красный, Черный австрійскій, прусскій, не говоря уже о нашемъ, Двуглабомъ... Неравно,

есть въ этой птичкѣ какой-нибудь политическій намекъ, — еще посольства вломятся въ амбицію: ѣзди потомъ, объясняйся... Замѣнимъ-ка мы ее, шельму-птичку, рыбкою? А? Рыбка—вещь невинная, постная, никому не въ обиду. Вы только посмотрите, какъ съ рыбкою стихъ хорошо выходитъ.

Рыбка мудрая! ты знаешь  
И заботы, и труды,  
Хлопотливо оплываешь  
Долгомѣрные пруды.

Вмѣсто безработчаго и безпріютнаго пролетарія воображенію рисуется благонамѣренный блюститель порядка, околоточный что ли или участковый надзиратель, бдительно обходящій дозоромъ ввѣренный ему районъ. Чего вамъ лучше? Мило! Благородно!

— «Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ»... — не отвѣчая, прочиталъ далѣе бѣдный сынъ газеты и вопросительно уставился на агтеловъ. Сомнѣніе пожало плечами:

— По моему, это не только не цензурно, но даже не поэтично. «Въ долгу ночь на вѣткѣ дремлетъ»... Это столько же подходитъ къ птичкѣ, сколько и къ желѣзнодорожному стрѣлочнику. И—подставивъ въ стихъ стрѣлочника, вмѣсто птички, — посмотри: ты въ шести словахъ совершаешь нѣсколько диффамаций и даже клеветъ. Во-первыхъ, ты голословно обвиняешь русскихъ стрѣлочниковъ, что они по ночамъ, чѣмъ бы бодрствовать, какъ обязаны, дремлютъ на своихъ вѣткахъ, — чрезъ что приключаются крушенія поѣздовъ. Во-вторыхъ, подчеркивая *долгу* ночь, ты какъ бы посылаешь упрекъ желѣзнодорожнымъ правленіямъ, что они морятъ служащихъ чрезмѣрною ночною работою и переутомляютъ ихъ, что благополучному ходу поѣздовъ тоже не способствуетъ. Требованіе восьмичасовой рабочей нормы,—вотъ что такое этотъ стихъ. А что о восьмичасовомъ рабочемъ днѣ «Гражданинъ»-то говорить, — читалъ!? Нѣтъ, прочь эту коварную заковыку! Напиши:

Соч. А. Амфитеатрова.

3

Мальчикъ рыбку съѣтъ емлетъ...

По крайней мѣрѣ, не къ чему придаться!

Бѣдный сынъ газеты сдѣлалъ отмѣтку для памяти и перешелъ къ слѣдующему стиху:

Солнце красное взойдетъ.

— Почему же непременно «красное»? Ахъ, господа литераторы! все-то вамъ драпо ружь! Ставь «ясное»! Свѣту одинаково много, а эпитетъ глазъ не рѣжетъ.

— «Птичка»...

— Рыбка!

— Ну, рыбка... «Рыбка гласу Бога внемлетъ»...

— Это опять — поскольку духовная цензура дозволить.

— Да некогда въ нее посылать.

— Ну, въ такомъ случаѣ ставь «друга»: «Рыбка гласу друга внемлетъ»... такъ—можно и безъ предварительной цензуры: есть же у нея, у рыбки, то-есть, какой-нибудь другъ, у анаемы.

— «Встрепенется и поеть».

— Гмь... поеть... Хорошо, если что-нибудь патриотическое — «По улицѣ мостовой», что ли тамъ, или «Громъ побѣды раздавайся». А то вѣдь иная птичка такую пѣсню затянетъ... унеси ты мое горе!

— Къ тому же, разъ мы замѣняемъ птичку рыбкою, — стихъ, все равно, никуда не годится, — сказалъ Трудъ, — ибо, сколько то замѣчено учеными, рыбы, вообще, не поють.

— Ну, это могло бы сойти съ рукъ, какъ *licentia poetica*...

— Нашель! Не надо лиценці поэтики! — радостно вскричалъ вдругъ Трепетъ, — къ шуту ее! Нашель, — и лучше никто не найдетъ!.. Не революціонно «встрепенется и поеть», но благонамѣренно «честь начальству отдаетъ»...

Сомнѣніе и Трудъ взглянули на него съ уваженіемъ:

— Какой ты, однако, изобрѣтательный, братъ Трепетъ! — завистливо сказало Сомнѣніе.

— Потрепещи-ка съ мое — станешь находчивымъ и изобрѣтательнымъ! — самодовольно возразилъ Т)зпетъ, — нужда научить калачи ѣсть. И такъ, друзья мои, читайте, что удалось намъ составить въ цѣломъ.

Бѣдный сынъ газеты откашлялся и прочелъ:

### ЗАБОТЛИВОСТЬ РЫБКИ.

Рыбка мудрая! Ты знаешь  
И заботы, и труды,  
Хлопотливо оплываешь  
Долгомѣрные пруды.  
Мальчикъ рыбку сътью емлетъ,  
Солнце ясное взойдетъ,  
Рыбка гласу друга внемлетъ,  
Честъ начальству отдаетъ.

— И—баста! — сказалъ Трепетъ. Главная мысль стихотворенія высказана, финальный аккордъ сдѣланъ, дальше заботиться нечего: тамъ у г. Матвѣева идутъ длинноты и нытье!.. «Людямъ скучно, людемъ горе», — кому въ наше просвѣщенное время нужна эта гражданская скорбь?.. «Въ теплый край, за сине море улетаетъ до весны». Я руку на отсѣченіе дать готовъ, если это не намекъ на эмигрантовъ... Чиркай эти преступные стихи синимъ карандашомъ, о, бѣдный сынъ газеты! чиркай скорѣе! чиркай! чиркай! чиркай!.. Предостереженіе! запрещеніе розницы!! прекращеніе изданія!!!

И, весь съезжившись, Трепетъ влѣзъ въ карандашъ, который бѣдный сынъ газеты держалъ въ рукѣ, и карандашъ, самъ собою забѣгалъ по рукописи, оставляя на ней роковые синіе кресты...

— Баринъ, а, баринъ! Проснетесь вы или нѣтъ?

Бѣдный сынъ газеты широко раскрылъ глаза: надъ нимъ стоялъ домочадецъ, вѣжливо и уныло сотрясая его за плечо.

\*

— Чего тебѣ?

— Изъ газеты посыльный пришелъ, фельетонъ спрашиваетъ.

— А «Птичка» развѣ не поидеть?

— Какъ птичка-съ?

— Нѣтъ, ничего, это я такъ, со сна. Фу, чортъ, вотъ заспался-то... Такъ фельетонъ, говоришь?

— Требуютъ фельетонъ-съ.

— Ну, что-жъ, сядемъ писать фельетонъ...

Бѣдному сыну газеты, слава Богу, снился только сонъ.

1900.



Управля подсудимыхъ.





Въ зиму 1901 года вниманіе русскаго общества неоднократно привлекалось сенсационными уголовными дѣлами въ Москвѣ и Петербургѣ. Дѣла Краевской (подозрѣвалась въ поджогѣ дачи и мужеубійствѣ) и Карра на шумѣли на всю Россію. Газеты, сообщавшія о нихъ, читались съ жадностью, нарасхватъ, уличная печать ликовала: розничная торговля «нашими интересными преступниками» шла прямо съ изумительною бойкостью, биржевое настроеніе веселыхъ листковъ и газетокъ au hasard'наго пошиба крѣпчало съ каждою новою «чертою изъ жизни», которою обогащали редакціонный портфель ловкость или пылкое воображеніе гг. репортеровъ.

Но репортерскія ловкость и фантазія суть начала, хотя и весьма растяжимыя, однако же, не безпредѣльныя. При томъ, растягивая ихъ *ad libitum*, пожалуй, дотянешься и до статьи, воспреещающей оглашеніе данныхъ предварительнаго слѣдствія, за что ни одна редакція сотруднику спасибо не скажетъ. А, между тѣмъ, публика ненасытна и неумолима: она требуетъ новыхъ острыхъ ощущеній,— стало быть, подавай ей въ интересномъ дѣлѣ новые ужасы, новыя пикантныя сцены, новые эффе́кты и неожиданности. Гдѣ взять?

Негдѣ, но—нѣкій геніальный поваръ, говорятъ, умѣлъ готовить на сорокъ два способа, подъ разными соусами, даже столь безнадежную провизію, какъ лайковая перчатка, при чемъ обѣдающіе эксперты принимали ее за мясо, рыбу, коренья, грибы, — за какую угодно снѣдь, только не за

лайку. Матеріаль въ этомъ родѣ представляютъ собою для уличной печати громкія преступленія. Изъ ничего возникаетъ нѣчто. Если положеніе дѣла не позволяетъ поварамъ листовъ и газетокъ эксплуатировать его въ свою пользу дѣйствительными ужасами, то — стоитъ лишь переменить соусъ, и дѣло будетъ съѣдено невзыскательною публикою въ новомъ приготовленіи — quasi - беллетристическомъ — подъ формою уголовного романа

Романы о Краевской и о Карра появились и долго тянулись въ столичной «мелкой прессѣ» гораздо раньше того, какъ дѣла Краевской и Карра были оглашены судебнымъ разбирательствомъ. Я не слѣдилъ подробно за романомъ о дѣлѣ Карра, но романъ о Краевской поразилъ меня наивно безцеремонностью отношенія къ личности подсудимой, свидѣтелей, предполагаемыхъ соучастниковъ, едва прикрытыхъ прозрачными псевдонимами. Такъ, на примѣръ, роль, параллельную той, которую судъ предполагалъ за *Краевскою*, въ романѣ дана *Гаевскою*. Интрига романа повторяла дословно данныя, изъ которыхъ сложился обвинительный актъ по дѣлу Краевской. съ тою, не въ пользу романа, разницею, что все, въ обвинительномъ актѣ только предполагаемое и требующее доказательствъ, въ романѣ изображено, какъ дѣйствительно и несомнѣнно бывшее: возможности обращены въ факты.

Впрочемъ «повторяетъ данныя» — не тѣ слова. Потому что, какъ сказано, романъ печатался много ранѣе обвинительнаго акта, такъ что скорѣе послѣдній повторилъ данныя романа, чѣмъ наоборотъ, — и выходитъ на повѣрку, что г-жѣ Краевской были предъявлены два обвинительные акта: одинъ отъ уличной печати, другой отъ суда.

Прилично ли беллетристу какого бы то ни было уровня, — даже не дождавшись суда и слѣдствія по интересному дѣлу, — становиться на сторону обвиненія и содѣйствовать его цѣлямъ? Вопросъ, смѣю думать, не имѣющій выбора отвѣтовъ, разрѣшимый лишь отрицательно. А, между тѣмъ,

скороспѣлые, злободневные романы, о которыхъ идетъ рѣчь, конечно, работаютъ въ руку обвиненію и безсознательно его готовятъ.

Будутъ судить Краевскую, въ романѣ вы прочитали уже слѣдствіе и судъ надъ Гаевскою. Авторъ не пожалѣлъ для своей героини черныхъ красокъ, и вы возмущены Гаевскою, не забывая, въ то же время, что она второе «я» Краевской. Наступаетъ день суда надъ Краевскою, вы—публика. Вы приходите въ судъ уже съ готовымъ предубѣжденіемъ противъ Краевской, потому что романистъ успѣлъ настроить васъ самыми враждебными чувствами противъ Гаевской. Замѣьте, что листки, промышляющіе такимъ литературнымъ товаромъ, расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, что равносильно сотнямъ тысячъ читателей. Еще замѣьте, что эти десятки и сотни тысячъ, въ огромномъ большинствѣ своемъ, представляютъ собою среду мало интеллигентную, легко поддающуюся печатному внушенію, относящуюся къ «газеткѣ» безъ критики. Если не «такъ пишется исторія», то, во всякомъ случаѣ, вотъ какъ слагается общественное мнѣніе.

Я думаю, что настраивать общество противъ обвиняемаго, каковъ бы онъ ни былъ, прежде, чѣмъ онъ выслушанъ судомъ,—дѣло очень нехорошее, и впасть въ него литераторъ можетъ лишь безсознательно, «не вѣдая, что творить». Зачастую бываетъ, что, какъ бы въ возмездіе дурного поступка, авторы уголовныхъ романовъ и жадныя до нихъ газеты попадаютъ въ глупыя и небезопасныя положенія. Взять хоть бы тотъ же романъ о Краевской. Краевская судомъ оправдана. Слѣдовательно, обвинительный актъ разрушенъ приговоромъ присяжныхъ, общественныя права Краевской возстановлены, и приписывать ей дѣянія, давшія основаніе разрушенному обвиненію, значитъ юридически—клеветать на нее, распространять о ней оскорбительныя слухи, а ловкій адвокатъ могъ бы доказывать, что и завѣдомо ложные.

На Литейной такое есть зданіе,  
Гдѣ виновнаго ждетъ наказаніе,  
А вевиннень,—отпустить домой,  
Окативши ушатомъ помой.

Эти горькіе некрасовскіе стихи говорятъ о печальной необходимости, которую не избыть ни изъ какого гласнаго судопроизводства, и которая представляетъ собою едва ли не единственную темную его сторону. Гласность суда, хотя бы и оправдательнаго, тяжелое испытаніе для всякаго чело-вѣка, и, конечно, гласности печатной слѣдуетъ не растравлять, но облегчать страданія, которыя, по роковой неизбѣжности, создаетъ суровая сестра ея, гласность судебная. Къ сожалѣнію, дѣло-то выходитъ наоборотъ. Васъ судятъ. Вы оправданы, но осрамлены. Вашъ процессъ напечатанъ во всѣхъ газетахъ со всѣми подробностями разбирательства,—слѣдовательно, помои растеклись по всей Россіи. Вы такъ мужественны, что все это претерпѣли, вынесли,—подозрѣнія противъ васъ искуплены дорогою цѣною, пытка кончена, вы считаете себя вправѣ вздохнуть свободно и желаете одного, чтобы о васъ забыли и позволили вамъ жить спокойно. И вотъ тутъ-то вамъ чья-нибудь досужая рука преподноситъ новую кару: романъ, съ новымъ ушатомъ помой, безцеремонно увѣряющій, что вы, дѣйствительно, совершили все, въ чемъ васъ обвиняли и оправдали, пятнающій васъ, семейныя ваши тайны, близкихъ вамъ людей... За что? по какому праву? на какомъ основаніи? А такъ, здорово живешь, потому что романисту нуженъ гоно-рарь, издателю розничная продажа, а интересъ публики къ вашимъ приключеніямъ можетъ доставить и то, и дру-гое. Какъ хотите, а это—торговля живымъ человѣческимъ мясомъ.

Когда романы «о живыхъ людяхъ» пишутся про сво-бодныхъ и полноправныхъ членовъ общества, они назы-ваются пасквилями, и случается, что лица затронутыя раз-считываются за нихъ съ авторами законнымъ или незакон-нымъ путемъ. Думаю, что пасквиль не становится лучше

оттого, что написанъ противъ человѣка, находящагося подъ судомъ и слѣдствіемъ,—а, напротивъ, обостряетъ свою вредность и некрасивость. Потому, что онъ бьетъ уже лежачаго. Потому, что романистъ въ немъ становится на одну ногу съ сыщикомъ (любимые герои подобныхъ авторовъ), и взбирается на прокурорскую трибуну даже раньше официального прокурора, подготавливая послѣднему, черезъ общественное къ печатному слову довѣріе, благодарнѣйшую почву, чтобы закатать подсудимаго въ мѣста не столь и столь отдаленныя. Я увѣренъ, что, если бы въ числѣ присяжныхъ, судившихъ и оправдавшихъ Краевскую, были люди, знакомые съ романомъ о Гаевской, обвиняемая не сошла бы такъ легко со скамьи подсудимыхъ,—столь «виновною, но достойною снисхожденія» изобразилъ ее авторъ.

Изъ какого матеріала можетъ сломиться уголовный романъ прежде, чѣмъ подробности дѣла огласятся судомъ и слѣдствіемъ? Изъ городскихъ толковъ, сплетень, былей и небылицъ, съ прибавкою авторской беллетристической фантазіи. И такіе источники должны дать толчекъ общественному дѣлу, и подъ вліяніемъ комбинаціи такихъ данныхъ можетъ быть рѣшенъ вопросъ свободы и гражданскаго полноправія человѣка?

Скажутъ: вы преувеличиваете возможное вліяніе бульварной беллетристики; ну, кто ее читаетъ, кто съ нею ображается? Милостивые государи, авторъ статьи этой, бесѣдуя однажды съ графомъ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ, слышалъ отъ него шутку:

— Единственный писатель, которому я завидую,—это Кассировъ...

Вы, навѣрное, и фамиліи такой не слыхали, да и негдѣ вамъ ее услышать. А вѣдь графъ правъ въ своей шуточной зависти, ибо, е́сли Толстого читаютъ сотни тысячъ русскаго народа, то безыменныя лубочныя листовки Кассирова и К°, распространяясь съ московской Никольской улицы, дер-

жать въ полонѣ миллионы. Это—на вопросъ о количествѣ чтенія. Что касается его качества и вліянія, напомнимъ лишь, что по рецептамъ и подъ впечатлѣніемъ уличной беллетристики совершилась уже не одна уголовщина, разобранная русскимъ гласнымъ судомъ — скорымъ, справедливымъ и милостивымъ. Если уличный романъ можетъ научить темнаго человѣка преступленію, почему не можетъ онъ научить другого темнаго человѣка, какъ отнестись къ преступленію и судить его? Второй гипнозъ даже несравненно легче перваго, такъ какъ не требуетъ отъ субъекта никакихъ проявленій дѣятельной воли: роковое зло будетъ достигнуто просто тупымъ, пассивнымъ предубѣжденіемъ.

Всѣ эти злополучные романы и повѣсти пишутся, обыкновенно, людьми, нуждающимися въ деньгахъ и, въ соблазнѣ заработка, не отдающими себѣ точнаго отчета во вредѣ, который приносятъ они своею неразборчивостью своимъ героямъ, своимъ читателямъ и, наконецъ, себѣ самимъ. Потому, что, ходя у смолы, трудно не замараться. Обращая печать въ орудіе дѣла, нечистаго съ правовой точки зрѣнія, и вовсе грязнаго съ точки зрѣнія нравственной, недолго потерять уваженіе и къ ней, и къ себѣ самому, ея отбросами кормящемуся.

1902.



# О НЕУДАЧНОМЪ ПОКОЛѢНІИ.





Въ пасхальномъ № «Одесск. Новостей» (1903 г.) умный и талантливый г. Скриба помѣстилъ очень грустный фельетонъ о современныхъ «отцахъ и дѣтяхъ», жестоко обличая людей восьмидесятихъ годовъ, что, молъ, нечего вамъ и разказать о себѣ вашему молодому поколѣнію, будутъ стыдиться васъ дѣти ваши, — и правы: должно имъ стыдиться васъ. Контрастомъ безмыслію и бездѣлію восьмидесятниковъ г. Скриба, какъ водится, противопоставляетъ мощный гражданскій идеализмъ шестидесятихъ годовъ съ ихъ драгоценными завѣтами, до сихъ поръ зывающими къ потомству:

— Вспомни и доверши.

Г. Скриба, конечно, совершенно правъ въ своемъ предпочтеніи эпохи надеждъ и общественнаго подъема упадочной эпохѣ общественнаго унынія. Да! Людямъ шестидесятихъ годовъ было чѣмъ похвалиться предъ дѣтьми, а восьмидесятикамъ — нечѣмъ. Это правда. Нельзя не обратить вниманія, мимоходомъ, и на ту правду, что оба поколѣнія совершенно правильно и послѣдовательно пользуются своимъ историческимъ заработкомъ, въ смыслѣ самооцѣнки: восьмидесятники, — въ томъ числѣ и г. Скриба, — неустанно каются и сокрушенно бьютъ себя въ перси, а шестидесятники съ таковымъ же постоянствомъ славятъ дѣла и дни, когда они работали для потомства:

Бойцы вспоминаютъ минувшіе дни  
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они!

Работа для потомства у людей шестидесятихъ годовъ, какъ пишетъ г. Скриба, была господствующимъ импульсомъ жизни, наполняла все ихъ существованіе. Почтенный фелье-

тонистъ приводить въ примѣръ «одного изъ помощниковъ Заруднаго», который писалъ письма о своей дѣятельности по судебной реформѣ къ своему двухлѣтнему сыну, съ тѣмъ, конечно, чтобы тотъ прочелъ ихъ възрослымъ, когда ему исполнится 18 лѣтъ. Такія вещи дѣлывались тогда довольно обычно. У многихъ изъ насъ, сорокалѣтнихъ людей, хранятся подобные же документы, въ формѣ ли эпистолярной, въ формѣ ли дневниковъ, съ пометками:

— Моему сыну, съ тѣмъ, чтобы прочиталъ въ день совершеннолѣтія.

Или:

— Милый племянникъ! Когда ты будешь большой, прочти безъ предубѣжденія! суди безъ пристрастія!

Альфонсъ Додэ, изъ всѣхъ французскихъ романистовъ наиболѣе «шестидесятникъ» въ русскомъ смыслѣ слова, даже цѣлый романъ «Сафо» посвятилъ сыну своему Леону подъ непремѣннымъ условіемъ, что названное «безнравственное» произведеніе Леонъ прочтетъ не ранѣе своего двадцатилѣтняго возраста. Но тутъ вышло, говорятъ, маленькое недоразумѣніе. Къ двадцати годамъ Леонъ успѣлъ самъ написать романъ, и притомъ такого остраго содержанія, что родитель, читая сыновнее произведеніе, конфузиво краснѣлъ, какъ «недорослій», хотя ему было уже подъ пятьдесятъ. Такъ житейская опытность была опережена и посрамлена юношескою понятливостью. А мораль эпизода такова, что этическія завѣщанія, хотя и очень хорошая вещь, но имѣютъ прискорбный и частый недостатокъ — опаздываютъ.

Сорокалѣтніе «отцы» современныхъ семействъ, конечно, не имѣютъ ни потребности, ни возможности снабдить своихъ дѣтей героическими мемуарами-руководствами. Но, всетаки, сколь ни глубоко они пали, имъ еще есть что сдѣлать въ свое, если не оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, извиненіе. А именно: эти же самые трогательные доку-

менты, что достались имъ отъ родителей, они могутъ передать сыновьямъ своимъ, съ новымъ надписаніемъ:

— Дитя мое! Все, нижеизложенное дѣдомъ твоимъ, совершенно вѣрно, и онъ, въ своемъ качествѣ шестидесятника, свѣтлѣйшая личность и достойнѣйшій человѣкъ. Я же, сынъ его, восьмидесятникъ, говоря по правдѣ истинѣ, былъ весьма не того. Поэтому, если хочешь быть хорошимъ человѣкомъ и доблестнымъ гражданиномъ, старайся походить на дѣда; мнѣ же, отцу твоему, удивляйся, но не подражай. А единственный добрый совѣтъ, какой я могу тебѣ дать, — вотъ онъ: когда у тебя будетъ сынъ, то, дѣлая свое гражданское дѣло и всечасно помышляя о судѣ потомства, не позабудь оное потомство образовать и воспитать. Иначе къ двадцатымъ годамъ текущаго столѣтія ты испытаешь удовольствіе вырастить такого же оболтуса, какими въ восьмидесятихъ годахъ, къ ужасу отцовъ своихъ, оказались мы, дѣти шестидесятниковъ. Ибо эти свѣтлыя личности и чудные люди все дѣлали прекрасно — оплошали только въ одномъ: не воспитали насъ въ семьѣ и не образовали въ школѣ.

Наслѣдникъ писемъ, о коихъ съ справедливымъ благоговѣніемъ говорить г. Скриба, увѣрялъ, будто завѣщаніе это сдѣлало въ его личной жизни совершенно невозможною драму отцовъ и дѣтей. Очень вѣрю и допускаю. Но характеръ на характеръ не приходится. Я, напримѣръ, наоборотъ, знаю однородный случай, когда чтеніе, въ высшей степени благородныхъ и полныхъ свободомыслія, записокъ отца привело сына къ рѣшительной семейной ссорѣ. Прочитавъ родительское произведеніе, сынъ очень холодно спросилъ автора дней своихъ:

— Это, въ самомъ дѣлѣ, ты писалъ?

— Конечно, я.

— И вотъ это — о товариществѣ старшаго поколѣнія съ младшимъ, о прикладной наукѣ, объ естествознаніи, о развитіи чувствъ гражданственности, о гуманности, о словенномъ равенствѣ, о женскомъ вопросѣ — все тоже ты?

Соч. А. Амфитеатрова.

— Все я.

— Какой же ты, однако, извини меня, былъ тогда лгунъ и позёръ!

— По... по... почему?—даже разсердиться не успѣлъ растерявшійся родитель.

— Да потому, что, если бы ты искренно вѣрилъ въ эти прекрасныя слова, то ты научилъ бы имъ меня, еще маленькаго, заставилъ бы меня жить и дышать ими съ перваго момента моего самосознанія. А ты, вмѣсто того, отдалъ меня въ толстовскую гимназію.

— Въ какую же было мнѣ тебя отдавать?! Въ реальную, что ли? Такъ права малы...

— Ужъ не знаю, въ какую, только не въ ту, которая, завѣдомо тебѣ, была заклятымъ врагомъ именно тѣхъ свѣтлыхъ мыслей, взглядовъ, вѣяній и теченій, что ты здѣсь такъ красиво расписываешь.

— Что дѣлать?!—защищался озадаченный отецъ, — не было другихъ учебныхъ заведеній съ правами.

Сынъ возразилъ:

— Такъ ты бы никуда меня и не отдавалъ.

— Великолѣпно! Восхитительно! Чтобы ты пастухомъ выросъ?

Сынъ выразительно щелкнулъ пальцемъ по рукописи и спокойно отвѣчалъ:

— По логикѣ этой тетради, которую я понимаю, раздѣляю и поддерживаю, конечно, слѣдовало предпочесть, чтобы я выросъ хорошимъ пастухомъ, чѣмъ дипломированнымъ невѣждою! Пастухъ полезенъ, а я бесполезенъ и, можетъ быть, даже вреденъ. Ты меня укоряешь чуть не каждый день, что я мало читалъ, не умѣю мыслить, что у меня нѣтъ идеаловъ, что я лишенъ принципиальной чуткости. Вѣрно. Кто меня сдѣлалъ такимъ? Гимназія. Кто меня отдалъ въ гимназію? Ты.

Послѣдовала страшная сцена, полились потоками «жалкія слова» съ обѣихъ сторонъ. И много, много было тогда

въ Россіи страшныхъ сценъ, много, много лилось жалкихъ словъ, какъ много, много будетъ ихъ во всѣ времена, потому что ни одно поколѣніе къ послѣдующему за нимъ восторга не испытываетъ, ни одно поколѣніе къ предшествующему большому уваженію не питаетъ.

И правъ былъ отецъ, идейный завѣщатель, и правъ былъ сынъ, не повѣрившій въ идейное завѣщаніе, потому, что между шестидесятыми и восьмидесятыми годами были семидесятые, а въ теченіе ихъ русская семья потеряла дѣтей своихъ, отдавъ ихъ, съ легкомысліемъ, совершенно непостижимымъ въ столь умномъ поколѣніи, подъ самовластный, одурающій, безсердечный гимназическій обухъ. Восемь лѣтъ подъ методически падающимъ на голову обухомъ! А отцы-шестидесятники удивлялись и скорбѣли, что изъ-подъ обуха, по истеченіи роковыхъ восьми лѣтъ, не выходятъ энтузіасты, дѣятели, пророки, люди орлинаго полета, вдохновенной мысли, Демосеенова слова.

— Какое жалкое поколѣніе!

Да, поколѣніе очень жалкое, но не только презрительно-жалкое, а и жалости, состраданія достойное. Потому что родились дѣти—какъ дѣти; а во что выросли, образовались и воспитались, на то было усмотрѣніе родительское. Левенокъ, выучившійся у птицъ вить гнѣзда, оказался изряднымъ дуракомъ въ отцовскомъ львиномъ логовищѣ. Но хорошъ былъ и левъ-то, когда отдавалъ своего первенца и преемника въ птичью науку!

Толстовская гимназія была не педагогическимъ учрежденіемъ. Она являлась системою заложничества, въ которой государство потребовало себѣ отъ русской семьи всѣхъ дѣтей ея, въ обезпеченіе «политической благонадежности». Это заявлялось и печаталось совершенно откровенно. Громко проповѣдывалось правило, что молодое поколѣніе принадлежитъ школѣ, а не семьѣ. Школа—поручительница за него передъ государствомъ. Семьѣ государство не вѣрить.

Процессъ образованія, фабрика воспитанія были совершенно изолированы отъ надвора семьи. Отцамъ оставлено было школою тодько право ссориться съ дѣтьми за приносимыя дурныя отмѣтки. Если гимназія вызывала отца на совѣщаніе, это былъ ужасъ: значить, школа собиралась отречься отъ ученика, значить, онъ былъ на дорогѣ къ тому, чтобы получить волчій паспортъ и затѣмъ остаться, безправнымъ, «вырости пастухомъ».

Гимназія брала ребенка всего. Комедія, — что она отпустила его послѣ уроковъ въ семью, домой. Онъ не видалъ семьи либо потому, что зубрилъ, либо потому, что убѣгалъ и прятался отъ старшихъ, — не присадили бы его зубрить... О, проклятое время! Десятый кругъ Дантова ада—горючее море слезъ, наплаканныхъ русскими дѣтьми и матерями!

Когда отцы-шестидесятники заглядывали въ науку дѣтей, они хватались за головы:

— Что дѣлають? Чему учать? Къ какой жизни готовить? Поколѣніе слѣпыхъ котятъ! Ихъ судьба—утонуть въ первой же глубокой житейской лужѣ!

Но, хватаясь за головы, восклицая, проклиная, они не переставали посылать новыя и новыя тысячи мальчиковъ подъ неутомимый обухъ, и онъ падалъ и пришибалъ, падалъ и пришибалъ.

Шестидесятые годы — эпоха великихъ реформъ, проведенныхъ въ жизнь, впрочемъ, главнымъ образомъ, людьми сороковыхъ годовъ. Мощный переломъ шестидесятыхъ годовъ — эра, создавшая новое русское всеобщее общество. Они незабвенны по историческимъ результатамъ, и самыя отдаленныя русскія поколѣнія будутъ вспоминать ихъ съ благоговѣйною признательностью. Но, — работая на вѣка, — для ближайшаго-то, непосредственнаго потомства шумный и блестящій періодъ шестидесятыхъ годовъ заключился мрачно: классическая гимназія, какъ единственный путь къ образовательному цензу. И диво ли, что, глядя

сквозь призму этой прелести, пришибленная восьмидесятная молодежь отнеслась къ репутаціямъ и дѣятельности отцовъ своихъ—кто равнодушно, кто скептически, кто съ насмѣшкою, кто даже съ тупою враждою? Юноши на своей шкурѣ примѣрили страшную разницу между идеями и дѣйствительностью, между громкою проповѣдью и практическимъ безсиліемъ, за которое расплатиться приходилось имъ. Они, отученные школою видѣть въ старшемъ друга, не вѣрили отцамъ, не понимали ихъ, сторонились. Когда же спохватившіеся отцы пробовали поправить дѣло, возстановить мосты между двумя поколѣніями, разрушенные школьною кабалюю,—рѣдко оно удавалось: было поздно, Дурень ли, хорошъ ли человѣкъ въ восемнадцать, двадцать лѣтъ, а уже настолько у него голова сложилась, что сразу его не переработаетъ и на другія рельсы не переведешь. Большой и крѣпкій авторитетъ нуженъ, чтобы молодой умъ, отравленный недовольствомъ и скептицизмомъ, вернулся на путь идей, въ которыхъ онъ усомнился. У отцовъ-шестидесятниковъ такого авторитета не нашлось.

Помню фразу одного «отца»:

— Не горько ли, что мы работали всю жизнь для свободы личности, а вырастили поколѣніе самодовольныхъ рабовъ?

Но безпощаденъ былъ отвѣтъ:

— А зачѣмъ же вы не научили насъ понимать и уважать свободу личности?

У меня былъ товарищъ, сынъ знаменитаго дѣятеля-шестидесятника. Онъ, буквально, бѣгствомъ спасался отъ журъ-фиксовъ отца своего, собиравшихъ цвѣтъ московской интеллигенціи.

— Неужели тебѣ неинтересно?—упрекала огорченная мать.—Какіе люди! какія мысли! А ты только шляешься по театрамъ, да ухаживаешь за дѣвченками...

Юноша долго отмалчивался, а потомъ однажды и говоритъ:



— Мама! Будетъ тебѣ интересно, если я стану читать вслухъ Овидія по-латыни?

— Я по-латыни не понимаю.

— Ну, а я не понимаю языка, на которомъ они разговариваютъ. Пойми же, мама: мнѣ стыдно и страшно въ ихъ обществѣ. Я все время въ тревогѣ: со мною заговарятъ, а я не буду знать, что отвѣтить, — меня примутъ за дурака... Вѣдь я же необразованный человѣкъ, мама!

Тайное сознание: «я необразованный» — угнетало всѣхъ совѣстливыхъ молодыхъ людей въ восьмидесятихъ годахъ. Наши первыя университетскія впечатлѣнія были ужасны: профессора обращались къ намъ, какъ къ взрослымъ, а мы были маленькіе и ничего не понимали, ибо гимназія не научила насъ думать сама и не позволяла, да и не оставляла времени учить насъ отцамъ.

— Какой слабый курс! — ахали профессора.

— Это не курсъ слабый, поколѣніе глупое, — возмущались другіе.

— Въ кого вы? въ кого? — всплескивали руками отцы.

Смирныя дѣти безмолвствовали. Строптивыя огрызались:

— Если восемь лѣтъ дѣлать человѣка дуракомъ, умника и ждать нечего...

— Какимъ тономъ ты это говоришь! Можно подумать, что я твой врагъ.

«Дитя» молчить и созерцаетъ обои.

— Ничему-то вы не сочувствуете! Никого-то не любите!

— Да что же... любить? — пыхтя отъ усилія и скуки, выдавливая изъ себя дитя.

— Ну, я согласенъ! надрывается отецъ, — ну, конечно! Нелѣпая школа... Безобразное воспитаніе... Да — развѣ я виноватъ? мы виноваты?.. васъ отняли у насъ, — пойми, пойми!

— Понимаю...

— Понимаешь? Нѣтъ, не понимаешь. Это трагедія! —

а ты ухмыляешься! Кабы понималъ, плакалъ бы, а не ухмылялся... Что тебѣ тутъ смѣшно? надъ чѣмъ издѣваешься?

— Да я ничего... Богъ съ вами!.. Вотъ только удивительно: отняли...

— Да! да! да! съ семьями васъ разбили! Отцовъ безъ дѣтей оставили! Отняли! отняли!

— А вы бы не отдавали...

Отецъ осѣкается, заикнувшись безъ отвѣта. Оба смотрятъ другъ на друга не то, что враждебно, но чуждо, чуждо... Обоимъ страшно тяжело...

Увы! Въ томъ-то и горе, что люди шестидесятыхъ годовъ, много приобрѣтя и завоевавъ, не умѣли «не отдавать» — и отдали все, что реакція семидесятыхъ годовъ отъ нихъ потребовала, и, въ томъ счетѣ, — самое драгоценное — своихъ дѣтей, свое смѣнное поколѣніе.

Есть трагедія Гальма «Равеннскій боецъ» — о сынѣ Арминія и Туснельды. Онъ, вырастая въ римской гладиаторской школѣ, совершенно позабылъ о благородствѣ своей крови, о свободѣ германскихъ лѣсовъ, о вольномъ, честномъ народѣ. Туснельда съ ужасомъ и негодованіемъ слышитъ, что для сына величайшаго германскаго вождя-освободителя — верхъ честолюбія представляется въ томъ, чтобы красиво выступить на арену амфитеатра въ гладиаторской борьбѣ для потѣхи побѣдоноснаго римскаго народа. То, что для Туснельды позоръ, для Тумелика слава и честь. А, когда она говоритъ о славѣ и чести, Тумеликъ зѣваетъ. Мать и сынъ, расторгнутые воспитаніемъ, чужды и ненужны другъ другу... Вотъ — шестидесятые и восьмидесятые годы! Люди 19-го февраля — и члены атлетическихъ обществъ! Дѣятели судебной реформы — и патриоты-спасатели! Мировые посредники — и велосипедисты! Добролюбовцы, чернышевцы, писаревцы — и группа кувыркателей фирмы «Скорпіонъ»!

Чтобы избавить Тумелика отъ позора, котораго онъ не

въ состояніи понять, чтобы не пустить сына Арминіева на посмѣшище вражьей толпѣ, Туснельда умертвила свое неразумное дѣтище собственными руками. Кинжалы и кровь — это уже мракъ вѣковъ и, конечно, ни одинъ шестидесятный Авраамъ не закололъ своего восьмидесятнаго Исаака. Но отрекались шестидесятники отъ восьмидесятниковъ многократно и съ энергіей. И, подъ ударами литературнаго оружія отцовъ, поднятаго во имя шестидесятыхъ годовъ, погибло и погибаетъ до сихъ поръ, кувыркаясь въ Лету, не малое число безъ вины виноватыхъ Тумеликовъ. Исчезаютъ они, надо отдать имъ справедливость, почти безъ протестовъ и очень добродушно. Развѣ что попрекнуть, когда вонзается имъ въ грудь критическій кинжалъ:

— А, все-таки,—эхъ, мать! зачѣмъ ты отдавала меня въ гладіаторскую школу?!

1903.



# Владыки будущего.



## I.

Московскій хирургъ Модлинскій имѣлъ огромное несчастье уморить пациентку, которой онъ сдѣлалъ опасную операцію, не спросивъ на то разрѣшенія ни самой больной, ни ея родныхъ. Впрочемъ, если бы онъ и спросилъ разрѣшенія, много толку изъ того не вышло бы, ибо и больная была, и родители ея суть люди темные, мужики. Разъ докторъ со свѣтлыми пуговицами приказалъ бы имъ необходимость операціи, единственнымъ отвѣтомъ съ ихъ стороны медицинскому начальству могло быть:

— Вы наши отцы, мы ваши дѣти. Батюшка, дѣлай!

Батюшка сдѣлалъ и — зарѣзалъ. Зарѣзалъ по всѣмъ правиламъ искусства: самъ В. Э. Снегиревъ свидѣтельствовалъ на судѣ, что операція была произведена на славу, хирургъ не могъ работать чище, а ужъ В. Э. Снегиреву — извѣстное дѣло — не только книги, но и Драги въ руки Г. Модлинскій не забывалъ въ животѣ оперируемой ни пинцетовъ, какъ дѣлывали это иные хирурги, ни клубка нитокъ, какъ случалось съ другими; все было чисто, аккуратно, мило, благородно. Но больная, по упрямству и неблаговоспитанности своей мужицкой натуры, все-таки взяла да умерла. И не отъ чего было умереть, а умерла. На зло наукѣ, на зло искусству хирурга, на зло констатированной необходимости сдѣлать операцію, — по какому-то таинственному, посмѣявшемуся и надъ наукою, и надъ хирургомъ, процессу организма, который операціи не пожелалъ и

отомстил за нее жесточайшимъ воспаленіемъ брюшины съ быстрымъ смертнымъ исходомъ.

Итакъ, положеніе лицъ и обстоятельствъ въ трагической исторіи этой таково.

Ученый врачъ. Безграмотная больная.

Безграмотной больной, по мнѣнію ученаго врача, подтверждаемому теоріей его науки, необходима немедленная и ранѣе непредвидѣнная операція. Безъ операціи этой больная—человѣкъ пропацій. Спрашивать у больной, желаетъ она быть человѣкомъ пропащимъ безъ операціи, или хочетъ рискнуть, авось выправить ее операція, — совершенно излишне: больная—невѣжда, родители — невѣжды. Обязанность врача—спасать находящійся въ рукахъ его, болѣющий организмъ всѣми средствами своего знанія и искусства. Указуемымъ средствомъ спасенія является для г. Модлинскаго операція. Прибѣгая къ ней, онъ исполняетъ свой долгъ. Исполнилъ долгъ—и зарѣзалъ. И родители кричатъ, что онъ не имѣлъ права исполнять свой долгъ, потому что они не спрошены были о разрѣшеніи оперировать, и вотъ—потому, молъ, что операція была произведена безъ нашего разрѣшенія—больная вмѣсто того, чтобы спастись, неожиданно и нелѣпо умерла. Судите г. Модлинскаго! Убийца г. Модлинскій! И г. Модлинскаго судили и нашли виновнымъ, и присудили къ семидневному аресту. Наказаніе до-смѣшного малое, если считать г. Модлинскаго отвѣтственнымъ и повиннымъ въ смерти больной, но очень непріятное нравственно, если принять въ соображеніе, что всѣ подробности операціи, зависѣвшія отъ воли г. Модлинскаго, за которыя онъ отвѣтственъ передъ закономъ, врачебною этикою и собственною совѣстью, были выполнены имъ не только образцово, — блестяще. Г. Модлинскій—самъ не изъ маленькихъ хирурговъ, практикъ, какихъ мало: тридцатю тысячами больныхъ похвалился онъ на судѣ! — говорить, что операція не могла погубить его пациентки. Г. Снегиревъ, уже совсѣмъ

большой медицинскій авторитетъ, его поддерживааетъ. Надо вѣрить. Будемъ вѣрить.

Слѣдовательно, г. Модлинскій судился и обвиненъ только за то, что произвелъ необходимую по наукѣ операцію, не спросивъ на нее позволенія у людей, которые ни въ какихъ операціяхъ ровно ничего не понимаютъ, и которыхъ — добавлю — онъ обязанъ былъ не послушаться въ томъ случаѣ, если бы, напримѣръ, они запретили ему операцію, а онъ бы видѣлъ, что безъ операціи больная задыхается и готова умереть. Иначе онъ былъ бы повиненъ въ оставленіи больной безъ необходимой помощи, и—вопреки всѣмъ желаніямъ и нежеланіямъ родныхъ—подлежалъ бы суду товарищеской корпораціи, а черезъ таковую, затѣмъ, весьма вѣроятно, и уголовному.

Посмотримъ же теперь: что за счеты имѣются между врачомъ, больнымъ и родными послѣдняго въ правѣхъ и способахъ лѣченія? Насколько самъ больной, родные и проч. властны «разрѣшать» и «не разрѣшать», «соглашаться» и «отвергать»?

Нечего и говорить, что принципиальный отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ: всякій человѣкъ—хозяинъ своей жизни, своего тѣла, и безъ его личнаго позволенія ножъ хирурга не можетъ коснуться его членовъ. Но—даже что касается «личнаго позволенія»—нѣтъ правила безъ исключенія, а ужъ что касается «личнаго позволенія», перешедшаго въ другія руки, т. е. къ родителямъ, опекунамъ, родственникамъ, то практика житейская здѣсь, право, похожа на глаголы третьяго греческаго спряженія, которые чуть ли не всѣ измѣняются по формамъ исключеній, еле соприкасаясь съ формами правила.

Умершая пациентка г. Модлинскаго была невѣжественная крестьянка, таковы же и ея родители. Но вѣдь надо же сознаться откровенно: если бы и намъ, гг. интеллигентамъ, авторитетный врачъ поставилъ на выборъ—дѣлать или не дѣлать близкому намъ человѣку такую-то и та-



кую-то операцію—мы оказались бы, въ девяти случаяхъ изъ десяти, въ затрудненіи отвѣтить, ничуть не меньшею, чѣмъ эти невѣжественные люди. Ибо нѣсть незначія вѣщаго, чѣмъ незнаніе російскаго интеллигента во всемъ, что касается его блага тѣла. Г. Протопоповъ, сотрудникъ «Нижегородскаго Листка», напечаталъ свои разговоры съ различными російскими интеллигентами по вопросамъ анатоміи, физиологіи, естественныхъ наукъ. Я давно не хохоталъ болѣе отъ души, чѣмъ читая этотъ сводъ почти фантастической белиберды, но—надъ чѣмъ смѣетесь? надъ собой смѣетесь! То-то и ужасно, что г. Протопоповъ совершенно правъ: онъ ничего не преувеличилъ, и росіянинъ, часто украшенный титуломъ доктора правъ или исторіи, не знаетъ, гдѣ у него печень, гдѣ почки, сколько у него въ спинномъ хребтѣ позвонковъ, и каково строеніе самаго мозга, которымъ онъ неустанно работаетъ изо дня въ день. Помню такой московскій анекдотъ. Въ моду вошла «блуждающая почка». Къ Остроумову, который и ввелъ ее въ моду, пріѣзжаетъ товарищъ-профессоръ, филологъ, человекъ насчетъ здоровья мнительный.

— Алексѣй Александровичъ, помогите.

— Что съ вами?

— Почка блуждаетъ.

— Гдѣ же боли вы чувствуете?

— А вотъ тутъ: сбоку, пониже праваго плеча, между ребрами...

Покачалъ Остроумовъ головою:

— Да, говорить, здорово у васъ эта почка заблудилась,—отсюда, пожалуй, ей никогда и домой не попасть...

За весьма немногими исключеніями, мы—предъ лицомъ медицины и естественныхъ наукъ—хуже, чѣмъ дикіе: тѣ свое тѣло знаютъ,—мы просто звѣри, въ родѣ того раненаго льва, который попался на встрѣчу бѣглому Андроклу въ пустынь. Левъ занозилъ себѣ ногу, выль, погибалъ и не зналъ, какъ отъ занозы освободиться. Андроклъ вы-

нуль ему занозу, и левъ испѣлѣлъ. Разумѣется, Андрокль не спрашивалъ на подвигъ своего милосердія согласія у безсловеснаго льва, и, покуда производилъ операцію, левъ и рычалъ, и голову ему готовъ былъ скусить. Однако, изъ того не слѣдуетъ, чтобы Андрокль долженъ былъ оставить льва безъ помощи. Не слѣдуетъ и того, — чтобы, если операція не удалась бы, и левъ бы подохъ, Андрокль повиненъ былъ въ его гибели, ибо сдѣлалъ операцію безъ предварительнаго о томъ совѣщанія съ самимъ львомъ или съ его степными родственниками.

Такъ вотъ, — что касается этой чисто практической стороны въ современной хирургіи, какъ въ искусствѣ выниманія всякаго рода занозъ и болячекъ у безсловесно-недугующихъ пациентовъ, — то вопросъ, возбужденный процессомъ г. Модлинскаго, почти во всѣхъ его житейскихъ приложеніяхъ на русской почвѣ, покуда рѣшительно не стоитъ мѣднаго гроша. Авторитетный хирургъ можетъ заявить русскому пациенту, что, для спасенія жизни, ему необходимо удалить оба мозговья полушарія, кусочекъ сердца, весь позвоночный столбъ — и пациентъ, въ невѣжественной кротости своей, повѣритъ. Согласится, нѣтъ ли, — другой вопросъ, оно отъ храбрости предъ ножомъ зависитъ, — но повѣритъ. И, если не согласится, то впоследствии, хвораая, даже жалѣть будетъ:

— Вотъ вѣдь — говорили мнѣ, дураку: надо желудокъ вырѣзать... не послушался, — анъ теперь въ немъ и катарръ.

Я зналъ доктора, стараго, пьянаго госпитальнаго шутника который съ серьезнымъ видомъ спрашивалъ больныхъ:

— Угодно вамъ, чтобы я подвергнулъ васъ акефализаціи? Это единственный способъ возвратить вамъ здоровье

И, — по собственному его сознанію, — былъ лишь однажды обруганъ за свою неумѣстную остроу какимъ-то «изверженнымъ» дьякономъ, не позабывшимъ греческаго языка.

Зналъ я и управляющаго однимъ большимъ южнымъ имѣніемъ, человѣка необразованнаго, но весьма смышленнаго, который позволилъ отрѣзать себѣ ногу, только потому, что ему понравилось слово «ампутація».

— Я тогда на паровой мельницѣ подь приводной ремень попалъ. Поранило не ахти-какъ, да запустилъ рану — загноилась. Въ Харьковѣ, въ клиники. Смотрятъ — самъ Грубе покойный! — головами качаютъ. Спрашиваю: операція, пожалуй, понадобится?.. Нѣтъ, ужъ, говорятъ, какія тутъ операціи! Ампутировать ногу надо. Согласны на ампутацію?.. А я и радъ, что безъ операціи. Ампутація! Слово звонкое! На амбицію даже похоже!.. Согласенъ!.. Ну, дали хлороформу понюхать, — очухался: нѣтъ ноги. Гдѣ нога?! — Отрѣзали! — Да вѣдь не хотѣли рѣзать? Ампутацію обѣщали? — И была вамъ ампутація, да еще какая блестящая...

Если бы г. Модлинскому удалось поставить на ноги больную, за которую его судили, никто бы не поднялъ даже голоса, чтобы спросить его, по какому праву произвелъ онъ операцію, спрашивалъ онъ или не спрашивалъ пациентку и родныхъ. Звѣрь Андрокловъ выздоровѣлъ — только это и требовалось доказать. Молодецъ Андрокль! Да здравствуетъ Андрокль. Звѣрь Андрокловъ умеръ, — а, это уморилъ его Андрокль! Негодяй Андрокль! Къ звѣрямъ зато самого Андрокла!

Хирургія — наименѣ гадательная область медицины; если прослѣдить статистически, то врачебныя ошибки и несчастія въ ея области рѣже, чѣмъ во всѣхъ другихъ. Но каждая ошибка хирургіи производитъ огромную сенсацію. Ибо хирургъ въ бѣломъ передникѣ ходитъ, сталью сверкаетъ, кровью обливается. Онъ — явленіе яркое, замѣтное, его неудачи трагически бросаются въ глаза. Ихъ характеризуютъ словомъ «зарѣзалъ» — словомъ жуткимъ, болѣе страшнымъ, чѣмъ даже «залѣчилъ», «отравилъ», которыми весьма часто чествуемъ мы неудачи терапевтовъ. Но, на

самомъ-то дѣлѣ, какая принципиальная разница существуетъ между положеніемъ хирурга, который чтобы спасти жизнь больного, вынужденъ пустить въ ходъ ножъ, и терапевта, вынужденнаго прописать стрихнинъ, мышьякъ, вообще сильно дѣйствующее средство? Рѣшительно никакой. И здѣсь, и тамъ орудія смерти должны стать въ рукахъ искуснаго и знающаго человѣка орудіями спасенія человѣческихъ жизней. Въ девяносто девяти изъ ста случаевъ, когда врачъ оставляетъ на письменномъ столѣ вашемъ рецепты, вы не знаете: ни что онъ прописалъ, ни на какія ткани и вещества въ организмѣ человѣческомъ составныя части прописаннаго дѣйствуютъ, — ждете только цѣлебнаго дѣйствія отъ лѣкарства по рецепту. И, разумѣется, ни одному врачу не приходитъ въ голову, когда онъ поставилъ діагнозъ, требующій подвергнуть организмъ дѣйствию такихъ-то и такихъ-то лѣкарствъ, спрашивать больного:

— Позволяете прописать вамъ мышьякъ?

— Родители ваши согласны, чтобы я прописалъ вамъ стрихнинъ?

— Угодно вамъ принимать *cannabis indica*?

Ибо и больной, и родители, на вопросы эти, хлопали бы только глазами: а почему же они-то знаютъ, позволять ли, соглашаться ли, угодно ли? Вопросъ не въ томъ, вопросъ—надо ли; а, надо ли, можетъ рѣшить только врачъ, который для того и призывается, а никакъ не собственное ихъ невѣжество.

— Но, — скажутъ мнѣ, — терапевтамъ указаны предѣлы, въ которыхъ они могутъ прибѣгать къ сильнодѣйствующимъ средствамъ, не рискуя жизнью больного, и за которыми для нихъ тоже начинается уже область преступныхъ злоупотребленій и жестокой уголовной отвѣтственности. Въ хирургической же области рискъ жизнью больного не ограниченъ, почему и произволъ врача стѣсняется въ гораздо болѣе узкія рамки.

1) Это возраженіе практическое, а не принципиальное.

2) Предѣлы риска, о которомъ въ немъ говорится, до такой степени растяжимы, что ихъ въ концѣ концовъ почти не существуетъ. Почитайте-ка въ великолѣпной и мрачной книгѣ, которою талантливый Вересаевъ такъ жестоко потрясъ современную русскую медицину, о непостижимыхъ случайностяхъ и *qui pro quo* въ этихъ «предѣлахъ». 3) И терапевтъ съ мышьякомъ, и врачъ съ ножомъ подступаютъ къ больному одинаково не за тѣмъ, чтобы его губить, но за тѣмъ, чтобы дать ему выздоровленіе,—оба предполагаются на то имѣющими право и достаточно искусными, — оба имѣютъ регламентацію своего образа дѣйствій,—и обоимъ равно — чтобы точно объяснить пациенту, что и зачѣмъ съ нимъ будутъ дѣлать, пришлось бы, предварительно, мѣсяца два читать ему лекціи по анатоміи, физиологіи.

— Итакъ, спросять меня, ваше конечное мнѣніе, что пациентъ въ рукахъ врача—до выздоровленія своего—рабъ, вещь, и долженъ слѣпо подчиняться врачу во всемъ, что тотъ ему ни велитъ и что съ нимъ ни сдѣлаетъ?

— Нѣтъ, это не мое мнѣніе. Сохрани, Господи, чтобы я сказалъ такое «долженъ»,—я, всю жизнь свою избѣгавшій докторовъ старательнѣе, чѣмъ черкесовъ въ горахъ, и боявшійся лѣкарствъ больше, чѣмъ самыхъ лютыхъ болѣзней. Нѣтъ. Это только—практическая точка зрѣнія на современное отношеніе между обществомъ русскимъ и его медицинскою помощью. Первое слишкомъ мало развито, чтобы имѣть возможность критиковать своихъ врачей по существу, а, не имѣя возможности критики, пользоваться правомъ ея, значить работать не на дѣло, а на форму. Принципіально Модлинскій кругомъ виновать, но между принципіальными требованіями и практическою жизнью легла пропасть такого взаимонепониманія, что въ концѣ концовъ вѣдь Модлинскій-то совершенно искренно недоумѣвалъ, а, можетъ быть, и негодовалъ на судъ:

— За что меня?! Кажется, я старался!

Невѣжество массъ русскаго общества, не говоря уже

о народѣ, создаетъ тотъ ученый, медицинскій деспотизмъ, проявленіемъ котораго провинился Модлинскій. Провинился, потому что больная умерла, — и отличился бы, если бы выздоровѣла. А вѣдь, что деспотъ убивающій, что деспотъ излѣчивающій — все деспотъ, все носитель и выразитель начала противообщественнаго. Этотъ научный медицинскій деспотизмъ, конечно, очень нежелательное явленіе, и бороться съ нимъ надо. Но только не такими средствами, какъ обрушились на злополучнаго Модлинскаго, явившагося козломъ отпушенія — единственно за то, что его каста о здоровьи человѣческомъ знаетъ очень много, а сами человѣки не знаютъ ровно ничего.

1901.

---

## II.

Въ Москвѣ опять хирургическая трагедія, и на этотъ разъ совершенно обратнаго порядка, чѣмъ съ жертвою-Черновою и «злѣмъ»-Модлинскимъ. Въ больницу поступилъ мальчикъ-крестьянинъ; спасти его жизнь могла только быстрая операція. Врачъ, «памятуя исторію г. Модлинскаго», не рѣшился на операцію безъ согласія родныхъ. Родные въ деревнѣ. Послали письмо въ деревню. Пока пришелъ разрѣшающій отвѣтъ (черезъ четверо сутокъ!), больной умеръ. Кто виноватъ въ его смерти? Вопросъ нетрудный и отвѣтъ ясный: врачъ, который видѣлъ, что операція необходима, но не посмѣлъ ее сдѣлать. Но врачъ — лишь прямое, непосредственное, слѣпое орудіе новаго хирургическаго преступленія, совершеннаго въ Москвѣ. Онъ виновенъ, но заслуживаетъ снисхожденія, какъ человѣкъ, дѣйствовавшій не съ полнымъ разумѣніемъ своихъ правъ и обязанностей. Истинная же виновница дѣянія — та безо-

\*

бразная путаница, что царить въ вопросѣ медицинской помощи вообще, хирургической, какъ видимъ, въ особен-ности, а ужъ съ процесса г. Модлинскаго, сбившаго съ толка и врачей, и пациентовъ, — нарочито.

Говорять, что Модлинскій — грубый, самовластный, заносчиво-самонадѣянный человекъ. Въ этомъ духѣ говорили о немъ свидѣтели-сослуживцы. Въ этомъ духѣ получилъ я письмо отъ одного читателя, «имѣвшаго несчастье» лѣчить у г. Модлинскаго свою дочь. Все это весьма можетъ быть. Но личные качества г. Модлинскаго къ данному вопросу очень мало относятся. Можно лишь сожалѣть, что оцѣнка дурныхъ нравственныхъ сторонъ г. Модлинскаго, примѣшавшись къ разбирательству принципиальной стороны «инцидента», до извѣстной степени затемнила послѣднюю, и о дѣлѣ г. Модлинскаго многіе до сихъ поръ судятъ, какъ о частномъ поступкѣ дурного человека и злого врача Модлинскаго, а не объ общей возможности такого же поступка для каждаго врача-хирурга, — будь онъ новый Малюта Скуратовъ или ангелъ доброты и невинности, — безразлично.

Между тѣмъ, только этотъ вопросъ принципиальной возможности и интересенъ общественно. Что намъ до г. Модлинскаго? Важенъ врачъ-хирургъ. Пусть онъ будетъ хоть Вельзевулъ характеромъ, — лишь бы хорошо лѣчилъ и лѣчилъ въ объемѣ правъ своихъ и обязанностей. Ужъ болѣе крутого самодура, болѣе типичнаго медицинскаго диктатора, чѣмъ покойный Захарьинъ, не выдумать. Да и вообще, медицинскія знаменитости ни мягкостью характеровъ, ни вѣжливостью не отличаются. Покойный Боткинъ былъ отраднымъ исключеніемъ, — такъ зато и ставятъ же его въ образецъ и поученіе всѣмъ медицинскимъ свѣтиламъ, вотъ уже скоро четверть вѣка: его одного, не находя ему, по сердечности, ни замѣстителя, ни въ уровень товарища. Важенъ не Модлинскій — представитель школы и поколѣнія, щеголяющихъ деспотизмомъ и грубостью — важна

даже не самая школа эта, ибо она есть явление преходящее и временное,—важно обсудить тутъ вѣчное и неизмѣнное: юридическое и нравственное право врача-практика на необходимую помощь больному.

Врачъ грубый и рѣшительный провинился тѣмъ, что у него умерла больная послѣ операціи, произведенной безъ разрѣшенія родныхъ. Врачъ слабохарактерный и трусливый провинился тѣмъ, что у него умеръ больной оттого, что не была сдѣлана операція, которой осторожный врачъ не хотѣлъ произвести до разрѣшенія родныхъ. Два полюса условной медицинской этики, на которыхъ, однако, какъ и на земныхъ полюсахъ, несмотря на географическую противоположность ихъ, картины и условія одинаковы. И у Модлинскаго—смерть, и у его коллеги-кунктатора—смерть. Но Модлинскій имѣетъ хоть то, если не извиненіе, то объясненіе, что—хотѣлъ помочь больной, былъ увѣренъ, что поможетъ, и, по отзывамъ экспертовъ, до Снегирева включительно, сдѣлалъ все отъ него зависящее, чтобы помочь, и мастерски сдѣлалъ. Кунктаторъ же памятовалъ единственно юридическую и нравственную отвѣтственность, которая обрушится на него, «какъ на Модлинскаго», если онъ сдѣлаетъ операцію безъ разрѣшенія родныхъ. Онъ четыре дня смотрѣлъ на задыхающагося мальчика—весьма вѣроятно, что глазами, полными сочувственныхъ слезъ,—и ничего въ помощь больному не сдѣлалъ, хотя очень хорошо зналъ и видѣлъ, что и какъ надо сдѣлать. Г. Модлинскій слишкомъ грубо и круто примѣнилъ къ хирургіи вывернутый имъ на изнанку девизъ,—«*fiat mundus, pereat justitia*»: вышла бѣда. Кунктаторъ самоохранительно застылъ на ортодоксальномъ девизѣ—*pereat mundus, fiat justitia*: вышла бѣда вящая. Очевидно, гг. медикамъ, юристамъ и представителямъ общественной мысли надо посовѣтоваться и сговориться между собою о какой-нибудь благой срединѣ между полюсами, на которой бы бѣдъ не выходило, или—если будутъ выходить—то ни *mundus*, ни *justitia* не чув-



ствовали бы себя такъ удрученными и сконфуженными, какъ сейчасъ, предъ двумя московскими жертвами.

Не мнѣ, случайно столкнувшемуся съ вопросомъ и случайно имъ заинтересовавшемуся, предлагать проекты къ его разрѣшенію. Тутъ нужны — говоря метафорически—

Häupter in Hieroglyphenmützen,  
Häupter in Turban und schwarzem Barett,  
Perückenhäupter und tausend andre...

Но полагаю, что въ таковыхъ, усердныхъ и охочихъ, головахъ среди російской интеллигенціи недостатка не окажется—тѣмъ болѣе, что надо разрѣшить дилемму, роковую и кровную для всякаго.

Странно и двусмысленно стоитъ сословіе врачей въ русскомъ обществѣ. Это—какіе-то и поклоняемые нами, и ненавидимые боги. Мнѣ часто кажется, что, когда только еще зарождалась теократія, когда пророки, высшіе носители невѣдомыхъ черни тайнъ духа, ходили по землѣ и властнымъ словомъ покоряли народы своему этическому ярму,—происходилъ тотъ же смѣшанный процессъ общественныхъ умиленія и ярости, какой окружаетъ сейчасъ врачей, этихъ носителей невѣдомыхъ тайнъ плоти, которые, съ каждымъ днемъ, забираютъ надъ нами большую и большую власть. Если мы возьмемъ какую-либо изъ многочисленныхъ современныхъ утопій о будущихъ вѣкахъ чело-вѣческой исторіи, во всѣхъ нихъ безъ исключенія врачъ-естествоиспытатель—господинъ міра, а наука его, питающая, охраняющая и совершенствующая тѣло наше,—новая форма религіи, которою опредѣляются и самыя социальныя условія, съ ихъ медовыми рѣками въ кисельныхъ берегахъ. Что верхніе слои общественные уже повсюду, сознательно или бессознательно, исповѣдуютъ эту религію и молитвенно подчинены могучимъ жрецамъ ея, несомнѣнно: правила гигиены, санитарія etc. уже господствуютъ надъ обществомъ и управляютъ имъ, общество пропагандируетъ ихъ, караетъ грѣхи противъ нихъ. Образованные классы увѣровали въ

нихъ добровольно, по знанію, разуму и убѣжденію,—въ темныя массы вѣра проводится, какъ всегда, силою: хотя не огнемъ и мечемъ,—зато полицейскими протоколами. Какъ религіи духа почитались отъ народовъ обязанными, въ лицѣ представителей своихъ, производить благія чудеса духа, — такъ и новая медицинская религія плоти, для поклонниковъ ея, имѣетъ цѣлую іерархію чудотворцевъ плоти, съ какимъ-нибудь Захарьинымъ вверху и маленькимъ земскимъ докторомъ внизу. Захарьинъ—великій чудотворецъ, папа медицины—обязанъ совершать и великія явленія помощи здоровью своихъ вѣрующихъ, кардиналы его—поменьше, прелаты—еще меньше и такъ далѣе до скромныхъ деревенскихъ кюрэ, умѣющихъ лишь, по старому Мольерову рецепту—

Clysterium donare,  
Postea purgare!

И всѣ эти люди большого и маленькаго чуда весьма любимы, чтимы и поклоняемы,—покуда чудеса ихъ, большія и маленькія, имъ удаются, и мы видимъ, что они, дѣйствительно, властью своею надъ тѣломъ нашимъ сильнѣе насъ, и мы должны покоряться волѣ ихъ, если хотимъ быть здоровы. Но обязанность этого повиновенія, счеты съ этимъ «если» втайнѣ тяготятъ насъ, и мы несемъ медицинскій гнетъ съ такою же подавленной строптивостью, какъ іудеи въ пустынѣ тайно ненавидѣли Моисея и, въ благоговѣйномъ ужасѣ падая къ ногамъ его послѣ каждаго грознаго и благодѣтельнаго чуда, устраивали ему злѣйшіе скандалы всякій разъ, что пророкъ не торопился и не хотѣлъ свою паству чудомъ ублажить. Въ «Братяхъ Карамазовыхъ» очень тонко и вѣрно психологически описано злорадство, которое охватило цѣлый городъ, когда умеръ старецъ Зосима, и никакихъ отъ него чудесъ, какъ *всѣ* ожидали, не произошло, но сталъ онъ, самымъ естественнымъ порядкомъ, разлагаться. Когда старцы Зосимы медицины не оправдываютъ надеждъ нашихъ на чудеса ихъ *in verbis, herbis et*

lapidibus, общество охватывает прилив такой же злоградской ненависти, и нѣтъ для насъ уже существа болѣе противнаго, болѣе достойнаго побіенія камнями, чѣмъ неудачный медицинскій чудотворецъ. Зарѣзалъ!—Залѣчилъ!—Отравилъ!.. Разбойники! шарлатаны!.. подѣ суду! въ тюрьмѣ стноить!..—весь этотъ гулъ проклятій приходилось слушать даже самымъ великимъ врачамъ-практикамъ, предъ которыми еще наканунѣ съ благоговѣніемъ преклонялись Парижъ, Лондонъ, Петербургъ, да и завтра—послѣ новаго, очень ужъ ярко удавагося чуда—опять преклонятся. \*) У того же Модлинскаго прошло черезъ руки 30.000 больныхъ, 29.999 онъ выпользоваль, а на одномъ чудо не вышло. И 29.999 чудесъ удачныхъ сразу забыты ради одного чуда неудачнаго, и хуже Модлинскаго нѣтъ уже человѣка на свѣтѣ. Чисто—самоѣдскіе идолы, которыхъ мажутъ саломъ по губамъ, когда самоѣду везетъ на охотѣ, и сѣкутъ розгами, когда у самоѣда ни пера, ни шерсти.

Когда, при холерныхъ и иныхъ эпидеміяхъ, разыгрываются народные бунты, всегда дорого обходящіеся медицинскому сословію,—интеллигенція, обыкновенно, возмущается невѣжествомъ и грубостью темной массы, зачѣмъ она не понимаетъ, что ей хотятъ пользы, и бьетъ тѣхъ, кто несетъ ей помощь и спасеніе. Мужикъ до сихъ поръ видитъ въ докторѣ усовершенствованнаго знахаря, способнаго вылѣчить, способнаго и уморить. Наблюдая смерть въ массовомъ явленіи, онъ, по прямолинейной логикѣ первобытнаго неразвитаго ума, приходитъ изъ ошибочной посылки къ ошибочному выводу: очутившись на попеченіи ученыхъ знахарей, холерные не выздоравливаютъ, а умираютъ,—значить, ученые знахари не лѣчатъ, но морятъ. А—коли такъ—бей знахарей! Это ужасно, и интеллигенція хорошо дѣлаетъ, что возмущается и огорчается темнотою народною. Но то остервенѣніе, съ какимъ она сама набрасы-

---

\*) См. въ моей книгѣ «Недавніе Люди» некрологъ Захарьина.

вается на каждую огласившуюся оплошку врача,—нельзя не сознаться—очень недалеко ушло отъ «холерныхъ бунтовъ» нашего простонародья. Разница есть въ размѣрахъ, формахъ, но не въ принципѣ. Ненависть къ идолу, не умѣвшему произвести цѣлебное чудо,—та же самая, стремленіе уничтожить его или хотя высѣчь въ залѣ суда и на газетныхъ столбцахъ,—пожалуй, даже еще вящее.

1901.

---

### III.

Опять выплылъ на поверхность жизни вопросъ о врачебной тайнѣ и, главнымъ образомъ, о правѣ или, по мнѣнію другихъ, даже обязанности врача быть не только цѣлителемъ тѣлесъ нашихъ, но и, такъ сказать, «полицейскимъ отъ медицины»: обличать гласно и уличать паціентовъ, къ нему обратившихся, въ случаѣ, если таковые физически вредны для общества, въ которомъ живутъ. Нѣмцы, устами нѣкоторыхъ своихъ авторитетовъ, властно и категорически высказались за право разоблаченія. Именемъ науки о здоровьѣ они желаютъ быть хозяевами народнаго здоровья. Хорошій хозяинъ не допуститъ, чтобы въ его стадо вошла паршивая овца, которая завѣдомо заразитъ и перепортитъ другихъ овецъ. Разъ врачъ становится и признается пастыремъ человѣческаго стада, логическая послѣдовательность требуетъ для него права удалять отъ своей паствы прокаженнаго, сумасшедшаго, т. е. всякаго, кто своимъ физическимъ недугомъ въ состояніи нанести вредъ здоровью ближняго въ настоящемъ времени чрезъ общеніе или въ будущемъ чрезъ больное и порочное потомство.

Требованіе исполнѣ основательное и послѣдовательное, но, въ то же время, ужасно непривычное и даже грозное.

Если вдуматься хорошенько въ этотъ, казалось бы, второстепенный общественный вопросъ о врачебной тайнѣ, онъ вырастаетъ въ неожиданно громадную величину. Я рискну даже сказать: разрѣшеніе вопроса въ пользу разоблаченія произвело бы столь глубокой этической и социальный переворотъ, что съ него исторія могла бы начать новую европейскую эру.

Въ теченіе всего прошлаго года не сходило съ газетныхъ столбцовъ шумное дѣло хирурга Модлинскаго, который погубилъ больную неудачною операціей, сдѣланною безъ разрѣшенія родныхъ пациентки. Врачъ, признавая себя отвѣтственнымъ за случившееся несчастіе, какъ за плачевную нечаянность, съ гордостью отстаивалъ свое профессиональное право распоряжаться жизнью больного, ему ввѣреннаго, какъ знаніе и наука велятъ ему, врачу, а не какъ хотятъ сами больные или ихъ родственники... О Модлинскомъ много писано *pro et contra*. Оставимъ въ сторонѣ жалкія слова, рассыпанныя по его адресу, сентиментальные упреки, высокопарныя апологіи, выраженія симпатій и антипатій образу его дѣйствій. Меня поразили въ этомъ человѣкѣ не частныя его достоинства и недостатки, о которыхъ повѣствовалось и на судѣ. и въ печати, какъ врагами Модлинскаго, такъ и его защитниками, въ объясненіе его диктаторскаго своеволія. Я былъ глубоко заинтересованъ тою повелительною силою вѣры въ науку и въ право науки, которая сказала въ этомъ своевольномъ актѣ. Заинтересовалъ меня жреческій фанатизмъ Модлинскаго къ могучей богинѣ Гигіи, не измѣнившей ему нимало и предъ лицомъ судилища.

Убѣжденная властность Модлинскаго, твердая, искренняя увѣренность его, что, если онъ знаетъ, что надо рѣзать тѣло, то и долженъ его рѣзать, не справляясь, хочеть-ли тѣло быть изрѣзаннымъ,—твердое исповѣданіе имъ вѣры, что воля науки выше воли ея пациента, таили въ себѣ что-то, какъ я сказалъ уже, жреческое: религіозное, вдохно-

венное. Мы знаемъ, что Модлинскій не остался одинокимъ: при множествѣ противниковъ и порицателей, онъ имѣлъ не менѣ пылкихъ защитниковъ. Слѣдовательно, врачей-фанатиковъ, для которыхъ медицина сдѣлалась повелительною научною религіей, очень много на свѣтѣ. Они проповѣдуютъ свою вѣру и словомъ, и дѣломъ, и уже требуютъ покорности ей отъ общества. Общество идетъ навстрѣчу ихъ проповѣди и притязаніямъ очень охотно. Вѣкъ нашъ жизнелюбивый и болебязненный. Храня свои тѣла грѣшныя, мы ни въ какой другой интеллигентной профессіи не нуждаемся такъ часто и настойчиво, какъ въ медицинской, никакому другому контролю надъ собою не подчиняемся съ такою покорностью, какъ врачу. Могучее теченіе общества подъ медицинскій покровъ стихійно: его не въ состояніи ни остановить, ни задержать даже откровенныя предостереженія такихъ доброжелательныхъ «измѣнниковъ корпораціи», какъ талантливый г. Вересаевъ. Общество ищетъ положительныхъ ручательствъ за свое здоровье. Ручательства предлагаетъ ей медицинскій контроль. Съ каждымъ днемъ расширяя свои права и претензіи, онъ готовитъ двадцатому вѣку какъ бы новую властную религію плоти, съ такою же священною корпораціей жрецовъ-профессіоналовъ, съ такими же повелительными заповѣдями и обрядами, какъ было въ старыхъ религіяхъ духа.

Сейчасъ интервьюируютъ профессоровъ о врачебной тайнѣ: въ правѣ ли докторъ, зная, что женихъ—люэтикъ, предупредить о томъ невѣсту и ея родителей? Но еще въ 1901 году врачи Пироговскаго съѣзда выразили *ria desideria*, чтобы женихъ и невѣста, до вступленія въ бракъ, обязаны были заручаться медицинскимъ свидѣтельствомъ, что они не больны дурною болѣзнью въ заразныхъ и вредныхъ для потомства формахъ. Вотъ—лучшее доказательство мысли, что медицина перестаетъ быть только наукою и практикою науки, что она перерождается социалью въ силу высшую, что общество вручаетъ ей понемногу власть и

обязательность религиозная. Всякая религія получает властное общественное значеніе лишь въ то мгновеніе и чрезъ то обстоятельство, когда она накладываетъ руку на формировку семьи, когда бракъ, чтобы стать законнымъ и признаннымъ общественно, нуждается въ непремѣнной его санкціи ея. Сейчасъ бракъ узаконяется чрезъ церковный обрядъ, совершаемый священникомъ, который, чтобы допустить жениха и невѣсту къ вѣнчанію, требуетъ отъ нихъ длинный рядъ условій пригодности къ браку съ религиозно-нравственной точки зрѣнія, установленныхъ неподвижно и очень давно. Освободительный, свободомыслящій духъ восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣковъ мало-по-малу распаталъ авторитетъ этихъ условій, и такъ какъ церковь, въ особенности католическая и православная, не хотѣли уступить въ нихъ обществу ни пяди, то исподволь создавался компромиссъ гражданскаго брака. На Западѣ онъ получилъ или получаетъ права законности, у насъ, помимо фактическаго господства своего въ нелегальной или полуделегальной семьѣ раскола, начинаетъ перетягивать къ себѣ симпатіи огромныхъ массъ интеллигенціи, громко взываетъ о правахъ для себя, рѣзко и единодушно, устами всей почти печати, протестуетъ противъ отчужденія, создаваемого для брачующихся граждански и для дѣтей ихъ закономъ государственнымъ и церковнымъ. Хорошо извѣстно всѣмъ, что и правительственная воля отчасти пошла навстрѣчу этимъ протестамъ: въ Россіи нѣтъ болѣе «незаконнорожденныхъ», гражданскія права «внѣбрачныхъ дѣтей» нѣсколько расширены, облегчены способы ихъ узаконенія и т. д. Трудно сомнѣваться, что рано или поздно общество вынуждено будетъ признать равноправіе брака гражданскаго съ бракомъ церковнымъ. Это—вопросъ срока, а не принципа. Церкви, какъ то и было въ первыхъ вѣкахъ ея, останется обрядъ, символически создающій семью, практическая же санкція созданія перейдетъ въ руки государства или, какъ на Западѣ, мѣстнаго самоуправленія, причемъ, конечно, въ ко-

рень измѣнятся и условія, и процедура санкціи. Замѣчательная вещь! Мнѣ приходилось говорить на эту тему со многими просвѣщенными представителями нашего духовенства, и, къ удивленію моему, я ни въ одномъ изъ нихъ не встрѣтилъ вражды къ этимъ перспективамъ:

— Наше искреннѣйшее желаніе, — говорили они, — чтобы отъ брака, какъ таинства церковнаго, отпало все, что приносить въ него гражданскій законъ; чтобы въ вопросѣ брачномъ священникъ былъ только священникомъ, не примѣшивая къ духовнымъ обязанностямъ своимъ функцій гражданского чиновника; чтобы все предварительное слѣдствіе брачнаго процесса (такъ-называемый обыскъ) о правахъ вступленія въ бракъ, со всѣми ихъ гражданскими условіями и послѣдствіями, совершала свѣтская власть, гражданское же учрежденіе, а къ намъ приходили бы вѣрующіе лишь получить просимое таинство, котораго они достойны, въ обрядѣ и духѣ нашей матери-церкви.

Итакъ, семейное начало можно считать уже на пути, хотя, можетъ быть, и не близкомъ, къ эмансипаціи отъ церковнаго контроля, на переходѣ къ контролю общественно-государственному, т. е. къ свободному гражданскому контракту между брачующимися, провѣренному спеціальнымъ государственнымъ учрежденіемъ въ правоспособности сторонъ и освященному, — для людей религіозныхъ, вѣрующихъ, — обрядомъ церковнымъ. Законъ, глаголавшій къ человѣческимъ обществамъ именемъ Бога, ослабляетъ свою принудительную волю, смягчаетъ силу, карающую ослушниковъ, принимаетъ компромиссы и даже ищетъ компромиссовъ.

Но привычка человѣка къ дисциплинѣ, диктуемой силами, высшими его личной воли, не въ состояніи оставить общество безъ пастыря. Ослабѣла власть стремившихся вѣщать духомъ, нарождается власть учителей и жрецовъ, вѣщающихъ религію плоти.

Общество оставляетъ тѣхъ, кто хотѣлъ спасти его душу,



и подчиняется тѣмъ, кто обѣщаетъ ему сберечь какъ можно дольше и возможно благополучно его тѣло. Всѣ, кто учить видѣтъ въ тѣлѣ врага человѣковъ, — враги медицины и медиковъ, такъ какъ медицина есть именно наука тѣлолюбія... На зарѣ христіанскаго аскетизма апостоль Іаковъ запрещалъ вѣрнымъ лѣчиться иначе, какъ молитвою и освященнымъ елеемъ пресвитеровъ церковныхъ. И, почти двѣ тысячи лѣтъ спустя, творецъ религіи самоотреченія, вышедшей изъ христіанскихъ началъ, Левъ Николаевичъ Толстой, обрушился на медицину съ тою же отрицающею ненавистью въ «Крейцеровой Сонатѣ». Враговъ у медицины много, но все враги не сильные, не исключая даже и Льва Толстого. Расшатанный было медицинскій девизъ древней европейской культуры: *mens sana in corpore sano* двѣ тысячи лѣтъ боролся за свое существованіе и, наконецъ, вторично покорилъ общество. *Corpus sanum* повсемѣстно становится общественнымъ идеаломъ. Наука, обѣщающая превратить членовъ общества въ *corpore sano*, дѣлается владычицей общества. Она требуетъ непреложной себѣ покорности, — именно религіознаго предъ собою благоговѣнія, — желаетъ получить власть и силу подчинять личность своимъ запросамъ, ищетъ права и возможности карать за неподчиненіе. Сеньера пятнадцатаго вѣка никто не могъ обязать держать въ чистотѣ дворъ своего замка или отправить въ госпиталь слугу, заболѣвшаго заразительнымъ недугомъ; но, если до ушей инквизиціи доходилъ слухъ, что сказанный сеньеръ произвольно толкуетъ догматъ о Непорочномъ Зачатіи или отрицаетъ существованіе дьявола, его тащили въ судъ, сажали въ тюрьму, сжигали на кострѣ. Сеньеръ двадцатаго вѣка свободно толкуетъ о какихъ угодно глубинахъ духовной религіи, но ежели санитарный осмотръ найдетъ дворъ его палаццо въ свинскомъ видѣ, то сеньера оштрафуютъ, а при дальнѣйшемъ упрямствѣ въ нечистоплотности онъ можетъ посидѣть и подъ арестомъ. Религія

сogrogis sani давно уже требуетъ изъ семьи въ свое вѣдѣніе заразительно-больныхъ ея членовъ. Она вмѣшивается въ похоронный ритуалъ, предписывая порядокъ погребенія дифтеритныхъ, оспенныхъ и т. п. мертвецовъ, безопасный для живыхъ и здоровыхъ. Она входитъ въ дома съ дезинфецирующими средствами и брызжетъ сулемою въ углы и стѣны, чтобы убить кишачихъ въ воздухѣ микробовъ совершенно съ тою же энергіей и настойчивостью, какъ изстари въ домахъ вѣрующей паствы кропать святою водою чтобы брызгами ея освободить жилища людскія отъ нечистой силы.

Контроль брака религіей положилъ начало церковной общинѣ, въ которой благомъ считалась строгая, взыскательная дисциплина духа, зломъ — сильная плоть, торжествующая надъ этою дисциплиною. Контроль брака медицинскою наукою создаетъ общину иного вида. Благомъ въ ней будетъ признаваться сильная, жизнеспособная плоть, зломъ — все, что уменьшаетъ силу и жизнеспособность. Христіанинъ перваго вѣка полагалъ грѣхомъ лѣчиться отъ болѣзни. Культура вѣка двадцатаго объявляетъ грѣхомъ болѣзнь. Въ старомъ греко-римскомъ мірѣ человѣкомъ, угоднымъ божеству, почитался властный богачъ, въ мірѣ христіанскомъ — нищій и больной страдалецъ, измождившій свое тѣло, чтобы возвысить духъ. Любимцемъ боговъ, по взглядамъ наплывающей въ міръ культуры, долженъ почитаться человѣкъ, въ которомъ огромное тѣлесное здоровье станетъ фундаментомъ для огромной мыслительной способности. Задача вѣка — оздоровленіе общества.

Сифились — первая болѣзнь, полицейскую власть надъ которою врачи ищутъ взять въ свое вѣдѣніе: первая, такъ сказать, ересь человѣческаго организма, противъ которой хочеть учредиться благожелательная медицинская инквизиція. Но вѣдь заразителенъ и способствуетъ вырожденію не одинъ сифились. Страшенъ туберкулезъ, страшна проказа, страшны психозы, да, наконецъ,

мало ли болѣзней могутъ быть признаны и объявлены заразительными и вредными для потомства съ теченіемъ времени? Принципъ, что врачъ можетъ налагать veto на брачную правоспособность жениха и невѣсты по ихъ болѣзненности, не можетъ остаться безъ развитія: ужь слишкомъ онъ широкъ, даетъ слишкомъ большую власть надъ обществомъ, слишкомъ соблазнительно растить его и укрѣплять и слишкомъ удобно ему расти и укрѣпляться. Въ чьихъ рукахъ власть надъ бракомъ въ обществѣ, та сила и господствуетъ въ немъ. Какъ знать? Быть можетъ на рубежѣ двадцать перваго столѣтія, правнуки наши, влюбясь и мечтая побраться, будутъ волноваться уже не тѣми затрудненіями, что вотъ — они кумъ и кума, что его братъ женатъ на ея сестрѣ, что не истекъ срокъ безвѣстнаго отсутствія перваго мужа или первой жены и т. д.

Но:

— Я люблю васъ, Марья Ивановна, будьте моею женою.

— Ахъ, Иванъ Ивановичъ! Не сомнѣвайтесь въ моей взаимности, но, увы! жестокой рокъ разлучаетъ насъ на вѣки. Вѣдь, если не ошибаюсь, ваша маменьки умерла отъ туберкулеза легкихъ?

— Къ сожалѣнію, это такъ.

— А у меня дядя сидитъ въ больницѣ Николая Чудотворца, на попеченіи доктора Томашевскаго - правнука. Сами посудите: возможенъ ли нашъ союзъ? Какой врачъ согласится утвердить наше брачное свидѣтельство? Развѣ мы имѣемъ право на потомство? Это — уголовное преступленіе. Насъ подъ судъ отдадутъ.

Религія духа исходитъ изъ идеи, что духъ человѣчскій — дуновение Божіе, и человѣкъ не есть собственникъ, но только владѣлецъ души своей, которая должна рано или поздно возвратиться къ Богу, и Богъ спроситъ отвѣтъ съ нея за жизнь на землѣ, въ тѣлѣ, чѣмъ она погрѣшила, чѣмъ она спаслась. Это — идея отвѣтственности за себя.

Изъ нея выросло понятіе долга, которое, развиваясь въ благую сторону, породило цивилизацію, а, въ обратной эволюціи, тормозило цивилизацію, создавая косное невѣжественное суевѣріе и духовный деспотизмъ. Не ушли отъ этихъ золъ ни еврейство, ни исламъ, ни христіанство. Последнее, какъ скоро восторжествовало въ Европѣ и, дробясь на вѣроисповѣданія, стало въ ней государственною религіей, повсемѣстно и значительно утратило свою первобытную чистоту и кротость. Восемнадцатый и девятнадцатый вѣка усердно работали, двадцатый работаетъ, чтобы снять съ религіи своихъ чуждое имъ наслоеніе повелительной властности,—возвратить личности свободу воли.

Добывъ или добывая себѣ право существовать по свободной волѣ, личность, естественно, дорожить прежде всего сама собою, заботится о самоохраненіи, которое обезпечило бы ей какъ можно болѣе длинный срокъ наслажденія жизнью: долготѣіе, силу, здоровье, хорошо работающіе мозги и мускулы. Разъ смыслъ жизни сводится къ физическому самоохраненію, естественно, что господами міра становятся не аскетъ и самоотреченникъ, не идеалистъ и презритель тѣла, не теологъ и философъ-метафизикъ, но тотъ, кто умѣетъ содѣйствовать физическому самоохраненію: ученый естествоиспытатель, какъ теоретикъ, и врачъ, какъ практикъ. Будущее за врачами. Долго ли оно продлится,—Богъ вѣсть; но ближайшее будущее—за ними.

1903.





Ю Н Ы Е .



## I. .

До Рождества — рукою подать. Изъ учащейся молодежи, кто поюнѣе — книжки подъ мышки, кто постарше — лекціи въ портфель, и айда по домамъ, къ веселымъ елочнымъ праздникамъ.

Для всѣхъ ли веселымъ?

Сегодня — такъ называемое на школьномъ условномъ языкѣ — «разѣздное воскресенье», послѣднее предъ святочнымъ роздыхомъ. Начиная съ нынѣшняго дня, вплоть до самаго сочельника, всѣ отходящіе изъ Петербурга поѣзда будутъ переполнены спѣшащею во-свояси молодежью. Все — свѣтлыя пуговицы, черная шинель, да синій околышъ. Вагоны третьяго класса биткомъ набиты. Спать въ повалку, курево — какъ въ мертвецкой, и громовое Gaudeamus, сквозь грохотъ поѣзда и двойныя, замерзлыя окна, заставляетъ дорожныхъ сторожей съ любопытствомъ таращить глаза на змѣю поѣзда, увлекающаго вглубь Россіи эту живую, милую кладь...

Ой ты, кладь! молодецкая кладь!  
Гдѣ придется тебя выгружать?

— Студентъ повалилъ... экъ его нонѣ сила какая! — ухмыляясь, думаетъ и свѣтитъ зеленымъ фонаремъ заиндевѣлый сторожъ.

— Студентъ повалилъ! — гудятъ молвою захолустныя станціи, — и всюду радостно встрѣченъ этотъ молодой вольный поѣздъ — и своими, и чужими.



— Ну, вот! Привель Богъ свидѣться! — обнимаясь и цѣлуясь, восклицаютъ свои. А чужіе сочувственно улыбаются:

— И со стороны пріятно взглянуть. Ишь, какіе славные ребята понаѣхали!

— Самъ жду своего, такого же, завтра.

— А у меня молодцы ужъ тоже на выростъ... старшій весною кончается... какъ же! на юридическій ладить... товарищи будутъ.

— Ну, съ пріѣздомъ васъ, молодые люди! Отдыхайте на родительскихъ хлѣбахъ, надо вамъ въ тѣло хоть малость войти... Что это въ Питерѣ-то васъ какъ будто голодухой заморили?

Такъ они ѣдутъ. Всѣ ли вернутся?

Идиллію писать пріятно, но идилліи—немногія заре-выя минуты въ долгой черной ночи, короткая пасторальная интермедія въ антрактѣ тяжелой, многослезной драмы. Изъ тѣхъ, что, такъ весело развалиясь на жесткихъ скамейкахъ вагона и, съ виду, всякія житейскія отложивъ попеченія, взываютъ къ товарищамъ:

Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus! --

не одной сотнѣ,—на самомъ дѣлѣ, въ глубинѣ души,—вовсе не до того, чтобы *gaudere*...

Doleamus igitur,  
Juvenes nam sumus!

«Загорюемъ-ка, друзья, ибо мы имѣемъ несчастье быть юношами!» — съ гораздо большею правотою и искренностью, запѣли бы эти горемычные десятки молодыхъ людей на торжественный мотивъ исконнаго студенческаго гимна, кабы юношеская гордость позволила дать волю сердцу, накипѣвшему гнѣвомъ и печалью.

Doleamus igitur,  
Juvenes nam sumus!

Это—десятки, которымъ не на что больше учиться, не на что больше кормиться въ Петербургѣ. Маленькіе Ломо-

носовы, нахлынувшіе — «босы ноги, грязно тѣло и едва прикрыта грудь» — изъ Холмогоръ, Вельегонсковъ, Боровичей — въ огромную, сіяющую знаніемъ, столицу, чтобы напиться свѣтомъ ея мудрости и потомъ вернуться свѣтоносцами въ свое глухое, темное царство. Но—увы! Столичная мудрость лишь свѣтитъ, а не грѣетъ, и, приблизившись къ ней, босые и нагіе свѣтолюбцы дрожатъ отъ холода, стуча зубомъ о зубъ и колѣномъ о колѣно.

— Намъ зябко! — съ робостью говорятъ они столичной мудрости, а столичная мудрость благосклонно отвѣчаетъ:

— Да? Ну, что-жь, — это очень естественно. Зимы въ Петербургѣ отличаются весьма низкими температурами, а вы, сколько я могу замѣтить, одѣты болѣе, чѣмъ легко. Это нехорошо, вредно. Вы можете простудиться, заболѣть, слечь въ постель, — и тогда что же будетъ съ вашими занятіями? Кто хочетъ познавать меня въ Петербургѣ, долженъ предварительно купить себѣ хорошую теплую шинель, ватный картузь, калоши на ноги и кашнэ на горло.

— Намъ ѣсть нечего! — звучитъ новый робкій голосъ.

Столичная мудрость слегка морщится, но она, хотя и нѣсколько самозабвенная, однако, по существу, добрая, снисходительная старуха:

— Весьма, весьма неприятное обстоятельство! — отвѣчаетъ она, сожалительно качая думною головою. — И неприятное, и неблагоприятное. Видите ли: въ настоящее время наукою совершенно оставлено старинное правило, будто бы *satur venter non studet libenter*, переводимое на русскій языкъ нѣсколько вульгарною пословицею, что сытое брюхо къ ученью глухо. Это предразсудокъ. Напротивъ, вполне доказано, что успѣшность научныхъ занятій развивается въ точномъ соотвѣтствіи съ правильностью питанія. Не давайте организму ослабѣвать, поддерживайте въ равновѣсіи обмѣнъ веществъ, — только тогда пойдетъ вамъ въ настоящій прокъ моя наука. Ѣшьте мясо, яйца, бульонъ,

пейте бутылку-другую пива въ день — и вы увидите, какихъ полезныхъ дѣятелей и добрыхъ мыслителей сдѣлають изъ васъ мои лекціи.

— Да не пускають насъ на ваши лекціи! — уже нѣсколько раздраженно отзывается скорбный голосъ.

Столичная мудрость дѣлаетъ широкіе глаза:

— Не пускають? Странно? Отчего же?

— Оттого, что за слушаніе лекцій заплатить надо.

— Ну-съ?

— А намъ нечѣмъ

— То-есть — какъ же это нечѣмъ?!

— Да такъ... не только въ карманѣ ничего, а и кармановъ самихъ не осталось.

— Странно! очень странно! — не безъ обиды за себя, говорить столичная мудрость. — Ну, тамъ, что вамъ ѣсть нечего, одѣться не во что, комнату вамъ не подѣ силу нанять, — съ этимъ я еще могу примириться. Конечно, оно немножко shocking, но ужъ куда ни шло, дѣло житейское. Къ тому же, и правительство, и добрые богатые люди, и студенческая взаимопомощь настроили теперь для васъ общежитій и дешевыхъ квартиръ, научредили бесплатныхъ и полу-даровыхъ столовыхъ, такъ что, въ концѣ концовъ, вамъ есть куда приклонить голову и гдѣ получить кусокъ хлѣба, дабы не вѣдать пустоты, которой не терпитъ всякая природа, а въ особенности, природа желудка. Но — лекціи?! Лекціи должны быть оплачены! Иначе мнѣ, столичной мудрости, придется положить зубы на полку. Платите за лекціи, и — остальное само приложится вамъ. Платите за лекціи.

— Боже мой! да откуда же намъ взять?

— Пишите письма къ родителямъ!

— Да родители сами перебиваются съ хлѣба на квась. Съ голаго рубашку снимать? У нищаго суму отнимать?

— Ну... трудитесь! уроки давайте, письменныя занятія возьмите...

— А мы не даемъ? а мы не беремъ? О, милая *alma mater*! великая и пресвѣтлая столичная мудрость! Возьми въ бѣлыя руки свои любую петербургскую газету, обрати ясныя очи свои на столбцы ея объявленій и дай себѣ немудреный трудъ уразумѣть, что ежедневно печатается въ нихъ чернымъ по бѣлому. Вотъ они, эти — «за столъ и квартиру», «за дешевый столъ», «за комнату», «за пять рублей въ мѣсяць»... «умоляю дать хоть какое-нибудь занятіе»... «вниманію добрыхъ людей»... вѣдь это же нашъ мартирологъ, нашъ десятый кругъ столичнаго Дантова ада! За десять рублей въ мѣсяць ходимъ мы — идемъ, а подметки сапогъ нашихъ идутъ самостоятельно, отдѣльно отъ насъ: нога ступить прямо, а подметка виль влѣво, нога ступить влѣво, а подметка виль вправо — ходимъ мы съ Васильевскаго острова къ Александро-Невской лаврѣ, подъ Смольный, репетировать тупоумныхъ отъ переутомленія и золотухи, капризныхъ и несносныхъ отъ малокровія, ребятишекъ — по двѣ, по три штуки въ одной семьѣ, по три, по четыре часа непрерывныхъ занятій. Мы клюемъ носомъ на лекціяхъ, на которыя приходимъ прямо изъ типографіи, гдѣ всю ночь слѣпили глаза безсонною работою надъ корректурами. Мы бросаемся на всякое дѣло, которое — лишь бы оно было согласно съ понятіемъ честнаго труда! — поманить насъ хоть рублемъ, хоть полтинникомъ: идемъ на перебой въ счетчики, въ контролеры, въ статисты, околачиваемся по репортажу...

— Но, позвольте! — прерываетъ, всплеснувъ руками, *alma mater*, — когда же вы, въ такомъ случаѣ, учитесь?

— Ужъ этого мы и сами не знаемъ, премудрая, а только согласись сама: вѣдь экзамены-то мы сдаемъ хо рошо!..

— Да, не спорю, но... но эта непрерывная толчея и пестрота добычи трудового куска хлѣба должна отвратительно вліять на вашу нравственность!

— О, конечно, дорогая *alma mater*! Должна — и несо-

мнѣнно повліяла бы, имѣя мы время и силы терять нравственность. Недоѣданіе ожесточаетъ человѣка, конкуренція дѣлаетъ неразборчивымъ въ выборѣ средствъ. И, если иные умные люди воздыхаютъ, бѣя себя кулаками въ перси, о сухой практичности современной молодежи, о безпредѣльномъ и холодномъ эгоизмѣ, который такъ антипатично сказывается во многихъ юныхъ и начинающихъ карьеру дѣятеляхъ, только что сорвавшихся съ университетской скамьи; если воздыханія умныхъ людей не вовсе несправедливы; если, дѣйствительно, попадаются такіе уроды въ нашей семьѣ,—прости насъ, *alma mater*! не мы виноваты, что они завелись въ нашей средѣ.

— Не вы?! А кто же, по-вашему? ужъ не я ли, чего добраго?! — восклицаетъ сконфуженная *alma mater*, — вы скажете! отъ васъ того и жди!

— Конечно, ты, *alma mater*. То-есть не ты, собственно, а общество, которому поставщицею свѣта и добра ты служишь, и подъ опекою котораго ты зато находишься. Ты хочешь, чтобы мы выходили въ общество, полные силъ и восторга, кипящіе мечтами, сверкающіе идеями, чтобы мы слагались въ дружную, убѣжденную рать на защиту культуры, на пользу брату-человѣку, въ помощь идеаламъ взаимолюбія всѣхъ людей—лучшимъ идеаламъ, какіе когда-либо прозвучали съ неба на землю... Хочешь— и мы хотимъ. Но зачѣмъ же— въ возрастѣ, когда сердце—восковое, когда изъ души, какъ изъ тѣста, лѣпи, что задумалъ, а быстро и остро слагающійся умъ жадно ловить въ себя окружающія явленія, глубоко запечатлѣваетъ ихъ и самъ отливадается по ихъ формамъ— зачѣмъ оставляешь ты насъ по четыре года, по пяти лѣтъ въ омутѣ безоглядной и беспощадной борьбы за существованіе? Зачѣмъ, съ такою преждевременною осязательностью, стараешься научить насъ, что теорія, читаемая съ твоихъ прекрасныхъ кафедръ, — это одно, а практика жизни, мятущейся и стонущей вокругъ, совсѣмъ, совсѣмъ другое? Что благоволеніе и прекрасно-

душе первой — для избранныхъ счастливецъ, а тиски второй — для горемыкъ, какъ мы... для меня, моего со-сѣда, Сидорова, Петрова, Карпова, пятого-десятого, для всей нашей голодной и холодной, не имущей, на что учиться, толпы? Твой свѣточъ засверкалъ предъ нами, озаряя громко несущуюся жизнь... Неопытные глаза наши отверзались... Видимъ. Да! Старый мудрецъ правъ: homo homini lupus es', и кругомъ — житейскіе волки. Бѣдныя, лихвыя, ошипанные, поджарые волки, съ втянутыми отъ голодухи животами, съ отчаяніемъ состязающіеся за десятокъ обглоданныхъ костей, брошенныхъ на снѣжномъ пустырѣ. И волки бросаются на насъ, и мы отбиваемся отъ волковъ, и кипитъ дикая свалка, — кому же, наконецъ, удастся ухватить и поглотить злополучныя кости? Тогда ты кричишь намъ, возмущенная, слова правды и гуманности: Пойдите! Опомнитесь! Что вы дѣлаете, несчастные? Мои ли вы ученики? Или вы забыли мои завѣты? Нельзя вамъ выть съ волками по-волчьи! Нельзя вамъ унижаться до волковъ, — ваше дѣло — волковъ возвысить до себя! Придите ко мнѣ, и я научу васъ, на какихъ началахъ должна свершиться волчиная цивилизація... И мы внемлемъ твоему голосу, и послуствуемъ твоимъ совѣтамъ, но, куда внемлемъ и послуствуемъ, житейскіе волки кусаютъ насъ за ноги, обгрызаютъ намъ ляжки, выѣдаютъ намъ животъ. Alma mater! Не всѣ же спартанцы! И диво ли, что иной, духомъ послабѣе, а тѣломъ почувствительнѣе, не стерпѣвъ муки и боли, машетъ на тебя рукою и восклицаетъ:

— Все врала старуха! Идеалы, да человѣчность... Стара штука! Истина-то — не съ нею, а у волковъ... Вона — вишь, какіе у нихъ зубищи! такъ и загибаютъ... и мясо ѣдятъ.

И самъ дичаетъ до образа и подобія волчиного.

Такъ мы маемся и иной разъ пропадаемъ, когда одиноки. А — если вдвоемъ? Если жажда хоть минутки счастья

и согласіе убѣжденій свели нашего брата въ брачный союзъ, узаконенный или гражданскій, съ женщиною— такою же нищею и такою же трудовою, какъ и мужъ? Да вѣдь это не жизнь—это... скорбь вавилонская! Это—смерть! смерть! смерть!

Смерть меня кличетъ, моя дорогая...  
О, для чего, умирая,  
О, для чего, умирая, любя,  
Я не въ лѣсу покидаю тебя?  
Въ темномъ лѣсу, гдѣ опасность таится,  
Неотразимо грозна,  
Змѣи клубятся, коршунъ гвѣздится,  
Съ бѣшенымъ хрюканьемъ бродить веприца,  
Бураго вепря жена...  
Смерть меня кличетъ... о горе!  
Лучше бы въ утломъ челпѣ  
Бросилъ, средь бурнаго моря,  
Я существо, драгоцѣнное мнѣ!..

Столичная мудрость растерянно разводитъ руками.

— Право, ума не приложу, какъ мнѣ быть съ вами. Учиться вамъ некогда, потому что надо жить. Жить трудно. Потому что надо учиться. Вотъ и крутись, какъ бѣлка въ колесѣ! Ну-съ, да все это, однако, философія. А за лекціи-то все-таки пожалуйста денежки!

— Великая! пощади!

— Да что тамъ—пощади! Не я спрашиваю, законъ спрашиваетъ. Мнѣ—что? По мнѣ, хоть всѣ даромъ учитесь,—лишь бы профессорамъ моимъ правительство жалованье платило, а то мнѣ вашихъ денегъ не надо... Но законъ требуетъ: плати—и надо платить. А, у кого нѣтъ средствъ платить, долженъ убираться вонъ, если ему не поможетъ общественная благотворительность... Устройте тамъ какой-нибудь концертъ или спектакль, что ли... Фигнера пригласите, Комиссаржевскую... очень, очень недурные сборы бываютъ. Знаете: съ міру по ниткѣ...

— Голому веревка! знаемъ, благотѣльница.

— Наконецъ, вотъ—въ обществѣ вспоможенія нуждающимся студентамъ имѣются, говорятъ, десятки ты-

ячь въ долгу за бывшими университетантами по невозвращеннымъ ссудамъ въ учебные годы. Просите обращенія этихъ денегъ на свои нужды: это ваше право...

— Не возвращаютъ, кормилица!

— Настаивайте! требуйте! протестуйте! обращайтесь къ обществу, ходатайствуйте предъ правительствомъ! Печатайте въ газетахъ имена недоимщиковъ... нельзя же, сорть возьми, безнаказанно вырывать кусокъ хлѣба изъ рта у голоднаго. Если совѣсть забыли, пусть хоть сраму это наглотаются.

— Не дѣйствуетъ, голубушка. Все испробовали, и все—какъ съ гуся вода. Ужъ больно благонадежно пропитались принципомъ на счетъ homo homini lupus...

— Господи!—въ совѣстливой мукѣ ломаетъ себѣ руки *alma mater*,—что же это, наконецъ? Куда ни кинь, всюду пинь. И зачѣмъ только васъ припесло ко мнѣ, горемычные? Ну,—нѣтъ денегъ учиться, сидѣли бы смиренхонько, а тихохонько по своимъ мурьямъ...

— А богатые бы учились?

— Богатые бы учились.

— Великая! Ты начинаешь разсуждать, какъ кн. Мерсерскій!..

*Alma mater* обидѣлась:

— Вы, однако, не ругайтесь... я не заслужила...

Ее прервали:

— Послушай, *alma mater*. Глухая ночь царить въ глубинѣ Россіи, и ночь плодитъ мотыльковъ. Въ силахъ ли это задержать ихъ приплодъ?

— Никто и ничто. Это законъ природы.

— И они родятся тысячами, десятками тысячъ, и, ружа во тьмѣ и холодѣ, мечтаютъ о свѣтломъ, тепломъ солнцѣ, повторяютъ себѣ сказки и легенды невѣдомаго имъ благо дня, страдаютъ по золотымъ лучамъ, по радужной призмѣ красокъ... Ты, *alma mater*,—



Какъ солнце небесамъ,  
Ты жизнь и свѣтъ вливаешь въ душу намъ!

Скажи: можешь ли ты не свѣтить?

— Нѣтъ, не могу. Это—вся цѣль моя, все мое святое назначеніе.

— А если ты не можешь не свѣтить, то можемъ ли мы, мотыльки, не летѣть на твой заманчивый маякъ? И пусть сгорятъ насъ, неосторожныхъ, десятки, сотни, тысячи,—мы все не перестанемъ летѣть, потому что ты—благо и правда, а позади насъ—кривда и зло... Мы вырвались отъ чернаго Аримана и мчимся къ сверкающему Ормузду... И—пусть опалятъ насъ, слабыхъ и бѣдныхъ, пламенные ступени его трона! Обожженные, ковляя на одномъ крылѣ, мы возвратимся въ свой мракъ все же апостолами твоей истины и возвѣстимъ дѣтямъ мрака, что Ормуздъ—не сказка: онъ есть, и онъ прекраснѣе и сильнѣе Аримана, и его святая правда и знаніе, а не ложь темнаго невѣжества, царятъ надъ міромъ. Кто видѣлъ божество хоть однажды въ жизни, отблескъ славы его останется на челѣ того счастливица на всю жизнь. Кто прикоснулся къ тебѣ, *alma mater*, тотъ уже—твой слуга и рыцарь твоего духа, носитель твоего свѣта. Искорку, которую ты успѣла дать ему, онъ разожжетъ костромъ въ своихъ родныхъ потемкахъ... костеръ за костромъ, лучъ за лучемъ,—и дрогнетъ вѣковой мракъ, и запылаетъ надъ Русью прекрасная заря свободнаго знанія и искренняго общаго «благоволенія въ человѣкахъ». И тѣ изъ свѣтолюбивыхъ мотыльковъ, кому Богъ дастъ быть свидѣтелями этого радостнаго дня,—быть можетъ, помянуть добрымъ словомъ и насъ, неосторожныхъ, сожженныхъ, погибшихъ на полпути... вѣдь все же по нашимъ слѣдамъ долетятъ они до своего торжества—до твоего идеала!

Только жаль этихъ обожженныхъ, смертельно жаль.

Вижу я комнатку—далеко, въ Бѣжецкѣ либо въ Валдаѣ. Вечеръ. Тишь. Лампа свѣтитъ сдержаннымъ, робкимъ

огонькомъ. Сверчокъ скрипитъ за печкою. Окно ледянымъ узоромъ затянато. Старушка у стола сидитъ, стучитъ швейною машинкою. Стучитъ и думаетъ:

— Что-то сынъ Митя въ Питерѣ подѣбываетъ? Заучился, небось, родимый... старательный онъ у меня, тихій... Ну, да авось Богъ милостивъ! Кончить курсъ,—самъ въ профессора выйдетъ... либо въ адвокаты... Немного вѣдь и ждуть-то: всего три годочка... Теперь мать сыну помощница, а тамъ—сыночекъ матери помощи! Намедни только пять рубликовъ Митенькѣ послала, казначеиха за юбку да кофту отдала... А пора! охъ, пора помочь! Голодаемъ вѣдь мы въ глуши нашей проклятушей... Господи! помоги ему! дай правый судъ! Всѣмъ то грѣшна я предъ Тобою, старая, всѣмъ грѣшна—однимъ не виновата: сыну любимому въ чернотѣ погибнуть не дала, въ люди Митеньку вывела...

Поютъ полоза за окномъ. Лаеетъ дворовый песъ. Скрипнула дверь. Холодомъ пахнуло. Оглянулась старуха,—глазамъ не вѣрить: съ нами крестная сила! Митенька—самъ онъ тутъ, какъ тутъ, позади стоитъ, и шинелишка на немъ истертая, а худое лицо—бѣло, какъ полотно, и тонкія безкровныя губы, подъ темнымъ усомъ, судорога такъ на сторону и дергаетъ...

— Митенька! голубчикъ! да что-жъ это ты? Да когда же? Да какъ же?

— Такъ вотъ, маменька... пріѣхаль...

— А университетъ-то какже, Митенька?

— Университетъ?... Ничего... стоитъ... на острову... по-прежнему. .

И еще пуще перекосило у Митеньки нижнюю губу, и ползетъ по лицу его насильная, жалкая-жалкая улыбка.

— А я, маменька,—храбро начинаетъ онъ,—я къ вамъ, того...

И голоса не хватило. Шепчетъ:

— Я... того... уже отучился...

— Митенька?!

Вся бѣлая, опустилась на стулъ старуха. И валъ сынъ къ ногамъ ея и, какъ ребенокъ, прячетъ голову материнскія колѣна, и сотрясаются рыданіями придавленная лихимъ горемъ юношескія плечи...

— Не для насъ съ тобой, маменька, университе Кормилецъ-то... на хлѣба къ тебѣ пріѣхалъ... на хлѣбъ  
1900.

## II.

Минуть праздники — начнутся университетскія го щины: акты, медали, рѣчи, обѣды. Петербургъ будетъ тить въ честь своей *almae matris* 8-го февраля. Москва 12-го января, въ пресловутый Татьянинъ день. Это худо, это никому не мѣшаетъ, и оставимъ Толстому д зывать обратное. Но...

Ахъ, это очень серьезное и обидное «но»!

Послѣ «письма въ редакцію» пр. Н. И. Карѣевъ сталъ внимательно слѣдить за газетными извѣстіями университетскихъ городовъ. Вездѣ одна и та же истощающая охота учиться смертная, а участь горькая. Тамъ, за взысканіемъ платы, гонять изъ университета единицы, тамъ сотни студентовъ, а, въ общемъ, наберутся сотни, а, жалуй, и перейдетъ за тысячу.

Не безъ добрыхъ душъ на свѣтѣ!  
Кто-нибудь свезетъ въ Москву —  
Будешь въ университетѣ,  
Сонъ совершится на яву...

учили мы въ дѣтствѣ. Часто, читая газетныя сообщенія о нуждѣ студенческой, я вспоминаю стихи эти, и не безъ ироніи подолгу стоятъ они предо мною. О, архангельскій мужикъ! Ты, который «по своей и Божьей волѣ сталъ маленькимъ и великимъ!» Вотъ загадка для дѣтей старшаго

раста: если бы ты въ наше время пришелъ въ столицу пѣшкомъ изъ своихъ Холмогоръ и опредѣлился въ университетъ, то черезъ сколько семестровъ тебя исключили бы, какъ несостоятельнаго плательщика?.. И было бы на Руси однимъ Ломоносовымъ меньше, а однимъ разочарованнымъ, озлобленнымъ бѣднякомъ-недоучкою, кого никуда не пристроишь, ни къ какому мѣсту не опредѣлишь, больше. Онъ не годится въ черный трудъ, потому что онъ образованный, и не годится на интеллигентную работу, потому что спасовалъ въ борьбѣ съ дипломомъ, до котораго не допустила его проклятая нищета.

Исключеніе изъ какой бы то ни было корпораціи — кара нелегкая. Но исключенный студентъ — по особымъ, специальнымъ условіямъ русскаго быта — существо нарочито злополучное. Я самъ неоднократно былъ свидѣтелемъ, какъ — приходитъ къ мѣстодателю бѣднякъ, понравился, показался дѣльнымъ, подходящимъ, столковался, сторговался...

— Ваше званіе?

— Бывшій студентъ ...скаго университета!

— Гм.. не кончили, стало-быть?

— Да, средствъ не хватило.

— Гм... сейчасъ я не могу дать окончательнаго отвѣта... побывайте завтра!

А на завтра — «окончательный отвѣтъ»:

— Очень сожалѣю, но мѣсто уже отдано другому.

И мотивировка отвѣта въ пріятельской бесѣдѣ:

— И радъ бы взять, малый-то, кажись, хорошій, да — чортъ его знаетъ, исключенный какой-то. Говорить: за невзносъ платы. Хорошо, коли такъ, а ну — вдругъ за политику какую-нибудь? Разбирай ихъ тамъ!

Студентъ — соль столичной земли, пока онъ связанъ съ университетомъ и паріа столицы, когда университетъ пресѣкаетъ эту связь. Достоевскій хорошо понималъ это. Недаромъ же Раскольниковъ — *бывшій* студентъ.

Неужели у насъ такъ много «интелигенціи», что мы швыряемся, какъ щепкою, сотнями людей, охочихъ войти въ ея составъ законнымъ путемъ, черезъ врата науки, а не дорогою самозваннаго произвола, что — я, дескать, хожу въ нѣмецкомъ платьѣ, читаю журналы и газеты, знаю образованныя и иностранныя слова, а посему и почитай меня за интеллигента!.. Я хочу предложить читателю, для провѣрки, насколько куцъ и тощъ русскій интеллигентный кругъ, слѣдующій головной спортъ: возьмите на удачу изъ газетъ фамилію любого нашего «дѣятеля», хотя бы изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстностей Россіи, и провѣрьте, не состоите ли вы съ нимъ въ родствѣ, свойствѣ, дружбѣ, знакомствѣ, не имѣете ли общихъ знакомыхъ, не было ли у васъ прикосновенія по какому-либо общему дѣлу, случайной встрѣчи, письменныхъ или гласныхъ сношеній и т. п. Я готовъ пари держать, что, по крайней мѣрѣ, въ семи изъ десяти случаевъ, найдется ниточка, связующая васъ съ избраннымъ лицомъ, что вы, если не имѣете еще понятія другъ о другѣ, то должны бы имѣть, можете имѣть и, по всей вѣроятности, еще будете имѣть... И выходитъ, что

Ой, братцы, мало насъ,  
Голубчики, немножко!

Университеты, съ своей стороны, дѣлають все, чтобы удовлетворить студенческую нужду, но она неизмѣримо выше средствъ университетовъ. Необходима постоянная, методическая общественная помощь, а пока — хоть помощь временная. Вонъ — я прочель въ какомъ-то объявленіи рождественскомъ: «убранство для елокъ въ 5 рублей, въ 10 рублей, въ 25 руб., въ 50 руб. и до... 500 рублей серебромъ!» Дѣлайте елки дѣтямъ; это хорошій обычай, его нельзя забывать! Рождество — дѣтскій праздникъ, въ немъ сказывается смѣхомъ и рѣзвыми играми вся поэзія дѣтства...

Noël! Noël!  
Voici le Redempteur!

Но ни Рождество, ни дѣти не потерпятъ ущерба, если вмѣсто сторублевой елки вы сдѣлаете двадцатипяти рублевую, а оставшуюся разницу отошлете въ комитетъ вспоможенія недостаточнымъ студентамъ. Кто знаетъ, быть можетъ, вы поможете этимъ обучиться именно тому доктору, который года черезъ три-четыре будетъ возиться съ вашими же дѣтьми въ дифтеритѣ, кори или скарлатинѣ, тому учителю, которому суждено просвѣщать вашего Васю, Митю, Колю, вашу Лизу или Наденьку, когда для нихъ настанетъ школьный періодъ жизни.

Особенно слѣдуетъ подумать о помощи бѣднымъ студентамъ тѣмъ, кто самъ былъ бѣднымъ студентомъ, кто, въ этомъ своемъ качествѣ, пользовался ссудами изъ благотворительныхъ студенческихъ учреждений. Комитеты послѣднихъ постоянно плачутся на неисправность должниковъ— по недобросовѣстности ли, по забывчивости ли, одинаково нехорошо: первая, конечно, хуже второй, да и за вторую хвалить трудно... Повторяю: скоро университетскіе праздники. Будете вы, господа, пить шампанское, будете произносить трогательныя рѣчи, будете кричать: *vivat alma mater!* и объясняться ей въ любви и преданности до гроба Но *alma mater* не повѣритъ вамъ. Она скажетъ:

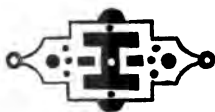
— Если ты любишь меня, если ты преданъ мнѣ, зачѣмъ же ты обезсиливаешь мою семью? за что лишаешь новыхъ птенцовъ моихъ, своихъ младшихъ товарищей, возможности ютиться, расти и развиваться подъ моимъ крыломъ? Не надо мнѣ блеска, затѣяннаго вами въ мою честь! Я, храмъ знанія, тоже учрежденіе Христово и тоже, какъ Христосъ, «милости хочу, а не жертвы»!..

Gaudeamus igitur,  
Juvenes dum sumus!  
Post jucundam juventutem,  
Post molestam senectutem  
Nos habebit humus...

Хороша эта студенческая пѣсня, но трудно пѣть ее съ чистою и покойною совѣстью, когда знаешь, что, по край-

ней мѣрѣ, тысяча товарищей твоихъ на лицѣ земли р  
ской въ это самое время совсѣмъ уже не gaudet, но  
горькими слезами, потому что неприютная juvenus  
вовсе не jucunda, но molesta — molestissima... Утрите  
хоть немножко эти слезы, а потомъ — въ добрый часъ  
будемъ ликовать въ свое удовольствіе... Gaudeamus ig  
juvenes dum sumus!..

1897.



„Татьяны“.



"[Illegible text]

# I.

Двѣнадцатое января въ Москвѣ—день пьяный по принципу. Кто въ обычные дни напивается изъ любви къ этому искусству, на Татьяну напивается по чувству долга. Кто въ обычные дни не пьетъ вовсе, на Татьяну напивается, чтобы доказать свою солидарность съ пьющей интеллигенціей: пусть, моль, житейскіе пути растащили насъ далеко другъ отъ друга, раскидали врозь, точно стоги въ унылыхъ стихахъ Алексѣя Толстого, но живы еще, цѣлы въ сердцѣ нити, прикрѣпляющія насъ неразрывною связью къ общему корню, объединяющія насъ во имя общей нашей кормилицы — *alma mater*... Да здравствуетъ *alma mater*, господа! *Gaudeamus igitur! vivat academia!* Ур-рррра!!!

Виновать: я впалъ въ тонъ татьянинской рѣчи. Это удивительно: я столько ихъ наслушался. Слушалъ въ Эрмитажѣ, слушалъ въ Стрѣльнѣ, слушалъ у Яра, слушалъ, ѣдучи на тройкѣ за городомъ, слушалъ на улицѣ отъ встрѣчныхъ студіозовъ... вчера въ Москвѣ только камни не глаголали и не приглашали выпить «за нарродъ и ин... интел... какъ бишь ее, чорта?... интеллигенцію!» Да еще въ Долгохамовническомъ переулкѣ старый сѣдой мудрецъ—великій писатель земли русской — неодобрительно хмурилъ свои косматыя брови и твердилъ выразительный текстъ: не упивайтесь виномъ, въ немъ бо есть блудъ...

Льва Толстого съ его проповѣдью противъ Татьянина дня вчера поминали неоднократно. И на столахъ, и за сто-

лами, и подь столами. Профессоръ Маклаковъ, лучший московскій окулистъ, попался студентамъ у Яра; его, разумѣется, сейчасъ же подняли на столъ:

— Рѣчь!.. Ррѣчь! . Рѣ-ѣ-ѣ-ѣчь!!!... браво!... Рѣчь!

Сѣдоватый профессоръ, съ лицомъ умнымъ и немножко проницескимъ, съ веселымъ взглядомъ спрятанныхъ подь блѣдно-сѣрыми очками глазъ, тихимъ голосомъ начинаетъ складную, точно бойкій фелъетонъ построенную, отповѣдь Толстому. Слушать трудно. Орутъ, поютъ, умиляются... Подвыпившій студентъ, какъ только видитъ на столѣ знакомую профессорскую фізіономію, сейчасъ приходитъ въ экстазъ и не можетъ не ревѣть bravo послѣ каждого слова...

— Господа! я...

— Браво!

— Намѣрень...

— Браво!

— Да дайте же мнѣ, чортъ возьми, говорить, если заставили...

— Браво! ха—ха—ха! Браво! Тихе! дайте говорить! качать! браво! браво!.. Тихе вы тамъ, задніе!.. Чего тихе, когда вы-то и кричите?! Тсс...

Масса усмиряется. Рѣчь, хоть отрывками, слышна.

— Во-первыхъ, Руси есть веселіе пить, во-вторыхъ—пу, вотъ великая бѣда, что выпеть лишнее мужчина? А въ-третьихъ—отчего, дѣйствительно, молодому человѣку не выпить въ торжественный день, во славу своей науки и за процвѣтаніе своихъ идеаловъ? И мы пьемъ и выпьемъ. И если кто допьется до необходимости пасть на четвереньки и поползти, да не смущается сердце его! Лучше съ чистымъ сердцемъ и возвышенными идеями въ умѣ ползти на четверенькахъ по тропѣ прогресса къ свѣтлымъ цѣлямъ, чѣмъ на двухъ ногахъ идти въ участокъ съ доносомъ на товарища.

Взрывъ хохота. Профессора качаютъ. Я осматриваюсь и, дѣйствительно, становится смѣшно: каррикатурный

образъ интеллигенціи, допившейся до необходимости ползти по тропѣ прогресса на четверенькахъ, щедрински близокъ къ правдѣ.

Сажусь къ столу, занятому нашей большой компаніей— по преимуществу, газетчицкой.

— А у насъ, пока ты Маклакова слушалъ, находка объявилась... Пришелъ Z, перецѣловалъ насъ всѣхъ, а затѣмъ легъ подъ столъ—и спать, бестія...

Наклоняюсь: нѣтъ, не спать, смотреть; а лишь въ изнеможеніи, и на лицѣ блаженная улыбка младенца, только что накормленнаго материнской грудью.

— Что, милый, преклонилъ Господь?

— Протестъ, братецъ... въ пику Тол... сто... м--м-м-му-у-у...

Въ «Эрмитажѣ» меня остановилъ незнакомый студентъ, необыкновенно сосредоточеннаго и мрачнаго вида.

— Ты кто?

Я назвалъ себя.

— Поди же и скажи отъ меня своему Толстому...

— Да онъ не мой, онъ—общій...

— Не мѣшай! Поди и скажи отъ меня своему Толстому, что Гавриловъ пьянъ И когда фельетонъ будешь писать, такъ и напиши, что Гавриловъ пьянъ. На зло. И всегда на Татьяну пьянъ будетъ

Въ «Эрмитажѣ» была несноснѣйшая духота—какая-то парная, точно въ банѣ, послѣ того, какъ плеснуть шайку воды на каменку. И почти такая же бѣлая мгла стояла въ воздухѣ, какъ стоитъ въ горячихъ баняхъ. Только аромата березоваго вѣника не хватало. Въ «Эрмитажѣ» подвыпившая публика разошлась немножко ужъ и слишкомъ — со всѣмъ не по интеллигентному, а гдѣ-то посрединѣ между *bête humaine* и Кижомъ Китычемъ Брусковымъ. Все летѣло вздрезбегу. У половыхъ и распорядителей лица были горестныя. На одной люстрѣ всѣ висюльки поотшибали, швыряя въ нихъ какъ, въ цѣль, чѣмъ попало: своеобраз-

ный тирь придумали! Одинъ интеллигентъ допился до битья зеркаль и хорошо еще, что болѣе трезвые товарищи успѣли схватить обезумѣвшаго человѣка за руки въ тотъ моментъ, какъ онъ размахнулся, чтобы пустить бутылкой въ тысячное стекло. Его утащили изъ зала и стали уговаривать: уѣзжай домой! Несчастный освирѣпѣлъ и сталъ бросаться на людей. Долго его буйство терпѣли, уговаривали убраться честь-честью, по-добру по здорову, наконецъ безобразія его какъ то всѣмъ сразу надоѣли, толпа рывкнула, рыкнула, бросилась, какъ одинъ человѣкъ, и я глазомъ не успѣлъ мигнуть, какъ горемыку спустили съ лѣстницы... Лицо и руки у него были въ крови.

Поздно ли я попалъ въ «Эрмитажъ», вообще ли такъ случилось, но профессоровъ въ этотъ разъ какъ-то не было замѣтно въ толпѣ. За отсутствіемъ настоящихъ своихъ фаворитовъ, молодежь дѣлала оваціи каждому привать-доценту, заброшенному въ залъ,—быть можетъ, не безъ тайной надежды: авось, и меня заставятъ говорить, и мнѣ дадутъ вкусить сладкаго плода аплодисментовъ, и, кто знаетъ, можетъ быть, мнѣ удастся такъ угодить, что съ этого-то и начнется моя популярность...

Въ прежніе годы любимыми и настоящими ораторами Татьяна дня были М. М. Ковалевскій, А. И. Чупровъ, Ѳ. Н. Плевако, а спеціально медики всегда вытаскивали на трибуну А. А. Остроумова. Чупровъ для Москвы былъ — что Орестъ Миллеръ для Петербурга, такъ же богатъ популярностью и симпатіями. Убѣжденный прогрессистъ-западникъ, онъ необыкновенно типичный представитель той интеллигенціи, о которой пѣлъ Некрасовъ:

Воплощенной укоризною,  
Мыслью кротокъ, духомъ чистъ,  
Ты стоялъ передъ отчизною,  
Либераль-идеалистъ!

Говорилъ онъ всегда тепло, чистосердечно, искренне любя свою публику и отъ души ей доброжелательствуя.

Говорилъ хорошія гуманныя слова и какъ-то сразу чувствовалось, что за хорошими гуманными словами стоятъ и хорошія гуманныя идеи, что это—рѣчь отъ сердца, а не ораторскій «и трескъ, и блескъ, и ничего». Говорилъ, сверкая изъ-подъ очковъ увлажненными глазами, восторженнымъ, прерывающимся отъ волненія голосомъ, и, когда кончалъ рѣчь, толпа съ ревомъ бросалась къ профессору и принималась швырять его къ лѣппому потолку «Эрмитажа»... Ахъ, много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ, при этомъ гимнастическомъ упражненіи, меня, первокурсника, угораздило подвернуться подъ каблукъ Чупрова, низвергавшагося съ высоты двухъ аршинъ надъ уровнемъ Татьянана разгульнаго моря! Чупрова, обремененнаго лаврами и пресыщеннаго оваціями, но въ разорванномъ фракѣ и не безъ нѣкотораго тѣлеснаго увѣчья, уносили, а на смѣну ему приносили изъ «профессорской» Максима Ковалевскаго.

Громадный, толстый, онъ страшно боялся щекотки и, пока его дотаскивали до стола, все время визжалъ, хохоталъ и брыкался. А, взгромоздившись на столъ, принимался острить. Быстро, неудержимо, фонтаномъ шуточныхъ словечекъ, летучихъ характеристикъ-карикатуръ, афоризмовъ—не въ бровь, а прямо въ глазъ. Хохотъ стоялъ гомерическій и, вмѣстѣ съ публикою, хохоталъ самъ ораторъ.

— Только не качать, господа! предупреждалъ онъ: — я боюсь. Уроните—не бѣда. Но какъ вы меня поднимете? А, во-вторыхъ, «Эрмитажъ» оказываетъ намъ такое радушное гостепріимство, что разрушать его моимъ паденіемъ, по меньшей мѣрѣ, неблагоприятно.

Прежде, чѣмъ вознести на трибуну Остроумова, съ нимъ добрую четверть часа возились—честью и насиліемъ убѣждая почтеннаго эскулапа открыть уста. Онъ ругался, упирался, чуть не дрался, цѣплялся за мебель, но его все-таки волокли къ публикѣ—какъ говорить лѣ-

тописецъ, «аки злодѣя пѣхающе» — и ставили на столъ. Одинъ разъ такъ и вынесли со стуломъ за который профессоръ ухватился было, какъ утопающій хватается за соломенку. На столѣ онъ появлялся красный, возбужденный, съ яростью во взорѣ и минуты двѣ отводилъ душу, добросовѣстнѣйше ругаясь со своими черезчуръ рьяными поклонниками за чинимое ему насиліе. Говорилъ онъ въ общемъ грубо, не особенно красиво и складно, безъ претензій на краснорѣчіе, но очень сильно, вѣско, внушительно, точно топоромъ рубя фразы и по части выраженій не стѣсняясь.

Плевако слушали не какъ «своего», а какъ присяжнаго оратора, какъ виртуоза, знаменитость. Когда онъ говорилъ, все стихало, пользуясь случаемъ послушать золотые звуки этого Мазини присяжныхъ повѣренныхъ. Ужасно Плевако изобидѣлъ меня въ 1882 году. Я еще не кончилъ обѣдать, а его принесли и поставили, какъ разъ на нашъ столъ. Стоитъ онъ, вдохновенный, сильный, эффектный; лицо горитъ, глаза въ крови; самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ; глосль гремитъ, точно Ѳедоръ Никифоровичъ, подобно Демосѳену, перекричать море хочетъ; правая рука повелительно, этакимъ заклинательскимъ жестомъ, простерта надъ головами слушателей...

— И смѣло, — говорить, — ступаемъ на путь божественной правды, вѣчно присущей человѣческому духу...

И, дѣйствительно, ступилъ. Только, къ сожалѣнію, путь правды, вѣчно присущей человѣческому духу, оказался проложеннымъ черезъ мою тарелку съ котлетой.

Традиціонная ступень въ празднованіи Татьянина дня нослѣ «Эрмитажа» — «Стрѣльна». Здѣсь уже больше веселятся, поютъ и пляшутъ, чѣмъ ораторствуютъ. Толпа въ давкѣ все опрокидываетъ, ломаетъ столы и стулья. Шумно, оркестръ играетъ «Марсельезу», и невольно ищешь глазами, гдѣ же скачущій штандартъ?.. Его только не хватаетъ!

«Марсельеза» смѣняется «Gaudeamus», «Gaudeamus» — «Марсельезой».

Какой-то медикъ бросается мнѣ на шею:

— Ты Хохловъ?

— Нѣтъ.

— Врешь: Хохловъ!

— Да нѣтъ же...

— Душечка! Будь Хохловымъ! Ну, для меня! Ну, что тебѣ стоять?!

— Да ужь, если тебѣ такъ хочется, изволь, только отвяжись, сдѣлай милость...

Медикъ удаляется, вполне довольный, вопія, что есть мочи:

— И будешь ты царицей *mi-i-i-irra*...

Внизу — пляска. Послѣ лихой камаринской — лихая лезгинка. Красавецъ-грузинъ въ сѣрой папахѣ соколомъ посится по песку. Кругомъ — носы армянскіе, носы грузинскіе, носы черкесскіе и глаза черносливами. У всѣхъ носовъ раздуваются ноздри, во всѣхъ глазахъ бѣшенныя искорки...

Въ «Эрмитажѣ» говорили, будто по случаю Татьянина дня полковникъ Власовскій далъ приказъ по полиціи: хмѣльныхъ студентовъ и прочую чистую публику не задерживать, а ужь если необходимо задержать, то брать не иначе, какъ предварительно поздравивъ съ праздникомъ... Надо сознаться, — приказъ не безъ юмора!

«Тихо туманное утро въ столицѣ»... Татьяна, прощаясь съ Москвою до будущаго года ласково укладываетъ своихъ обожателей нагулявшихъ въ городъ и за городомъ И — оставимъ моралистамъ читать выговоры — ей за попустительство, а имъ за невоздержность и шалости! «Счастливы, кто съ молоду былъ молодъ!» сказалъ Пушкинъ. Да, наконецъ, «не согрѣшишь — не покаешься», а, право, тѣ, кто умѣетъ грѣшить и каяться, куда занятнѣе и живѣе высокой, какъ Монбланъ, и такой же, какъ онъ, холодной и безстрастной непогрѣшимости!

1894.



## II.

Университетъ... это огромное и мощное слово наполняет сегодня Москву. Огромное и мощное слово, которое становится все болѣе вѣскимъ и властнымъ, чѣмъ дальше уходишь въ жизнь, чѣмъ выше поднимаешься по лѣстницѣ годовъ.

Огромныя горы возбуждаютъ больше восторга въ тѣхъ, кто къ нимъ приближается или удаляется отъ нихъ, чѣмъ въ тѣхъ, кто проникаетъ въ самую ихъ массу. Чтобы глазъ могъ оцѣнить ихъ красоту, чтобы духъ могъ воспріять ихъ поэзію, нужна декорация пространства. А огромнымъ идеямъ и симпатіямъ чтобы высказалась вся сила ихъ связи съ нами, нужна декорация времени, отдѣляющаго насъ отъ нихъ. Ихъ власть познаешь всецѣло только—пока къ нимъ стремишься или когда о нихъ, невозвратныхъ, тоскуешь.

Двѣнадцатое января — сигналъ къ такой благородной тоскѣ. Окидываешь умственнымъ взоромъ бѣгъ годовъ отъ блестящей точки «университетскаго періода»... и грустно по ней дѣлается: что надеждъ-то разрушено! что намѣреній-то уплыло! что взглядовъ-то измѣнилось! А она — эта блестящая точка — неизмѣнно сіяетъ твердою, неподвижною звѣздою и такъ манитъ къ себѣ своимъ, научающимъ добру и правдѣ свѣтомъ, что, кажется, радъ отдать всѣ выгоды, все довольство удобно сложившейся жизни, только бы помолодѣть и снова пережить золотой періодъ... И, разумѣется, думаешь, что во второй разъ пережилъ бы его куда умнѣе, чѣмъ переживалъ вѣ первый. Тогда, молъ, былъ молокососъ, не цѣнилъ... а теперь—цѣнилъ бы.

«Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало, не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошшила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣчать такихъ людей, преж-

них товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ чело-  
вѣкъ, а стоитъ только напомнить ему университетъ, и всѣ  
остатки благородства въ немъ зашевелиятся, точно ты въ  
грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стеклянку  
съ духами».

Это Лежневъ въ «Рудинѣ» вспоминаетъ... Минувшимъ  
лѣтомъ, въ Софіи, встрѣтилъ я болгарина, воспитанника  
московскаго университета. О немъ доходили ужасные слухи:  
это былъ и шантажистъ, и перевертень политическій, кон-  
дотьерь пера, продавшій свое слово по сходной цѣнѣ лю-  
бой партіи... Я засталъ его въ періодѣ стамбулизма и рус-  
софобства. И вотъ такой-то человѣкъ пришелъ ко мнѣ,  
рискуя нарваться на самый нелюбезный приемъ, только  
потому, что кто-то сказалъ ему, что я тоже студентъ Мо-  
сковскаго университета, и его потянуло поговорить, такъ ли  
все стоитъ на Моховой, какъ въ его время стояло.

И я видѣлъ, какъ павшій, оскотѣвшій человѣкъ, всѣ  
силы души своей уложившій въ деньги и политическую  
интригу, просвѣтлѣлъ. Мы вспоминали съ одинаково крот-  
кимъ и радостнымъ чувствомъ тройки, которая ставилъ  
безопасный Боголѣповъ за путаницу въ сервитутахъ и  
пятерки, которая ставилъ всеизвиняющій Мрочекъ-Дроз-  
довскій, едва прислушиваясь къ отвѣту студента, а этотъ  
то между тѣмъ отчетливо докладываетъ, что Уложеніе царя  
Алексѣя Михайловича появилось на свѣтъ при Димитріи  
Донскомъ. Мы припоминали, какъ умный и краснорѣчивый  
богословъ Сергіевскій совѣтовалъ намъ «ставить локомо-  
тивъ вѣры на рельсы разума» и увѣрялъ, будто «руково-  
дятся однимъ знаніемъ значить пытаться освѣтить міръ  
стеариновою свѣчою». Хохотали, припоминая свирѣпость  
Янжула на экзаменахъ въ предъобѣденные часы и—срав-  
нительную благосклонность этого истребителя юридиче-  
скихъ младенцевъ въ часы послѣобѣденные:

Въ ту пору левъ былъ сытъ, хоть сроду онъ свирѣпъ...

Припоминали кротчайшаго и умиленно восторженнаго Чупрова—любимца всего факультета. Онъ первый изъ профессоровъ привѣтствовалъ насъ, юношей, со званіемъ студента и первый разъяснилъ намъ живымъ блестящимъ словомъ высокое значеніе студенческаго періода въ жизни человѣка. Припоминали эффектное и глубоко мѣткое остроуміе В. О. Ключевского, его рѣдкостныя характеристики историческихъ лицъ давно, давно прошедшихъ эпохъ...

— ... И былъ онъ,—распѣвчатымъ и на о говоромъ рассказываетъ съ кафедры любимый профессоръ,—и былъ онъ, первый императоръ Петръ, характеромъ холоденъ, но бѣшенъ и вспыльчивъ: точь въ точь чугунная пушка съ его любимыхъ олонецкихъ заводовъ...

— Елисавета Петровна была государыня добрая, но... женщина. Она никого не казнила смертною казнью, но наполнила Сибирь ссыльными, коимъ рѣзали языки и «били батоги нещадно». Возставала противъ развратныхъ и роскошныхъ нравовъ, но оставила по себѣ гардеробъ въ 20,000 платьевъ

Строгаго, коректнаго, всегда красиваго и изящнаго Муромцева уважали, но не слишкомъ любили: ужъ очень онъ былъ какой-то застегнутый; такъ что даже его либеральная репутація какъ-то не вязалась съ его чиновнически-отчетливой внѣшностью. Онъ читалъ римское право и казался живымъ воплощеніемъ строгой стройности своего предмета. Мнѣ Муромцевъ напоминалъ почему-то князя Андрея Волконскаго въ «Войнѣ и Мирѣ». Когда, послѣ своей громкой исторіи, онъ долженъ былъ оставить университетъ, что и выполнилъ съ большимъ достоинствомъ, сопровождаемый всеобщими и вполнѣ справедливыми сожалѣніями, изъ него выпелъ солиднѣйшій присяжный повѣренный на гражданскія дѣла...

Любили—и если не носили на рукахъ, то лишь потому, что поднять его было невозможно—любили Максима Ковалевского. Необычайно жива въ моей памяти огромная,

тучная фигура съ красивымъ лицомъ умницы и вивера, его рѣчь—спѣшная, немного лающая, немного захлебывающаяся, смѣшная и любезная, цѣлый фейерверкъ именъ, цитатъ, остроумъ, хохота, ѣдкихъ замѣчаній à propos, а часто и прямыхъ плевковъ въ партію политическаго мракобѣсія, забираваго въ ту пору большую силу подъ послѣднимъ нажимомъ катковской педали. Я не знаю примѣра памяти, болѣе обширной, чѣмъ память Ковалевскаго. Онъ, шутя, читалъ наизусть страницы англійскаго, итальянскаго, испанскаго, шведскаго текста: онъ владѣлъ всѣми безъ исключенія европейскими языками съ тою же свободою и легкостью, какъ русскимъ. Огромная начитанность, стремленіе передать слушателямъ какъ можно больше, даже шли въ ущербъ систематическому значенію его лекцій: курсъ его былъ труденъ. Когда Ковалевскій готовился къ своимъ лекціямъ, прямо непостижимо: это былъ челоуѣкъ общества въ полномъ смыслѣ слова; онъ жилъ широко и открыто, бывалъ ежедневно въ театрахъ, концертахъ, его можно было встрѣтить всюду. А между тѣмъ, не считая лекцій, врядъ ли кто въ молодой русской юридической наукѣ написалъ столько огромныхъ по объему и разностороннихъ по содержанию работъ, какъ незабвенный Максимъ Максимовичъ... нынѣ «чужихъ небесъ любовникъ безпокойный».

Такъ вспоминали мы, и стеклянка съ духами откупорилась, и темная личность просіяла. Уходя отъ меня, мой собесѣдникъ сказалъ:

— Не за что меня любить русскимъ, да и я ихъ не люблю. А все-таки, когда 12 января будете пить за alma mater, помяните меня... Это — моя послѣдняя привязанность!

И, значить, крѣпкая же привязанность, если пробила она даже толстую кору національной вражды и политическаго авантюризма... Да будетъ же въ этотъ день миръ и гѣмъ, грѣшная душа, блудный сынъ, безсильный уже возвращаться въ домъ отчій!

Акта нѣтъ по случаю траура. Потеря небольшая, сказать правду. Университетскій актъ былъ праздникомъ огромнаго общественнаго значенія, пока его не втиснули въ рамки скучнѣйшей казенщины: казенный отчетъ, казенная рѣчь, казенные 300—400, «по выбору», студентовъ. Въ послѣдніе годы актъ проходилъ совершенно безслѣдно; студенчество стало холодно къ нему, какъ къ формальности, смыслъ которой—свободное и живое общеніе учащихся и учащихся, профессоровъ и студентовъ — слѣбался анахронизмомъ. Все вырождается на свѣтъ. Выродились и теплыя отношенія между московскимъ студенчествомъ и его профессорами, въ которыхъ еще недавно студентъ видѣлъ членовъ одной съ нимъ семьи, старшихъ и, слѣдовательно, болѣе опытныхъ и развитыхъ братьевъ по наукѣ. Да иначе и быть не можетъ, ибо изъ бывшихъ любимцевъ

Иные погибли въ бою;  
Другіе жъ всему измѣнили  
И продали шагу свою...

На прошлогодней Татьянѣ я былъ пораженъ насмѣшливой апатіей, съ какою пирующие студенты встрѣчали и провожали профессоровъ. Видимое дѣло:

Порвалась цѣпь великая,  
Порвалась, раскачалась...

Нынче многіе профессора не хотятъ и показываться въ Эрмитажъ, не ожидая встрѣтить прежнее сочувствіе.

Будемъ же надѣяться, что не на вѣки цѣпь порвалась, что найдутся съ той и другой стороны кузнецы сковать ее заново и крѣпче прежняго... Будемъ надѣяться и пьемъ за это!.. И не надо больше воспоминаній и разсужденій!

Gaudeamus igitur  
Juvenes dum sumus!..

1896.



**Напрасныя смерти.**



Въ Петербургѣ разыгралась трагикомедія, столь пош-  
лая по существу, что даже кровь, пролитая въ печальномъ  
финалѣ ея однимъ изъ героевъ, оказалась безсильною скра-  
сить ея внутреннее ничтожество и увѣнчать ее ореоломъ  
рыцарства: такъ все въ ней искусственно, фальшиво, апплике.  
Я говорю о дуэли Максимова и Витгенштейна. Офицеръ  
отставной и офицеръ дѣйствительной службы поссорились  
въ вагонѣ изъ-за какого то погибшаго, но милаго созданія.  
Драма! Офицеръ дѣйствительной службы полѣзъ на стѣну: же-  
лаю стрѣляться! Офицеръ отставной, десятки разъ доказавшій  
свою личную храбрость на поляхъ сраженій, сдѣлалъ все  
отъ него зависящее, чтобы кончить безсмысленную ссору  
миромъ. Нѣтъ! Витгенштейнъ получилъ надлежащее разрѣ-  
шеніе на дуэль и, во что бы то ни стало, пожелалъ про-  
явить свою удачу на барьерѣ. Максиму осталось одно:  
принять вызовъ. Буффонада, начатая шансонеткою, мѣ-  
няетъ тонъ, въ ней звучать уже грозныя трагическія ноты.  
Дерутся не для формы, дерутся серьезно. Пуля Витген-  
штейна провизжала у самага уха Максимова. Пуля Макси-  
мова уложила Витгенштейна въ могилу. Всѣ жалѣли без-  
временно погибшаго молодого человѣка, но никто не могъ  
негодовать на убійцу. Максимовъ былъ къ бою вынужденъ,  
бой былъ честный, — изъ всѣхъ, виноватыхъ въ смерти  
Витгенштейна, больше всѣхъ виноваты самъ Витгенштейнъ  
и... законъ 1894 года, внесшій разрѣшеніемъ офицерской  
дуэли самую безнадежную путаницу и въ этической, и въ  
уголовно-судебный укладъ нашего, и безъ того не сли-  
шкомъ-то понятливаго насчетъ своихъ правъ и обязан-  
ностей, общества.



Затѣмъ нашумѣло на всю Россію пресловутое клыковское дѣло. Офицеръ застрѣлилъ въ Зоологическомъ саду пьянаго статскаго, который, ни съ того, ни съ сего, сдѣлалъ ему глупый скандалъ. Статскаго похоронили, офицера судили и слегка наказали. Убитый Малиновскій велъ себя столь нелѣпо, что, — несмотря на жалость къ опять-таки безвременно и напрасно погибшей человѣческой жизни, — общественное мнѣніе оказалось скорѣе на сторонѣ убійцы, чѣмъ жертвы. Однако, дѣло это заставило многихъ призадуматься надъ тѣми противоположеніями чести воинской и чести общегражданской, которыя, далеко не къ выгодѣ и къ пользѣ послѣдней, выяснились клыковскимъ процессомъ. Печать высказала нѣсколько проектовъ — удачныхъ и неудачныхъ, — какими средствами возможно предотвратить нежелательныя дальнѣйшія столкновенія между военными и статскими. Охранительная печать даже не закричала, — взревѣла, что всѣ подобныя проекты оскорбительны для арміи, что интеллигенція ненавидитъ военныхъ, что надо судить и карать толпу, набросившуюся на убійцу-офицера въ защиту убитаго статскаго, и т. п. Словомъ, принялась за обычные свои подвиги — за проповѣдь сословнаго раздора; за враждебное раздѣленіе общества на классы привилегированныя, которымъ все можно, и классы опасныя, которымъ можно только сидѣть въ кутузкѣ; за доносы, подмигиванія, покивыванія, а затѣмъ — въ переловой статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей» и за откровенное «слово и дѣло». Устами нѣкоего г. Хозарскаго московская газета заявила, что, когда Клыковъ убилъ Малиновскаго, въ Зоологическомъ саду разыгрались сцены, похожія на эпизоды изъ исторіи Пугачевского бунта или изъ бунта военныхъ поселянъ. Это страшно. Дальше идетъ еще страшнѣе: «самосудъ толпы надъ офицеромъ», «роняйте побольше престижъ военнаго мундира!» и тому подобныя ужасы и язвительныя запугиванія ужасами. А виноватую во всемъ Паулипою оказалась газета «Россія», высказавшая

статьями моею и В. М. Дорошевича мнѣніе, что офицерамъ слѣдовало бы воздерживаться отъ посѣщенія такихъ мѣстъ, какъ Зоологическій садъ, гдѣ парваться на скандалъ—перспектива фатальная, ибо бродить тамъ среди публики великое множество субъектовъ, которымъ не то что заботиться о «чести мундира» встрѣчныхъ офицеровъ, а ни «папы», ни «мамы» уже не выговорить. Практическая дѣльность предложенія врядъ ли можетъ быть оспариваема. Не будетъ въ пьяныхъ мѣстахъ мундира, — не будетъ возможности и къ случайнымъ оскорбленіямъ чести мундира. Логика простая и ясная. Но есть, кромѣ логики здраваго смысла, еще «хозарская» логика, ей обратная. Она возмущается разсужденіями по здравому смыслу, она вопіетъ: «Слушая эти рѣчи съ большой публичной трибуны, начинаешь понимать и эту толпу, которая учиняетъ сама судъ надъ офицеромъ. *Tel maitre, tel écolier...*» Такимъ образомъ, нечаянно-негаданно, мы произведены корреспондентомъ «Московскихъ Вѣдомостей» въ «эмисары Пугачева». Обвиненіе грозно. Нечего дѣлать, пересмотримъ еще разъ тѣ предложенія, за которыя мы удостоились производства въ подстрекатели къ бунтамъ Пугачева и военныхъ поселянъ. Мѣры противъ появленія мундира въ мѣстахъ не подобающихъ совсѣмъ не новость ни для Петербурга, ни для Россіи, ни для Европы. Одно время петербургскіе офицеры были лишены разрѣшенія посѣщать кафешантанъ «Альказаръ» — именно по тѣмъ мотивамъ, которые были изложены, изъ-за легкости нарваться на скандалъ. Ничего обиднаго никто изъ офицеровъ въ запрещеніи этомъ для себя тогда не усматривалъ, да и—не знаю, снято оно теперь или продолжаетъ быть въ силѣ—усматривать не въ правѣ. Обереганіе «чести мундира» состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы рубить шашкою или убивать револьверною пулею пьяницъ, дерзающихъ, по невмѣняемости своей, говорить офицерамъ ругательныя слова. Оно состоитъ прежде всего въ корпоративной обязанности не ставить мундиръ въ неминуемую

опасность безмысленнаго оскорбленія; въ памятованіи, что ты, офицеръ, не отдѣльная единица, случайная и вольная, но часть стройнаго цѣлага, которое опекаетъ твою репутацію своимъ мундиромъ, а ты опекаешь его репутацію осторожностью своихъ отношеній къ представителямъ остальныхъ общественныхъ классовъ. Въ дѣйствительно щепетильныхъ касательно «чести мундира» полкахъ не однократно случалось, что товарищи вѣжливо просили оставить ихъ средѹ офицеровъ, черезчуръ страстно и широко играющихъ въ карты. И не потому, чтобы подозрѣвали ихъ въ нечестной игрѣ, — нѣтъ. А просто потому, что страсть азартной игры то и дѣло ставить одержимаго ею лицомъ къ лицу съ людьми и обстоятельствами, не подходящими для офицера, который бережетъ свою корпоративную честь; потому, что онъ ежедневно можетъ быть поставленъ въ самое неловкое и оскорбительное положеніе не только обиднымъ жестомъ или словомъ, но даже подозрительнымъ взглядомъ или насмѣшливою интонаціей какого-нибудь разозленнаго игрока, худо владѣющаго собою, грубо готоваго сорвать досаду проигрыша на первомъ встрѣчномъ. Оскорбятъ-то Ивана Ивановича Иванова, а отвѣчать-то приходится *поручику* Иванову. И — по безумнымъ и безбожнымъ традиціямъ военной чести — отвѣчать непременно преступленіемъ, либо незаконнымъ, какъ Клыковъ, либо дозволеннымъ по закону, какъ Максимовъ, убившій Витгенштейна. Г. Хозарскій совершенно правъ, называя нашихъ офицеровъ «самыми скромными и порядочными». И вотъ именно скромность-то и порядочность русскихъ офицерскихъ обществъ и служить имъ драгоцѣнною страховкою противъ того отвратительнаго бреттерства, тѣхъ гнусныхъ войнъ въ мирное время, какія неминуемо развиваются тамъ, гдѣ офицеръ обязанъ мстить за оскорбленіе чести полка, но не обязанъ самъ предварительно оберегать ее отъ возможности оскорбленія. Офицеры «не бываютъ» во многихъ клубахъ, кафешантанахъ, танцклассахъ, игорныхъ домахъ. Не по-

тому, что они лишены правъ тамъ бывать, а потому, что офицеру — неприлично тамъ бывать, потому что, бывая тамъ, онъ унижаетъ свою корпорацію. Такимъ образомъ, принципиально-то предложеніе В. М. Дорошевича давнымъ давно уже проведено въ жизнь, а онъ проектировалъ лишь практическое его расширеніе. И ужъ если кому обижаться на Дорошевича въ данномъ случаѣ, такъ отнюдь не офицерамъ, а развѣ содержателю Зоологическаго сада, который Дорошевичъ обстоятельно и краснорѣчиво призналъ для офицеровъ неприличнымъ. Кстати, еще примѣръ сословныхъ ограниченій, вынужденныхъ корпоративными приличіями: закрыли же для офицеровъ третій классъ желѣзныхъ дорогъ, потому что неудобнымъ показалось ихъ общеніе съ третьеклассною пассажирскою публикою. И теперь офицеръ за третій классъ платитъ, а ѣхать долженъ во второмъ. Отклониться отъ публики Зоологическаго сада — право, не болѣе жестокое для гг. офицеровъ лишеніе, чѣмъ потеря мѣстъ въ третьеклассныхъ купилкахъ.

Это говорено съ точки зрѣнія сословной и корпоративной. Теперь станемъ на точку зрѣнія общественную, что у насъ въ Россіи покуда, слава Богу, значитъ еще: общечеловѣческую.

Хозарская логика, вопія о Пугачевыхъ и военныхъ поселенцахъ, толкуетъ и усиленно подчеркиваетъ, будто былъ какой-то «самосудъ толпы надъ офицеромъ», что надо сыскать и наказать толпу, «которая въ публичномъ мѣстѣ избиваетъ палками офицера за его частные счеты въ личномъ столкновеніи». Эти «частные счеты», результатомъ которыхъ оказался трупъ, это «личное столкновеніе», съ выстрѣлами изъ револьвера среди тысячной толпы, прямо великолѣпны. По хозарской логикѣ, выходитъ такъ, что, когда на вашихъ глазахъ одинъ человѣкъ убиваетъ другого, то вы не въ правѣ броситься на помощь жертвѣ, — особенно, если нападающій — со свѣтлыми пуговицами: это — ихъ частные счеты, а не смертельный бой, это лич-

ное столкновение, а не убійство. Но это лишь къ слову, мимоходомъ сказано; не въ хозарской логикѣ суть, пусть разсуждаетъ, какъ хочетъ,—ея дѣло. А въ томъ суть, что, бросившись на Клыкова, толпа, конечно, и не думала бить «офицера». Она рефлектировала не на мундиръ, а на фактъ убійства. Будь на мѣстѣ Клыкова офицера Клыковъ студентъ, Клыковъ-купецъ, Клыковъ присяжный повѣренный, Клыковъ-врачъ, было бы то же самое. Да, пожалуй, еще хуже, потому что, когда толпа бросилась на офицера, то именно боязнь «мундира», о гибели которой въ умахъ толпы горюетъ г. Хозарскій, должна была удержать хоть нѣсколькихъ, успѣвшихъ дать себѣ отчетъ въ происшествіи, умѣвшихъ не заразиться паникою и мстительною на нее реакцію. Не-офицеръ же вышелъ бы живой изъ этой толпы,—хотя бы уже потому, что онъ не нашель бы корпоративныхъ защитниковъ, какъ посчастливилось найти Клыкову. Били не «офицера»,—съ чего «офицера» бить? У насъ на Руси ни въ интеллигенціи, ни въ народѣ нѣтъ антипатіи къ военнымъ, какъ нѣтъ ея нигдѣ въ государствахъ съ всеобщимъ отбываніемъ воинской повинности. Антипатія и ненависть къ военному сословію порождаются только тамъ, гдѣ изъ него стараются сдѣлать исключительную и привилегированную касту, надменное преторіанство, служащее не столько для защиты страны извнѣ, сколько для подавленія ея внутри. У насъ на Руси, слава Богу, такой «воещины» давно не существуетъ. Аракчеевы и присные ихъ давнымъ-давно истлѣли въ гробахъ, «Бурцевы ёры-забіяки» тоже, а милютинская реформа и законы императора Александра II, какъ свѣтлая угада, вѣщаютъ, что въ этомъ отношеніи въ Россіи «потопа больше не будетъ». Били въ Зоологическомъ саду не офицера, но убійцу. И не было тамъ никакой пугачевщины, никакихъ военныхъ поселеній. А былъ смертельный перепугъ массы безпечныхъ и подвыпившихъ людей, среди которыхъ вдругъ начали стрѣлять изъ револьвера, и была инстинк-

тивная ярость тѣхъ же людей — ближайшая, мстительная эмоція потрясенной испугомъ души. Я увѣренъ, что изъ сотни людей, бросившихся на Клыкова, едва ли одинъ понималъ, что бѣжить его бить, а многіе и теперь еще не знаютъ, что они его били. Толпа—дѣло стихійное, истерическое. За истерику судить нельзя. Она въ людяхъ не людьми создана, природа ею человечество наказуетъ. Такъ вотъ: не самосудъ тутъ былъ, а просто то мгновенное озвѣрѣніе, то массовое помѣшательство, которое охватываетъ людей первобытныхъ и возбужденныхъ, когда они видятъ предъ собою смерть, причиняемую однимъ человѣкомъ другому. Наша русская толпа — очень смиренная, и о пей никакъ уже нельзя сказать, чтобы она любила вмѣшиваться не въ свое дѣло. Но она жизнелюбива, впечатлительна, жалостлива и хорошо помнитъ заповѣдь «не убій». Ругайся, дерись, сколько хочешь, — это твое дѣло. Ну, а за револьверъ не хватайся, шашки не обнажай, кинжаломъ не пырай: это—не дѣло, это не по-русски, этого ни славянская гуманность наша, ни здравый смыслъ не позволяютъ, и необычайность такихъ «гишпанскихъ» выходокъ всегда поражаетъ русскую толпу, какъ громомъ, и превращаетъ ее въ испуганно-озлобленное, неспособное къ самоотчету, стадо. Въ толпѣ нашей очень много *честныхъ* людей, но почти нѣту пресловутыхъ «людей чести», отъ которыхъ одинъ шагъ до бреттеровъ и бреттерскихъ разсужденій, что публичное убійство представляетъ собою «частные счеты въ личномъ столкновеніи». Этакіе взгляды и въ западной-то, пять вѣковъ шкоденной аристократами, толпѣ плохо держатся, а нашу толпу, искони демократку, пришлось бы для нихъ сплошь перевоспитывать. Виновата ли толпа, избившая Клыкова? Да, виновата. Но не въ сознательномъ самосудѣ, который навязываютъ ей «Московскія Вѣдом.», а просто — въ чрезмѣрной нервности, которая истерически выросла въ неразсуждающую свирѣпость. Виновна, но заслуживаетъ снисхожденія — и огромнаго, почти уни-

чтожающего вину, а мотивъ къ снисхожденію—въ томъ, что она не любитъ, чтобы стрѣляли изъ револьверовъ въ живыхъ и безоружныхъ людей. Ибо она боится пуля, —во-первыхъ. А во-вторыхъ, изъ всѣхъ преступленій уголовныхъ сознательное лишеніе жизни человѣка—для нея самое богопротивное и омерзительное. А—кто въ немъ повиненъ, — ей безразлично: она считается не съ сословнымъ представителемъ, но съ убійцею. Знаете старую поговорку: «коли ты іерей, — іерействуй, коли дьяконъ, — дьяконствуй». Ну, такъ вотъ и—коли ты офицеръ,—офицерствуй: пали изъ револьверовъ на войнѣ и на ученьяхъ примѣрной стрѣльбы, а, идя въ Зоологическій садъ, оставь оружіе дома въ кобурѣ. Ибо туда не для офицерства ты идешь, но какъ зритель, выпиватель, ухаживатель, — словомъ, на обще-обывательскихъ правахъ, совсѣмъ не обязанныхъ считаться съ твоими спеціально-офицерскими понятіями. Ибо не обывательство существуетъ для офицеровъ, но офицеры для обывательства.

Отлично понимаютъ это офицеры въ западной Европѣ. И помогаетъ имъ въ пониманіи очень простое средство: разрѣшеніе носить внѣ служебныхъ обязанностей штатское платье. Я знаю очень многихъ итальянскихъ офицеровъ. Большинство изъ нихъ—совсѣмъ не монахи: живутъ развеселою жизнью, играютъ, пьютъ, посѣщаютъ женщинъ, но всѣ они остерегаются попасть въ сомнительное общество или сомнительную обстановку въ униформахъ своихъ полковъ. А если ужъ случится такая неизбежность, то они—несчастные люди: такъ и видишь, что дрожить человѣкъ за себя, душа у него не на мѣстѣ, чувствуетъ себя онъ подъ дамокловымъ мечомъ отвѣтственности за каждое слово, за каждый поступокъ, за каждую случайность. И, выйди съ нимъ какой либо скандалъ,—результаты будутъ, конечно, еще хуже кльковскихъ: мундирныя корпораціи тамъ не шутятъ. А человѣкъ въ сюртукѣ—самъ толпа. И офицеръ въ мундирѣ на Западѣ — членъ корпораціи, а

офицеръ въ сюртукѣ—уже полувоенный, членъ общества. Съ офицера въ мундирѣ — одинъ спросъ, съ офицера въ сюртукѣ—другой. Случись клыковскій скандалъ, напр., въ Рязѣ, то, помимо военно-уголовныхъ взысканій по преступленію, Клыкову было бы поставлено въ вину и то обстоятельство, что онъ понесъ форму своего полка въ неудобное для нея, увеселительное заведеніе. У насъ, къ сожалѣнію. ношеніе формы для военныхъ обязательно всегда. Ну, такъ надо либо ослабить это суровое правило, либо принять мѣры къ тому, чтобы «мундиры» съ ихъ спеціальною корпоративною «честью» не появлялись въ значныхъ мѣстахъ, достоинству корпораціи мало отвѣчающихъ.

Злополучная Витгенштейнова дуэль выяснила, мимоходомъ, чрезвычайно опасный пробѣлъ въ законѣ о дуэли 1894 года. Оказывается, онъ не для всѣхъ писанъ. И не только не для всѣхъ вообще, т. е. равно военныхъ и статскихъ, но не для всѣхъ и военныхъ, а только для военныхъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ. Оказывается, что Витгенштейнъ, по закону этому, имѣлъ полное право и даже, если хотите, обязанность вызвать Максимова на дуэль, но Максимовъ — отставной военный — не имѣлъ права дуэли принять и долженъ отвѣчать за то по закону. Оказывается, что еслибы Витгенштейнъ убилъ Максимова, то, по точному смыслу и буквѣ «правилъ о поединкахъ между офицерскими чинами», онъ не подлежалъ бы никакой отвѣтственности. такъ какъ «дуэли вовсе не наказуются. несмотря на исходъ ихъ, когда онѣ происходили по приговору суда общества офицеровъ или были признаны имъ за единственное средство для возстановленія чести». Витгенштейнъ получилъ офицерское разрѣшеніе на дуэль, — потому она и состоялась. Случилось, однако, что въ «дуэли, вовсе пенаказуемой, несмотря на исходъ ея», не Витгенштейнъ убилъ Максимова, но Максимовъ Витгенштейна, не офицеръ дѣйствительной службы отставного, но отставной — офицера дѣйствительной службы. И что же? «Непа-



казуемости». общанной правилами, — какъ не бывало: Максимовъ былъ привлеченъ къ уголовной отвѣтственности по общимъ законамъ и имѣлъ въ перспективѣ заключеніе въ крѣпости отъ 2 до 4 лѣтъ!

Не только трудно, — немислимо создать болѣе двусмысленное и отчужденное отъ общества положеніе, чѣмъ то достигается для офицеровъ правилами о поединкахъ, въ такомъ странномъ и исключительномъ ихъ толкованіи. Разъ дуэль ненаказуема для офицеровъ и наказуема весьма тяжело для всѣхъ остальныхъ членовъ общества, она тѣмъ самымъ уже перестаетъ быть средствомъ защиты чести, а дѣлается просто орудіемъ защиты людей въ мундирахъ противъ обидъ имъ со стороны людей безъ мундировъ. Думаю, что въ такой защитѣ люди мундира не нуждаются, — и было бы болѣе, чѣмъ печально, если бы нуждались. А между тѣмъ — это такъ: редакція правилъ несомнѣнно «защищаетъ» ихъ — защищаетъ неловко и даже нѣсколько обидно. Ибо въ то самое время, какъ защитникъ своей чести въ мундирѣ приглашается смыть свое оскорбленіе лишь смертною опасностью подъ пистолетомъ или шпагою, такой же защитникъ своей чести безъ мундира обязанъ, помимо той же самой смертной опасности, претерпѣть уголовное наказаніе. За что? Выходить: лишь за то, что на немъ нѣтъ военнаго мундира. Потому что остальные условія какъ оскорбленія, такъ и отвѣта на оскорбленіе рѣшительно тождественны.

Итакъ, получается такое *qui pro quo*: небольшая группа гражданъ Россійской имперіи имѣетъ право безнаказанно защищать свою честь съ оружіемъ въ рукахъ, потому что носить военный мундиръ; остальные граждане имперіи, мундира военнаго не носящіе, такового права лишены и, въ случаѣ злоупотребленія опымъ, должны сидѣть въ крѣпости отъ 2 до 4 лѣтъ. Всякое лишеніе правъ предполагаетъ, совмѣстно, и погашеніе извѣстныхъ гражданскихъ обязанностей. Разъ государство вмѣняетъ мнѣ дуэль въ

уголовный проступокъ, достойный кары, — не ясенъ ли выводъ, что, во исполненіе запрета со стороны государства, я не только не могу вызвать кого-либо на дуэль, но и обязанъ уклониться отъ дуэли, будучи вызванъ? Вовсе нѣтъ. Правила гласятъ: «Лицо, отказавшее вызывающему его на дуэль, несмотря на то, что вызывающій принадлежитъ къ способнымъ дать удовлетвореніе, есть нарушитель обязанности честнаго человѣка и исключается навсегда изъ общества, въ которомъ вращаются офицеры и джентльмены». Слѣдовательно, лишенный правъ дуэли, вы отнюдь не избавлены отъ ея обязанностей, и уклоненіе отъ нихъ государство караетъ, лишая васъ званія честнаго человѣка, изгоняя изъ круга порядочныхъ людей. А исполненіе дуэльныхъ обязанностей, какъ мы видѣли, влечетъ къ тому результату, что то же самое государство, руководясь логикою уголовного закона, сажаетъ васъ въ тюрьму.

Правилами о поединкахъ дуэль признается «обязанностью честнаго человѣка». Но исполненіе обязанности — уголовное преступленіе. Одно изъ двухъ: или несправедливо полагать честнымъ то, что преступно; или несправедливо карать за честный поступокъ, какъ за преступленіе. То есть, — или несправедливо считать честнымъ и обязательнымъ убійство однимъ человѣкомъ другого, въ присутствіи нѣсколькихъ свидѣтелей и по предварительному уговору; или, — разъ такое убійство, облеченное мишурнымъ псевдонимомъ «дѣла чести», предполагается законнымъ и обязательнымъ, то какъ же можетъ быть оно вмѣнено кому-либо въ вину, подлежать уголовному суду и карѣ? Государству не вмѣстно играть въ законахъ своихъ словами, а законамъ не вмѣстно ни объявлять преступленийъ честными дѣяніями, ни преслѣдовать честныя дѣянія, —буде они таковы, — какъ преступленія.

Судя, однако, по тому, что право на непаказуемую дуэль законъ призналъ привилегіей исключительнаго и тѣсно ограниченнаго круга лицъ военной корпораціи, надо

думать, что государство наше не отказалось, слава Богу, отъ принципіального взгляда на дуэль, какъ на дѣло преступное и плачевное. Дано не правило, а послабленіе изъ правила, привилегія. Но тогда,—все чрезъ тотъ же законодательный парадоксъ,—куда какъ нерадостнымъ и щекотливымъ становится положеніе сословія, удостоеннаго чести получить привилегію столь сомнительнаго характера. Собственно говоря, эта привилегія — противоестественно раздѣляя общество на двѣ группы: на людей, имѣющихъ право быть преступными, и на людей, караемыхъ за однородное преступленіе, — лишаетъ военныхъ всякой нравственной возможности добросовѣстно защищать честь своего мундира и грудью стоять за него. въ случаяхъ, когда обидчикъ—не мундирный человѣкъ. Вообразите себѣ, что тотъ же самый Максимовъ, — лучше зная законъ до дуэли, чѣмъ теперь пришлось ему изучить послѣ дуэли, — отвѣчалъ бы Витгенштейну на вызовъ:

— Извольте, князь, — будемъ драться изъ-за шального разговора и случайной француженки. Мнѣ очень не хочется драться, но вы требуете, я по закону долженъ исполнить «обязанность честнаго человѣка», — я дерусь. Принимаю ваши условія оружія, разстоянія и пр. Но одно условіе поставлю съ своей стороны и вамъ. А именно: потрудитесь сперва выйти въ отставку и снять мундиръ.

— Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что честный бой возможенъ только при равныхъ условіяхъ. Секунданты наблюдаютъ, чтобы пистолеты одинаково заряжались, чтобы шпаги были одинаковой длины, чтобы между противниками не было ни шага въ пользу одного, съ перевѣсомъ противъ другого. Они обязаны принимать въ соображеніе и нравственныя условія дуэли. По закону, я, безмундирный, буду стоять подъ пистолетомъ, какъ преступникъ, а вы, въ мундирѣ, — какъ честный человѣкъ. Вы убить меня имѣете право, а мнѣ убить васъ— преступленіе. Гдѣ же тутъ равенство условій?

И гдѣ же логика? Гдѣ, наконецъ, нравственное право мнѣ, преступнику, стрѣлять въ васъ, честнаго человѣка? Нѣтъ, покуда вы въ мундирѣ, у васъ слишкомъ много преимуществъ надо мною. Снимите мундиръ,— и тогда извольте: будемъ стрѣляться, какъ честные люди,—оба на равномъ положеніи преступниковъ.

— Но позвольте,—могъ бы возразить Витгенштейнъ, —именно честь мундира-то и требуетъ, чтобы я дрался съ вами. Не будь мундира, я и не затѣвалъ бы исторіи. А вы хотите, чтобы я спялъ мундиръ!

— Помилуйте!— отвѣтилъ бы Максимовъ,—какая же честь можетъ быть защищена нападеніемъ сильнаго на слабо, человѣка во всеоружіи правъ на преступника, правъ лишеннаго? Если вы убьете меня на дуэли, никто не воспрепятствуетъ вамъ, отпрапортовавъ о томъ по начальству, спокойно отправиться затѣмъ завтракать къ Кюба, но, если я васъ убью, меня посадятъ на четыре года въ крѣпость. Нѣтъ, вы хотите биться со мною черезчуръ длиннымъ мечомъ: укоротите его, снявъ мундиръ, — и я къ вашимъ услугамъ.

Вообразимъ, что Клыкковъ не застрѣлилъ Малиновскаго, какъ собаку, но, давъ ему вытрезвиться, послалъ къ нему секундантовъ, чтобы затѣмъ «растянуть» его «въ строгихъ правилахъ искусства, по всѣмъ преданьямъ старины». Въ этомъ случаѣ онъ не подлежалъ бы даже и той нестрогой карѣ, какую понесъ теперь,—тогда какъ, воскресши Малиновскій, онъ уже подлежитъ суду за то... да, за то, что его убили на дуэли, тогда какъ онъ, въ качествѣ статскаго человѣка, не имѣлъ права на дуэль выходить.

Дать слишкомъ большое преимущество одному обществу другому предъ другими — дѣло двуострое. Что бы ни вопіяли бѣсноватыя «Московскихъ Вѣдомостей», — ни народъ русскій, ни интеллигенція русская, совсѣмъ не враждебны къ военному сословію. Чтобы откопать архаическій примѣръ интеллигентнаго недоброжелательства къ воен-

нымъ, «Московскимъ Вѣдомостямъ» пришлось совершить экскурсію за сорокъ лѣтъ назадъ, припоминая насмѣшки надъ Всеволодомъ Крестовскимъ за опредѣленіе его въ улану: свѣжѣе случая не нашлось! Газета преувеличиваетъ значеніе этого факта и опускаетъ изъ вида, что дѣло было до введенія общей воинской повинности, разбившей замкнутую, привилегированную, сплошь дворянскую «военщину» фрунтового офицерства, — унаслѣдованнаго отъ николаевской эпохи и, дѣйствительно, по воспоминаніямъ даже самыхъ благосклонныхъ очевидцевъ, не слишкомъ-то пріятнаго и утѣшительнаго въ качествѣ элемента общественнаго. Нынѣшнее всесословное, съ образовательнымъ и служилымъ цензомъ, офицерство любимо во всѣхъ кругахъ русской жизни, оно всюду свое, родное, — и надо много вредныхъ усилій, чтобы ослабить эту родственную связь, отчудить армію отъ выдѣляющаго ее общества. А зачѣмъ такія усилія нужны, кому они будутъ полезны, — это ужъ тайна «Московскихъ Вѣдомостей», это ихъ спросить надо.

Къ числу вредныхъ и ошибочныхъ усилій разобщенія надо, конечно, отнести и законъ о дуэляхъ. Открывая офицеру привилегію оскорблять людей, требовать отъ нихъ обязательнаго удовлетворенія и, въ процессѣ этого удовлетворенія, превращать противника въ наказуемаго правонарушителя, безъ малѣйшей опасности для самого себя, — законъ создастъ практически нѣчто совсѣмъ противоположное тому, чего онъ добивается теоретически: онъ создастъ группу людей, поведеніемъ которыхъ, какъ бы оно ни было оскорбительно, никто оскорбляться не будетъ. Офицеры станутъ не выше образованнаго общества, а окажутся неизмѣримо ниже его нравственныхъ условій. Ибо, при нынѣшнихъ офицерскихъ привилегіяхъ на дуэль, вызовъ офицеромъ статскаго похожъ гораздо больше на вооруженное нападеніе, чѣмъ на защиту чести, — и, сколько бы ни грозилъ законъ лишеніемъ чести отказавшемуся

отъ дуэли, здравый смыслъ и совѣсть человѣческая будутъ порождать такіе отказы массаами. И никто не попрекнетъ за то отказавшагося, потому что онъ стоитъ предъ офицеромъ-дуэлянтномъ, какъ слабый предъ сильнымъ, потому что дуэль требуетъ отъ него и жертвъ, и храбрости гораздо больше, чѣмъ отъ офицера, хотя и жертвы, и храбрость — профессія военнаго званія. Максимовъ правъ въ своемъ письмѣ: пулю въ лобъ получить надо куда меньше мужества, чѣмъ на четыре года сѣсть за тюремную рѣшетку.

Сомнительно, чтобы дуэльныя привилегіи содѣйствовали поднятію нравственнаго уровня въ офицерствѣ. Людямъ деликатнымъ, совѣстливымъ, онѣ въ тягость, какъ ненужное бремя антипатичныхъ и неясныхъ обязательствъ. Людямъ грубымъ, полнымъ животныхъ инстинктовъ, онѣ развязываютъ руки къ наглости, которая — по существующимъ условіямъ закона — останется для нихъ, въ девяносто девяти случаяхъ изъ ста, безнаказанною. Начнется снова то, что было въ тридцатыхъ-сороковыхъ годахъ, но, слава Богу, перестало быть: разъединеніе интеллигенціи военной и статской, ибо страшно имъ станетъ уживаться вмѣстѣ; обособленіе военныхъ въ спеціальную касту, а — въ кастѣ, какъ всегда: сословное одичаніе и воскресеніе «военщины».

А какихъ бы акафистовъ ни пѣли во славу этой дореформенной покойницы «Московскія Вѣдомости», достаточно намъ одного Сергѣя Сергѣевича Скалозуба, чтобы не мечтать о возрожденіи сего перла творенія. Да — что Скалозубъ! Человѣкъ старый! Возьмите хоть «Печерскіе Антики» Лѣскова: кіевскую лѣтопись періода севастопольской кампаніи. Нечего сказать, хорошо отличались тогда въ мирномъ обществѣ даже такіе люди, какъ напримѣръ Р—цкій, пользуясь именно привилегіей кастовой распущенности, ненаказуемой дерзости и полудозволенной возможности «расшибить». А современное прусское офицерство? Нечего сказать, — красивый, поучительный идеаль и по существу своему, и по общественной къ нему антипатіи!

Кончая этот набросокъ, я очень боюсь, чтобы мнѣ не сказали:

— Слѣдовательно, вы проповѣдуете совершенную отмѣну наказанія за правильную дуэль—какъ для военныхъ, такъ и для статскихъ?

Нѣтъ, напротивъ: я думаю, что вовсе не бываетъ на свѣтѣ правильныхъ дуэлей, что всякая дуэль заслуживаетъ наказанія, и мечта моя, чтобы были запрещены всѣ дуэли, какъ военныя, такъ и статскія. Но это — *pra desideria*. Это—теорія. Считаюсь же съ практикою существующаго законодательства о дуэляхъ, позволительно желать, чтобы, — разъ ужъ приходится ему смотрѣть сквозь пальцы на уголовныя убійства, — по крайней мѣрѣ, хоть передъ лицомъ смерти-то оставило бы оно людей равными другъ другу. не выдавая однимъ патента—убивать, а другимъ связывая руки для самозащиты.

1901.



# Дисфалмація.





Предстать предъ судомъ—не только за диффамацию, но и вообще—мнѣ случилось въ первый разъ въ жизни. До сихъ поръ она счастливо слагалась такъ, что, объѣхавъ множество странъ и городовъ, переживъ не одну житейскую драму, испытавъ сотни приключеній, я ни разу ни съ кѣмъ не судился, ни разу никѣмъ не былъ приглашаемъ въ свидѣтели. Даже — что за птица мировой судья—знаю лишь, какъ зритель двухъ или трехъ сенсационныхъ разбирательствъ, о которыхъ приходилось писать потомъ въ фельетонахъ. Однажды, правда, мировой судья оштрафовалъ меня на три рубля, но заочно: я не пошелъ на разбирательство. А не пошелъ, потому что обидѣлся. А обидѣлся—потому, что—не конфузъ ли? Въ коц-то вѣки зовутъ предъ очи правосудія, да и то, оказывается, «преступленіе» совершилъ не я, а мой сенъ-бернаръ Копчакъ, вздумавшій гулять по Пантелеймоновской безъ намордника и тѣмъ нарушившій какую-то статью 1029!

И вдругъ—послѣ такой идилліи—сразу... судебная палата! Excusez du peu! Даже не окружной судъ, но судебная палата!

Меня оправдали и даже, можно сказать, съ блескомъ, но... хорошенькаго понемножку, и больше судиться я не имѣю рѣшительно никакого аппетита.

Съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ школьную скамью и пустился въ море житейское, оно неизмѣнно окружало меня пестрыми, быстро мѣняющимися впечатлѣніями.

Испыталъ я волненія автора при появленіи въ печати первой его строки, волненія жениха, волненія перваго дебюта на сценѣ, волненія успѣха и провала, представлялся великимъ людямъ и европейскимъ государямъ знаю, что за штука дуэль, попалъ въ нѣсколько землетрясеній, тонулъ въ моряхъ, боролся съ грабителями на большой дорогѣ, прогорѣлъ съ театральною антрепризою, бродилъ по мышинымъ тропамъ на заоблачныхъ высотахъ и т. д., и т. д. Смутьитъ человекъ столь бывалаго, казалось бы, весьма трудно, — особенно, если предъ нимъ нѣтъ никакихъ сверхъестественныхъ угрозъ, а просто идетъ онъ положить свои поступки на алтарь правосудія, да еще къ тому же и идетъ-то съ чистою совѣстью, въ полномъ сознаниіи своей правоты.

Въ перерывѣ предъ моимъ дѣломъ, я замѣтилъ, что розовыя щеки моего защитника, молодого помощника присяжнаго повѣреннаго, юноши весьма веселаго, неупывающаго, бодрого, начинаютъ выцвѣтать, блекнуть, желтѣть...

— Что съ вами? Вѣдь мы, слава Богу, не на морскомъ пароходѣ! — хотѣлъ я сказать ему, но затрещалъ электрическій звонокъ, возвѣщая, что палата идетъ, неся мнѣ судъ и расправу.

И вотъ — едва усѣлся я на вѣнскій стулъ рядомъ съ моимъ, все болѣе и болѣе отливавшимъ подъ апельсинъ, защитникомъ, какъ почувствовалъ и у себя именно то самое тоскливое сжатіе всѣхъ внутренностей, которое является на морѣ вѣрнымъ предвѣстіемъ скорой качки, а на гимназическихъ экзаменахъ еще вѣриѣйшимъ спутникомъ страшна предчувствія:

— А вдругъ мнѣ вынется нечитанный билетъ?!

— Батюшки! да никакъ я теряюсь?! — съ ужасомъ подумалъ я и... въ тотъ же моментъ потерялся окончательно.

— Подсудимый Амфитеатровъ! Признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что...

— Подсудимый! Однако и кличка! Ужасно дико зву-

чить она, когда ее присоединяютъ къ вашей фамиліи! — успѣваю подумать я, встаю, и, съ кошкою въ горлѣ, поперхнувшись, лепечу еле слышно:

— Н-нѣтъ... я не... не признаю.

Ни одна невѣста, при обрученіи, не говорила своего «да» тише и стыдливѣе, чѣмъ я — свое подсудимое «нѣтъ».

— Садитесь.

Сажусь. Мнѣ приходитъ въ голову:

— А вотъ меня посадили, и я теперь уже не смѣю встать, покуда меня не вызовутъ. И если встану, меня спросятъ, — зачѣмъ. И если я скажу: такъ, просто, захотѣлось постоять, — мнѣ опять прикажутъ садиться. И этого со мною, дѣйствительно, не было съ самой гимназіи.

И мнѣ стало казаться, что я вновь держу экзамень на аттестатъ зрѣлости, и что, хотя готовился я къ нему хорошо и вмѣю всѣ шансы его выдержать, но съ перенуга рѣшительно все перезабылъ, и провалюсь я, какъ пить дать. Судьи стали представляться мнѣ экзаменаторами, и я, совершенно по-гимназически, слѣдилъ за ихъ лицами, совершенно по-гимназически размышляя:

— Предсѣдатель — ничего; у него бѣлые волосы и бакенбарды, голосъ ласковый, — онъ добрый. Членъ суда справа — тоже. Вотъ слѣва, полный мушпа, — Богъ его знаетъ: все глазъ не поднимаетъ, въ бумагу глядитъ, перомъ пишетъ... Но — прокуроръ?! Ахъ, съѣсть меня прокуроръ!

Мы съ моимъ защитникомъ намѣревались явиться на судъ, если не трагиками, то, по меньшей мѣрѣ, резонерами — уличать нашего противника точнѣйшимъ допросомъ, воевать съ прокуроромъ, доказывать суду важность и серьезность каждаго листка въ кипѣ припасенныхъ нами документовъ... мы разожгли себя, мы построились, и вдругъ — меня спрашиваютъ, безъ всякой трагедіи, словно о самой простой вещи:

— Можете представить, обѣщанные вами на предварительномъ слѣдствіи, документы?

— Могу. Вотъ они.

— Передайте ихъ судебному приставу. Объявляю перерывъ засѣданія для ознакомленія палаты съ документами подсудимаго Амфитеатрова.

Ахъ, опять этотъ «подсудимый»!

Во время перерыва,—а тянется онъ долго, долго! — брожу по холоднымъ, какъ зима, корридорамъ съ холодными, какъ ледъ, каменными полами, отъ которыхъ дышетъ насморкомъ, бронхитомъ и мышечнымъ ревматизмомъ, бесѣдую съ слоняющимися по корридорамъ, юными помощниками присяжныхъ повѣренныхъ и кандидатами на судебныя должности, и предумышленное резонерство мое таетъ, таетъ... болтаю, а самъ уныло думаю:

— Что они со мною сдѣлаютъ? Ахъ! что они со мною сдѣлаютъ?!

И въ памяти встаетъ горбуповская старуха, которая ревѣла нѣкогда:

— Сыночка моего, сыночка... о-о-о! а-а-а!

— Ну, что «сыночка»?

— Приговорили голубчика, приговорили... У-у-у!

— Да къ чему приговорили-то?

— Къ разстрѣлу, батюшка, къ разстрѣлу... на двадцать лѣтъ!

Палата идетъ. Мгновенно—мнѣ опять 17 лѣтъ, и я не приготовилъ греку заданной страницы изъ Иліады, а математику—Ньютонова бинорма, который, помню, одинъ изъ товарищей моихъ упорно именовалъ Биномовымъ ньютономъ. Сижу и думаю, въ новой подложечной тоскѣ:

— А что — если поднять руку и попроситься выйти?

Документы припята прокуроромъ и палатою. На щеки моего защитника возвращается румянецъ. Я чувствую себя, какъ будто мнѣ поставили, по меньшей мѣрѣ, четыре за extempore, рѣшающее роковой вопросъ послѣдней пересадки — буду я допущенъ къ экзаменамъ или долженъ остаться

ся въ классѣ еще на годъ?... О, теперь мы поговоримъ, теперь мы поговоримъ...

— Господинъ Амфитеатровъ!

Ага! то-то! теперь уже не подсудимый, а господинъ!.. Стало быть, добродѣтель уже торжествуетъ?

— Господинъ Амфитеатровъ!—объясните намъ, откуда у васъ эти документы?

Хочу пустить токъ краснорѣчія, — мягко останавливаютъ:

— Да, нѣтъ. Это вы, если хотите, потомъ въ своей защитительной рѣчи скажете. Просто—объясните кратко ихъ происхожденіе.

Надежда сыграть резонера падаетъ еще нѣсколькими градусами ниже. Объясняю достаточно нескладно, но понятно.

— Хорошо-съ. Садитесь.

Ладно! Изъ-за бумагъ ничего не вышло... зато ужъ съ прокуроромъ придется сѣбѣлиться. Чувствую! Ишь, какъ онъ на меня глядитъ!.. Аспидомъ глядитъ!.. Погоди же ты! Даромъ я тебѣ не дамся!.. такъ сѣбѣплюсь, такъ... костями лягу, а не уступлю!

Прокуроръ встаетъ и говоритъ весьма краснорѣчиво, кратко, ясно, быстро, просто. Отъ трехъ четвертей обвиненія отказывается, четвертую четверть едва поддерживаетъ — «прокурорскаго чина для». Садится. Я ошеломленъ и, съ нѣкоторымъ конфузомъ за недавнюю мнительную трусость, понимаю одно: онъ меня не только не съѣлъ, но и ѣсть не намѣревался. Мое extempore защитило меня блистательно, и теперь мнѣ остается лишь не провалиться на устномъ экзаменѣ...

— Господинъ Амфитеатровъ! Слово за вами.

Встаю—и вдругъ мгновенно понимаю, отчего мой защитникъ, готовясь говорить предъ судомъ, имѣлъ видъ больного морскою болѣзнью. Въ глазахъ кружки, колѣнки дрожать... Я способенъ сказать рѣчь за столомъ, складное

слово съ каедры, но тутъ я что-то лопочу, бормочу, слышу что лопочу и бормочу, съ ужасомъ думаю:—Господи! да за чѣмъ же я бормочу и лопочу?!—и все-таки остановиться бормотать и лопотать не въ состояніи... При этомъ почему-то машу правою рукою передъ собственнымъ носомъ, а когда замѣчаю это неприличное движеніе, поправляю себя тѣмъ, что стараюсь поймать правую руку лѣвою. Выходитъ удивительно красиво! Вспоминаю, что мнѣ подь сорокъ годовъ, озлобленно свирѣпѣю и умолкаю—кажется, на полусловѣ,—ожидая общаго взрыва смѣха: осрамилъ я, такъ сказать, свои преждевременныя сѣдины! Но лица «палаты» безстрастны.

— Больше ничего не имѣете прибавить?

— Рѣшительно ничего.

Сажусь съ горькою мыслью: какой я трагикъ? какой тамъ, къ чорту, резонеръ? Я просто — трепетная *ingenue dramatique*, да и то развѣ лишь до третьяго акта! Защитникъ мой, теперь красный, какъ кумачъ, говоритъ что-то быстро, быстро, словно пустилъ катиться по землѣ фейерверкъ-вертуна. Слышу про птицу феникса, про Пушкина, про армянъ...

— Ну, что объ армянахъ! — мягко замѣчаетъ председатель, — вы о дѣлѣ лучше!

Трещать картечью въ воздухъ статьи закона, бухнуло пушкой кассационное рѣшеніе. Договорились, сѣлъ, цвѣтеть піономъ...

— Палата опредѣлила: считать господина Амфитеатрова по суду оправданнымъ.

Ура! Экзаменъ зрѣлости свалился съ плечъ...

Мы знакомимся и раскланиваемся съ прокуроромъ.

— Ну, поздравляю васъ, — слышу его слегка насмѣшливый голосъ, — цѣлы и невредимы вышли... До свиданія, до... слѣдующей диффамациі!..

1900.

ТАЛЬМА.





Это было въ 1896 г., въ Москвѣ. Сижу я за фельетономъ,—горничная докладываетъ:

— Васъ желаетъ видѣть полковникъ Тальма.

Фамилія эта тогда была у всѣхъ на языкѣ. Болдыревское дѣло только что кончилось, проигранное Тальмами во всѣхъ инстанціяхъ. Юный Александръ Тальма былъ признанъ убійцею и поджигателемъ; рѣшеніе утверждено и припечатано; самъ «извергъ естества» отправленъ—черезъ нѣсколько этаповъ по пересыльнымъ тюрьмамъ—на островъ Сахалинъ...

Прощай городъ—Одеста,  
Ты нашъ карантинъ!  
Завтра насъ погонять  
На островъ Сахалинъ,—

какъ поетъ тоскливая острожная пѣсня, подслушанная мною—незадолго предъ тѣмъ—въ одномъ нижегородскомъ ярмарочномъ притонѣ. Не знаю, почему, но пѣсня эта для меня навсегда тѣсно связалась съ именемъ и образомъ Александра Тальма, и имя его неизмѣнно заставляетъ ее звучать въ моей памяти.

Полковникъ Тальма—двоюродный братъ осужденнаго и нѣжнѣйшій другъ его, бывший ему, какъ въ лѣтописяхъ говорится, «въ отца мѣсто». Средняго роста, красивый, пожилой уже мужчина, съ желтоватымъ, безпокойнымъ лицомъ, оживленнымъ яркими южными глазами—онъ пришелъ ко мнѣ, какъ самъ потомъ говорилъ мнѣ:

— Не знаю, почему. Но хотѣлось пойти къ вамъ.

Рѣдко видалъ я человѣка болѣе взволнованнаго и дѣлающаго болѣе гигантскія усилія воли, чтобы удержать въ себѣ, скрыть, задавить волненіе, напускною корректностью замаскировать расходившуюся нервность, ежеминутно готовую разразиться слезами, — чѣмъ былъ полковникъ Тальма въ первое наше свиданіе. Еще Тургеневъ замѣтилъ, что аффекты очень глубокаго горя выражаются, на посторонній глазъ, слишкомъ театрално. Вотъ эта зловѣщая театральность была и въ осанкѣ, и въ движеніяхъ, и въ голосѣ, и даже въ нѣсколько искусственной, слишкомъ литературно построенной рѣчи полковника Тальмы. Къ слову сказать, г. Тальма — отчасти литераторъ; онъ написалъ хорошую драму изъ русской исторіи, въ стихахъ. Будь это первый мой опытъ встрѣчи съ героемъ страшной житейской трагедіи, я, навѣрное, подумалъ бы о полковникѣ Тальма:

— Зачѣмъ онъ притворяется и играетъ трагическую роль, какъ актеръ на сценѣ?

Такъ — увы! — не разбирали искренность горя Тальмы и считали его притворщикомъ очень и очень многіе къ кому онъ обращался за помощью, — люди счастливые, знакомые съ грозными образами преступленія и наказанія, позора убійства и позора каторги лишь по книжкамъ, да газетамъ — въ далекомъ отъ себя отвлеченіи; неспособные, въ благополучіи своемъ, вообразить ни близкаго себѣ человѣка каторжникомъ, ни себя братомъ каторжника; не выдавшіе никогда «живого каторжника», да, пожалуй, и безглаголиво не желающіе видѣть.

Къ счастью — очень печальному счастью — незадолго передъ Тальмою мнѣ пришлось разбираться въ двухъ московскихъ семейныхъ исторіяхъ, тоже съ мрачною карамазовскою уголовщиною на дѣлѣ \*). И теперь, когда полковникъ красиво сидѣлъ предо мною и красивыми, отборными фразами рассказывалъ свою бѣду и выяснялъ неви-

---

\*) См. мой сборникъ „Столичная Бездна“: „Семейство Ченчи“.

новность «Саши», я поражаюсь внѣшнимъ сходствомъ, которымъ позоръ и горе сравнивали этого изящнаго офицера съ сѣренькими героями тѣхъ первыхъ драмъ. Я чувствовала, что въ его мнимой театральщинѣ трепещетъ глубокая искренность — точно также, какъ вотъ — изжелта-блѣдное, рѣзко очерченное лицо его, казалось бы, совсѣмъ удачно застыло въ спокойную, джентльмэнскую маску, — а нѣтъ: на вискѣ трепещетъ и колотится, какъ муха въ паутинѣ, синяя жилка, и жалобное біеніе ея выдаетъ всю бурю, что бушуетъ въ глубинѣ души этого «выдержаннаго» человѣка.

— Для Саши кончено все, — говорилъ полковникъ, вѣжливо улыбаясь, и въ дрожь бросало отъ его улыбки; хотѣлось крикнуть ему:

— Да не улыбайтесь вы! . плачьте, кричите, проклинайте, бѣснуйтесь, бейтесь головою объ стѣну, дѣлайте, какіе хотите ужасы гнѣва и отчаянія — только не улыбайтесь!

Много, много разъ, когда мы потомъ бесѣдовали съ полковникомъ Тальма, эта ужасная жалкая улыбка заставляла меня прерывать разговоръ и выходить изъ комнаты, или усиленно искать на письменномъ столѣ чего-нибудь, совсѣмъ мнѣ ненужнаго и даже тамъ небывалаго, — чтобы незамѣтно овладѣть собою и «вести себя мужчиною». Рѣдко испытывалъ я болѣе тяжелыя минуты, чѣмъ въ обществѣ этого несчастнаго человѣка.

Просьба его ко мнѣ была простая: написать о «Сашѣ» статью въ газету, гдѣ я былъ тогда московскимъ фельетонистомъ, и гдѣ меня, послѣ болгарскихъ моихъ странствій, хорошо читали.

Проигравъ «дѣло Саши» во всѣхъ судебныхъ инстанціяхъ, потерявъ всякую надежду на право, полковникъ хотѣлъ теперь обратиться за помощью даже не къ морали, а просто — къ инстинкту, чутью правоты, живущему въ обществѣ. Утративъ возможность законнаго пересмотра дѣла, онъ, волею-неволею, примирился съ роковою необходи-

мостью потерять брата на алтарѣ формальнаго правосудія, но желалъ позвать послѣднее хоть на нравственный — то судъ предъ высшимъ авторитетомъ — предъ этическимъ чутьемъ, задушевнымъ убѣжденіемъ общества.

— Если Сапѣ суждено погибнуть, стать сахалинцемъ — говорилъ полковникъ, — какъ ни ужасно это, — пусть: воля Божья! Предопредѣлено ему безвинное страданіе, и надо будетъ его нести. Но онъ невиненъ, и я хочу, чтобы публика русская узнала что онъ невиненъ. Займитесь этимъ дѣломъ, — вотъ вамъ всѣ документы, я вызову и привезу вамъ изъ Пензы всѣхъ живыхъ свидѣтелей, которыхъ вы пожелаете видѣть и разспросить, я достану вамъ всѣ подробности, которыя вы найдете нужнымъ выяснять я готовъ сидѣть съ вами дни и ночи, отвѣчая на каждое ваше сомнѣніе. Я не прошу васъ сейчасъ вѣрить, что Саша невиненъ, я прошу васъ увѣриться въ этомъ. Я не прошу васъ писать въ защиту Саши, — я прошу только изложить безпристрастно все его дѣло, всѣ промахи и предрѣшенность слѣдствія. стремленіе, во что бы то ни стало, обвинить брата и систематическое устраненіе всѣхъ данныхъ въ его пользу. Если вы найдете, что слѣдствіе велось дѣльно и правильно, что Саша виновенъ, — я уйду отъ васъ съ болью въ душѣ, но, вѣрьте мнѣ, — безъ всякой на васъ обиды. Я не милости и жалости хочу, а безпристрастія. Мнѣ говорятъ: просите Государя о помилованіи, о смягченіи наказанія. Но вѣдь просить Государя значитъ сказать на всю Россію: Саша, дѣйствительно, преступникъ, дѣйствительно, убилъ, и только Высочайшая милость можетъ спасти его отъ заслуженной кары. А она не заслужена, — Богомъ вамъ клянусь: вы увидите, что онъ невиненъ! Значитъ, позоръ преступленія останется на немъ и на помилованномъ... нѣтъ, пусть ужъ лучше идетъ на Сахалинъ и страдаетъ, продолжая настаивать на своей правотѣ, чѣмъ принять на себя такую страшную напраслину.

Я сильно увлекся дѣломъ Тальмы и провелъ надъ чте-

нѣмъ документовъ, записокъ, дневниковъ, въ него входящихъ, не одну бессонную ночь. Помимо данныхъ судебного дѣла, въ рукахъ моихъ была масса матеріаловъ частнаго слѣдствія, произведеннаго полковникомъ Тальмою — уже по осужденіи брата. Надо сказать, что до осужденія защита велась крайне слабо, спустя рукава, мало заботясь о накопленіи данныхъ въ пользу подсудимаго; небрежничали и родные, и приглашенная имъ защита, и самъ обвиняемый. И ставить имъ въ вину небрежность эту — трудно: никто *тогда* во всей Пензѣ не вѣрилъ, чтобы Тальма былъ убійцею генеральши Болдыревой, всѣмъ были очевидны случайность и недостаточность выставленныхъ противъ него уликъ; всѣ ждали, что судъ надъ Тальмою окажется простою формальностью, и молодой человѣкъ сойдетъ со скамьи подсудимыхъ съ гордо поднятою головою, безъ малѣйшихъ затрудненій, не прилагая къ тому никакихъ усилій съ своей стороны: такъ нелѣпо обвиненіе противъ него.

— Вѣдь его почему притянули, — комментировали пензенцы арестъ Тальмы, — высшее начальство выразило неудовольствіе нашему начальству, что долго не находится убійца Болдыревой. Ну, наше начальство и поусердствовало: цапъ перваго, къ кому прицѣпиться былъ въ дѣлѣ хоть какой-нибудь крючекъ, — пожалуйте! вотъ вамъ преступникъ!.. Ну, а судъ — тотъ разбереть.

Эта самоувѣренная неподготовленность правоты, не вѣрившей въ возможность своей напрасной гибели, и блистательный талантъ прокурора (г. Громницкій) создали — по небрежному, неуклюже-одностороннему слѣдствію — стройную, неумолимую систему обвиненія, оставшагося на судѣ неопровергнутымъ, и привели къ роковому приговору. Осужденіе свалилось на Александра Тальма, какъ внезапный громъ съ безоблачнаго неба.

— Я ушамъ своимъ не повѣрилъ, — рассказывалъ мнѣ самъ осужденный Тальма, при свиданіи моемъ съ нимъ въ

московскомъ тюремномъ замкѣ, въ знаменитой централъ — «Бутырской академіи», — гляжу на судь, думаю: вы, господа? никакъ слова перепутали — не то, что на говорите? Потомъ привели меня въ камеру... Сажу и думаю: да цѣтъ! не можетъ этого быть! И совсѣмъ бы спокоенъ...

Чѣмъ больше вчитывался я въ дѣло Тальмы, тѣмъ больше заражался увѣренностью полковника въ невиновность его брата, но и тѣмъ больше представлялось мнѣ труднѣе доказать эту невиновность; такъ много было нагромождено на первоначальныя данныя послѣдующихъ вредныхъ мѣръ, столько было упущено и позабыто важныхъ и полныхъ показаній, такъ обступили его зловѣщія и роковыя пустяки. Вокругъ Александра Тальмы сплелась паутина, которую можно было разорвать, но не расплести.

Свиданіе съ осужденнымъ Тальмою въ московскомъ тюремномъ замкѣ еще болѣе укрѣпило меня въ увѣренности, что Тальма — не убійца...

Сѣрая свита  
И бубновый тузъ,  
Голова обрита  
И старый картузъ,—

стоялъ онъ предо мною, желтолицый, какъ молодой таринъ, съ быстрыми черными глазами, полными глубокаго недоумѣнія по поводу всего, что съ нимъ творятъ, и фанатической покорности:

— Ну, коли пропадать, моль, такъ пропадать! Не убей меня Богъ, если я понимаю, за что пропадаю.

Наше свиданіе имѣло для меня значеніе лишь психологической провѣрки, что за человѣкъ этотъ страшный пензенскій убійца, который рисовался мнѣ, при чтеніи дѣла, вспылчивымъ, не особенно нравственнымъ и хитрымъ ребенкомъ, но все же — ребенкомъ, а не извергомъ естества, какъ осудилъ его отнынѣ официально числителю страшный приговоръ. Какая у него фізіономія? взгля-

голосъ? интонація? жесты? Только это я и рассчитывалъ узнать. Новаго къ дѣлу Александръ Тальма ничего на разспросы мои не прибавилъ, да, очевидно, и не могъ прибавить, потому что, въ фаталистической безопасности своей, онъ, идя на Сахалинъ, тревожился судьбою своею, повидимому, гораздо меньше, чѣмъ страдалъ за него старшій братъ, отпуская его на Сахалинъ. Меньше интересовался онъ своимъ дѣломъ, меньше зналъ его меньше помнилъ... Говорить-говорить и взглянетъ на брата:

— Какъ, бишь, вотъ это было? Ты лучше помнишь, объясни...

Полковникъ Тальма тоже неоднократно перебывалъ брата:

— Да, нѣтъ же, Саша! ты путаешь, ты совсѣмъ не о томъ говоришь...

— Ну, ты лучше знаешь,—равнодушно возражалъ осужденный и, пожавъ плечами, уступалъ рѣчь старшему брату:

Страданіе и безпокойство, съ которыми послѣдній принималъ обмолвки и небрежности Александра Тальмы, были мнѣ глубоко понятны. Еще бы! Мало ли намучились Тальмы, именно, оттого, что дѣло ихъ съ самаго начала было полно обмолвокъ и небрежностей, какой-то барственной надменности къ обвиненію и безпечнаго равнодушія къ его развязкѣ! И вся эта школа, сломавшая и состарившая полковника Тальма, все-таки прошла—точно съ гуся вода—по Александру. Сидитъ себѣ человѣкъ, точно его не на Сахалинъ везутъ, а просто—въ качествѣ напашившаго юнкера—посадили дня на три подъ арестъ. Ужился въ тюрьмѣ, махнулъ рукою на прошлое, въ будущее не глядитъ и—вотъ философъ-то!—кажется, даже обездоленнымъ себя не полагаетъ!

— Пропадать, такъ пропадать!

— Онъ не понимаетъ своего положенія!—вырвалось у меня, когда мы съ полковникомъ Тальма очутились за стѣнами острога.



— Не понимает! — тяжело вздохнул онъ. — Ну... а когда пойметъ?! Вѣдь тѣмъ ужаснѣе, тѣмъ страшнѣе станетъ ему тамъ...

Конечно, обмолвки и недосказы брата волновали полковника Тальму еще и въ другомъ отношеніи.

— Привелъ я, — вѣроятно, думалъ онъ, — писателя къ «невинно-осужденному», чтобы убѣдить его въ правотѣ нашего дѣла, — а невинно-осужденный ведетъ себя съ такимъ равнодушіемъ къ своей участи, точно онъ не одну генеральшу Болдыреву, но всю родню перерѣзалъ, и почитаетъ себя вполне заслужившимъ и каторгу, и Сахалинъ. На вопросы отвѣчаетъ — точно заученный урокъ говорить и мѣстами сбивается, подсказки требуетъ. Вѣдь такъ онъ произведетъ впечатлѣніе не невинно-осужденнаго, но дѣйствительнаго преступника, которому родня и друзья подтасовываютъ оправданіе, учатъ его, что говорить, какъ показывать...

Это именно не только говорили, но чуть не на перекресткахъ кричали въ Петербургѣ о Тальмахъ, и подозрительность полковника ко мнѣ въ данномъ отношеніи, — оговариваюсь: если только была такая подозрительность, — имѣла полнѣйшее виѣшнее основаніе, хотя и была неосновательна по существу. Повторяю: Александръ Тальма произвелъ на меня сразу впечатлѣніе человѣка, неспособнаго совершить обдуманное и хитрое преступленіе и еще менѣе хитро и обдуманно скрыть его. По возвращеніи изъ острога, я немедленно телеграфировалъ о бесѣдѣ своей съ Тальма въ «Новое Время», высказалъ свое убѣжденіе въ его непричастности къ убійству Болдыревой и сѣлъ писать статью съ анализомъ этого дѣла. Къ сожалѣнію, «Новое Время» было слишкомъ предубѣждено въ пользу состоявшагося приговора и, полагаясь на его непогрѣшимость, слишкомъ твердо стояло на виновности Александра Тальмы. Статью мою въ защиту послѣдняго оно не пожелало помѣстить и увѣдомило меня телеграммою, что всякіе дальнѣйшіе шаги

въ этомъ направленіи будутъ напрасны. Для полковника Тальмы этотъ отвѣтъ газеты, на вліятельную распространенность которой онъ сильно рассчитывалъ, былъ очень тяжелымъ ударомъ, а у меня онъ отнялъ единственное оружіе, какимъ я могъ быть полезенъ осужденному.

— Боже мой, — говорилъ полковникъ, — что же теперь дѣлать? Прямо судьба бьетъ: къ обществу не достучишься, пресса не хочетъ заступиться, отдѣльныя лица помочь безсильны...

Я повезъ его къ Льву Николаевичу Толстому. Великій писатель долго и внимательно слушалъ горячія рѣчи Тальмы, съ интересомъ спрашивалъ меня о впечатлѣніи, которое вынесъ я изъ свиданія съ заключеннымъ, — но посоветовать могъ лишь одно:

— Просите за брата Государя. Только Государь въ силахъ вамъ помочь.

Но эта послѣдняя возможность, какъ я уже говорилъ, разрушала всѣ цѣли и старшаго, и младшаго Тальмы: Высочайшее помилованіе спасало осужденному жизнь, но не честь, а братья искали именно возстановленія опороченной чести своего имени, искали суда, а не одной пощады милосердія ради.

Хотѣлъ было я заняться дѣломъ Тальмы въ отдѣльной брошюрѣ, издавъ ее въ Петербургѣ, или, если цензурныя условія оказались бы неподходящими, въ Лейпцигѣ, но обстоятельства сложились такъ, что мнѣ не удалось исполнить своего намѣренія: я опять уѣхалъ въ Болгарію, потомъ переехалъ на постоянное жительство въ Петербургъ, — и, въ кипучемъ водоворотѣ газетной жизни, дѣло Тальмы какъ-то затерлось среди новыхъ и новыхъ наплывающихъ впечатлѣній. Притомъ же — скажу прямо и откровенно — встрѣтившее меня въ Петербургѣ всеобщее, прямо стихійное какое-то предубѣжденіе противъ Тальмы мало-по-малу стало охлаждать меня къ затѣянному дѣлу сомнѣніями, понятными каждому публицисту:

— А вдругъ моль и впрямь никакой судебной ошибки не было, и мы имѣемъ дѣло не съ невинностью, но лишь съ ловко разыгрываемымъ притворствомъ?

Словомъ, стали уже вліять скверный, столь свойственный русскому интеллигенту, страхъ— «не влетѣть бы въ исторію». «Новое Время» отъ Тальмы отказалось наотрѣзъ, другого органа знакомаго у меня тогда не было,—я отошелъ въ сторону. А Тальма тѣмъ временемъ уже плылъ къ мѣсту ссылки.

Черное море,  
Бѣлый пароходъ,—  
Куда ни посмотришь,  
Все чужой народъ!  
Погибъ я, мальчишечка,  
Погибъ навсегда...  
Годы за годами  
Идутъ, какъ вода.

Сахалинъ—что могила, но и могилы порою раскрываются, какъ видно, и изъ нихъ встаютъ загробные выходцы \*).

Искренно радуясь за самого Александра Тальму, я едва ли не больше еще радуюсь за его брата, чьей энергіи онъ безспорно и всецѣло обязанъ всей борьбою за свое освобожденіе, да—вѣроятно—и теперь, розыскомъ настоящаго убійцы. Полковнику Тальмѣ пришлось пройти, во имя братской любви, черезъ страшный искусъ. У насъ умѣютъ добить человѣка, уронить его, разъ онъ стоитъ на скользкой дорогѣ. Онъ искалъ правды,—его обвиняли въ подтасовкѣ фактовъ, въ подкупѣ свидѣтелей; въ дрессировкѣ искусственныхъ свидѣтельницъ съ продиктованными имъ самимъ дневниками и т. п. Онъ душу клалъ за то, чтобы спасти брата,—и не доставало лишь, чтобы за это и его са-

\*) Писано, когда объявился съ признаніемъ «настоящій» убійца Болдыревой, сынъ мѣдника Карповъ. Извѣстно, однако, что судъ не повѣрилъ Карпову, и процессъ его не имѣлъ никакого вліянія на судьбу Александра Тальмы. Послѣдній былъ возвращенъ съ Сахалина Высочайшимъ помилованіемъ.

мого упекли вмѣстѣ съ осужденнымъ, потому что уже цѣлый рой клеветъ и гадкихъ сплетенъ началъ было окружать его самоотверженныя хлопоты.

Откуда народилось такое сильное предубѣжденіе противъ Александра Тальма, такая подозрительность къ нему и даже недоброжелательство, смѣнившія первоначальное всеобщее благорасположеніе?

Мнѣ кажется, тому есть нѣсколько причинъ. Первая — отталкивающее впечатлѣніе, которое произвели на общество обнажившіеся факты и преувеличенные слухи о «тайнахъ болдыревскаго дома». Тайны эти, дѣйствительно, способны покоробить даже не особенно щекотливое нравственное чувство; семья, окружавшая мнимаго убійцу, живо напоминаетъ семейку братьевъ Карамазовыхъ. Общее убѣжденіе, когда масса ознакомилась со складомъ болдыревскаго дома, сказало: здѣсь рано или поздно должно было случиться страшное преступленіе и, если оно случилось, то виновать, разумѣется, кто-нибудь изъ домашнихъ, потому что имъ естественно его совершить, они фатально обречены на него, и лишь удивительно, отчего они такъ долго его не совершали. Это — какъ въ «Карамазовыхъ»: весь городъ ждалъ, скоро ли разыграется въ ихъ семьѣ уголовщина, и, когда она разыгралась, всѣ въ одинъ голосъ закричали: кто убійца? Да, разумѣется, Митя Карамазовъ!.. Митя Карамазовъ отвѣтилъ суду и пошелъ въ каторгу за всю карамазовщину, а Александръ Тальма за всю болдыревщину. И — въ значительной степени — судили Тальму не только за самый фактъ подлежащаго суду преступленія, но именно — за всю болдыревщину: за буйную жизнь самого Тальмы, за коротенькую жизнь его молоденькой жены-полуробенка, за длинную и мрачную жизнь убитой старухи Болдыревой.

Вторая причина — та халатность, распустья рукава, которая была противопоставлена первоначальному обвиненію, въ увѣренности, что оно и безъ того разлетится, какъ

мыльный пузырь. А оно не разлетѣлось. Спасти уже осужденнаго преступника — задача куда труднѣе, чѣмъ спасти судимаго отъ осужденія. До осужденія большинство симпатій — за судимаго противъ обвиненія, послѣ осужденія — большинство симпатій на сторонѣ обвиненія противъ осужденнаго. Въ судебныя ошибки, при всемъ ихъ множествѣ, люди все еще плохо вѣрятъ. Осудили, — стало быть, виновать! значить, убійца и извергъ!

Затѣмъ причина третья и тоже немаловажная. Несмотря на тридцатилѣтїе слишкомъ новаго суда, у многихъ на Руси держится къ суду еще дореформенное отношеніе. Оно неоднократно проглядывало, — если, конечно, опять-таки я не ошибаюсь, — и въ поведеніи полковника Тальмы при сверхчеловѣческихъ стараніяхъ его спасти брата. Родные осужденнаго, проученные первымъ опытомъ, въ какую бѣду бросила ихъ недостаточность оправдательныхъ доказательствъ, затѣмъ впади въ обратную ошибку. Не вѣря болѣе въ правду допустившаго ошибку суда, они стали норовить обойти судъ, наставить крючковъ на его крючки. Они все время какъ бы боялись, что тѣхъ оправдательныхъ данныхъ, которыя удалось имъ собрать дѣйствительно, будетъ мало, и громоздили новыя, дробили на мелочи старыя, собирали въ кучу химеры и бредни, такъ что, въ концѣ концовъ, въ дѣлѣ стало трудно разобрать: гдѣ кончается истина и гдѣ начинаются истерическія грезы. А тутъ еще экспертиза высказалась за искусственную фабрикацію одного изъ важнѣйшихъ оправдательныхъ документовъ — дневника больной истерической свидѣтельницы Битяевой. Трудность отдѣлать въ мѣсивѣ этой нервной защиты правду отъ фантазій привела публику къ обобщенію, что правды нѣтъ въ ней вовсе, и вся она — сплошная ложь во имя родственной любви и семейной чести.

1900.



„ДРУГЪ“.

MINI-VUE MUSEUM

Другъ пришелъ...

А, впрочемъ, почему «другъ»,—Богъ его знаетъ! Двусмысленный это терминъ—«другъ». Въ теоріи—«второе я», а съ обиходной точки зрѣнія,—просто человѣкъ, который около тебя околачивается. И ты около него околачиваешься. И оба не знаете,—съ какой стати и зачѣмъ. Если это взаимооколачиваніе продолжается порядочный срокъ, года два-три скажемъ, оно начинаетъ слыть сперва дружбою, потомъ старою дружбою, а тамъ—глядь—и въ христоматию попадешь, вмѣстѣ съ Орестомъ и Пиладомъ, Дамономъ и Пяеіемъ. Дружба, сходственна съ виномъ: мадера просто, мадера vieux, мадера tres vieux и, наконецъ, tres vieux extraordinaire, съ показаніемъ какого-нибудь фантастически давняго года,—это, значить, когда уже пора въ христоматию. И, какъ мадера, обычно, дѣлается совсѣмъ не на островѣ Мадерѣ, но въ городѣ Кашинѣ, такъ и дружба россійскія имѣютъ удивительно постоянное свойство возникать на почвахъ и при обстоятельствахъ, казалось бы, къ дружбѣ столь же мало располагающихъ, сколь мало предрасположенъ городъ Кашинъ къ производству мадерныхъ лозъ. И, какъ въ бутылкѣ кашинской мадеры, подъ красивымъ ярлыкомъ, нѣтъ ни капли благороднаго винограднаго сока, такъ и въ дружбахъ россійскихъ, по большей части, мы встрѣчаемъ весьма мало именно тѣхъ элементовъ, коими должны бы онѣ оправдываться и обосновываться: сходства характеровъ, единства въ образѣ мыслей и занятій, вѣры въ одни и тѣ



же идеалы, — скажу даже больше: просто симпатіи. «И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно». Свяжетъ чортъ веревочкою, — и пошелъ Иванъ Ивановичъ околачиваться объ Ивана Никифоровича лѣтъ этакъ на двадцать на пять, пока не прилетитъ поссорить ихъ какой-нибудь гусакъ. Кромѣ того, какъ ни странно, есть дружбы, прямо-таки построенныя на привычной и постоянной грызнѣ и антипатіи. Изъ далекаго, провинціального дѣтства встаютъ предо мною образы двухъ сѣдыхъ стариковъ — стараго протопона и купца, воротилы уѣзднаго города. Протопопъ былъ славный, веселый человекъ, вдовецъ, охотникъ выпить, побалагурить, душа честнѣйшая, полная той, сама себя не замѣчающей, но глубокой и чистой вѣры, что, въ наивной цѣльности своей, теперь, кажется, уже и не встрѣчается больше ни въ какомъ сословіи. Купецъ — человекъ тоже ничего себѣ, но заноза несноснѣйшій и дѣлецъ хитроумный. Протопопъ считалъ его первѣйшимъ въ мірѣ плутомъ, а купецъ протопона — празднымъ лодыремъ и бездѣльникомъ. Оба отзывались другъ о другѣ за глаза какъ нельзя хуже — и оба жить другъ безъ друга не могли. И ничѣмъ нельзя было такъ угодить протопопу, какъ придти къ нему рассказать о какой-нибудь новой «подлости» его друга-врага. Домъ былъ у протопона огромный, съ длинною анфиладою проходныхъ комнатъ, и съ утра, послѣ обѣденъ, въ каждой комнатѣ — столикъ, а на столикѣ — графинчикъ. Ходитъ протопопъ изъ комнаты въ комнату, то у одного столика приложится къ графинчику, то у другого, а какой-нибудь гость, дѣлающій ему компанію, вретъ старику, что въ голову придеть, про «Ефимъ Петрова»...

— А слышали вы, отецъ протопопъ, какъ вчера Ефимка обставилъ краснухинскихъ мужиковъ на овсѣ?

— Да ну? да что вы? Ну-те, ну-те, рассказывайте поскорѣе, Богомъ молю...

Слушаетъ, всплескиваетъ руками, ужасается.

— Подлецъ-то! а? подлецъ-то какой! Казни за такія

дѣла мало!.. Вѣдь нищіе краснухинскіе-то, съ нищихъ суму снимають... Да что же онъ, старый хрѣнь, вовсе что ли Бога забылъ? •

— Видно, что забылъ.

— Такъ—хоть о смертномъ часѣ помнилъ бы! Вѣдь помирать будемъ, недолго ужъ ему... старый человѣкъ!.. куда онъ себя готовить?!

— Въ мѣсто, надо полагать, не прохладное-съ!

— Прямо—къ Іудѣ Искаріотскому, — рѣшительно утверждаетъ отецъ протопопъ,—такъ-таки вотъ прямо въ одномъ котлѣ съ Іудою будетъ вариться... и съ Каиномъ!!!

И въ ту же минуту, взглянувъ въ окно и примѣтивъ бредущаго черезъ соборную площадь Ефима Петрова, вопить зычнымъ басомъ:

— Ефимъ Петровичъ! батенька! что же вы?! ужели мимо дружка пройдетъ—не побываете?

— Ваши гости, отецъ Иванъ, ваши гости, слышится ласковый отвѣтъ.

А протопопъ, тѣмъ временемъ, успѣлъ уже пожаловаться гостю:

— Ишь—тащится, христопродавецъ! Очень надо!.. И чего онъ шляется ко мнѣ? что ему у меня сладко? Вѣдь знаетъ, что противень онъ мнѣ,—инда нутро отъ вида его гнуснаго переворачивается, а каждый день— у меня, да у меня... Я вамъ такъ скажу: лучше бы мнѣ съ Варравую водку пить, чѣмъ съ этимъ извергомъ!

Ефимъ Петровъ входитъ на крыльцо. Протопопъ встрѣчаетъ его съ самымъ искреннимъ радушіемъ, нѣжнѣйшею вѣжливостью; старики обмѣниваются любезностями, вмѣстѣ путешествуютъ между водочными столиками, пьютъ, закусываютъ,—наконецъ, усядутся другъ противъ друга въ кресла, и... пошла писать губернія!

*О. Иванъ (язвительно).* Слыхаль я, что васъ, Ефимъ Петровичъ, надо поздравить съ покупкой?

*Ефимъ Петровъ (совершенно хладнокровно).* Съ ка-

кою, отецъ протопопъ? Много чего нонѣ покупать ходится...

*О. Иванъ.* Овесъ, сказываютъ, въ Краснухинѣ вы приобрѣли...

*Ефимъ Петровъ (сразу смекнувъ, откуда двѣтеръ, — съ полнымъ безстрастіемъ).* Овесъ? да, ни отецъ протопопъ, не безъ пользы!

*О. Иванъ (на зенитъ извѣстности).* Ну, поздравляю, поздравляю!

*Ефимъ Петровъ (точно такъ же).* Да ужъ поздравте, поздравте!

*О. Иванъ (къ присутствующимъ).* Вотъ, выходитъ и правда, что я сейчасъ говорилъ: хорошій человекъ у Ефима Петровича, — и себя не обидитъ, и мужичкамъ кое подспорье даетъ!.. жалѣть меньшого-то брата... а что другіе!

*Ефимъ Петровъ.* Какъ мужичка не жалѣть? Мужикъ онъ — кормилецъ!

*О. Иванъ (про себя).* Жалѣлъ волкъ кобылу, — вывилъ хвостъ да гриву!

*Ефимъ Петровъ (прекрасно все разслышалъ, и храняетъ полную невозмутимость).* Ась? Проще великодушно, отецъ протопопъ: я на ухо-то слабъ... не зобралъ, что соблаговолили изрещи...

*О. Иванъ.* Ничего, Ефимъ Петровичъ, я такъ — мысли... Неблагодарные, выходятъ, мужики-то. Вы благодарствуете, они ревмя-ревутъ. Черезъ этого, братья, Ефима Петрова мы всѣ скоро по міру пойдёмъ. Разбойникъ, говорятъ, онъ, аспидъ, кровопійца, ана... Вы извините, Ефимъ Петровичъ, что я вамъ такія слова передаю: не мое, а ихъ дурацкое разсужденіе..

*Ефимъ Петровъ.* Не позволяте беспокоиться, о. Иванъ! Развѣ переслушаешь всего людского разговору вѣстное дѣло, — собака лаетъ, вѣтеръ носить. На всякую хань не наздравствуешься... Вонъ и про ваше высокоб...

словеніе сегодня въ лавкахъ куда какъ нехорошо разговаривали, — такъ нешто это возможно брать во вниманіе?

*О. Иванъ (вскипая).* То есть, что же это могли про меня разговаривать?!

*Ефимъ Петровъ.* Извѣстно что... люди глупые... Дурашнѣй, говорятъ, совсѣмъ дурашнѣй протопопъ у насъ сталъ, изъ ума старикъ выживаетъ, только и гораздъ, что водку пить, а то, небось, и въ книги-то честь разучился...

*О. Иванъ (въ азартъ).* Это вы врите! Это вы сами выдумали!

*Ефимъ Петровъ.* А вы про краснухинскихъ мужиковъ выдумали!

*О. Иванъ.* Нѣтъ, не выдумалъ! Что вы грабитель, вся губернія знаетъ!

*Ефимъ Петровъ.* А вы спьяну двоюродныхъ безъ оглашенія повѣнчали!..

И—этакъ препираются до поздняго вечера. А затѣмъ расстаются, учтивѣйшимъ образомъ желая другъ другу спокойной ночи и пріятныхъ сновидѣній, чтобы на завтра, при первой же встрѣчѣ начать новый бой. Сегодня—сраженіе у протопопа, завтра—у Ефима Петрова. Ходятъ одинъ къ другому въ гости и ругаются... Прожили они въ подобномъ препирательствѣ лѣтъ сорокъ, а когда протопопъ умеръ, купецъ пережилъ его очень недолго, и даже для самаго поверхностнаго наблюдателя послѣднихъ дней его не оставалось сомнѣній, что вѣкъ Ефима Петрова былъ укороченъ тоскою по другѣ-спорщикѣ.

У автора этихъ строкъ нѣтъ старыхъ друзей, — быть можетъ, потому, что я не успѣлъ еще выдержать имѣющихся до ярлыка *très vieux*, а, быть можетъ, и потому, что вообще не судьба мнѣ выдерживать ихъ до столь лестнаго для меня и для нихъ христоматическаго этикета. Есть два словечка «хорошія отношенія», которыя, я считаю гораздо болѣе осмысленными, вѣроятными, возможными и удобными, чѣмъ слово «дружба»,—и, когда

возникаетъ изъ нихъ послѣдняя, я всегда грустно и хаю мысленно:

— Вотъ и еще однимъ хорошимъ отношеніямъ нець!..

Другъ — существо, быть можетъ, и прекрасно иначе бы его не восхваляли въ христоматіяхъ, но и уное, — иначе вы не отправляли бы друзей своихъ въ своемъ ко всѣмъ чертямъ разъ по десяти на день!.. Другъ это несноснѣйшій тиранъ, котораго изобрѣлъ Вельзелъ чтобы отравлять спокойствіе людей, ухитрившихся въ ж своей увернуться и отъ злой жены, и отъ лютой т Пока вы съ человѣкомъ только въ хорошихъ отношеніяхъ — даже при весьма значительной интимности, — есть мнѣ и вами стѣна «чужести», ея же не перешагнетъ какое амикошонство, есть своего рода *poli me tangere* хранящее вамъ свободу личности. Но—другъ?!.. Это—человѣкъ, входящій въ домъ, по самоданному пропуску на листу, мимо прислуги, которая не смѣетъ остановить словами: «баринъ занятъ», «нездоровъ», «барина дома», ибо:

— Занятъ? Да развѣ я помѣшаю? развѣ я въ сонѣ помѣшать? Я другъ! Пусть занимается при мнѣ, — въ претензіи!

— Нездоровъ? Что съ нимъ, такимъ-сякимъ? И взглянуть! Эй ты, лежащій—болящій! нечего валяться! Подбодрись, баба! Авось болѣзнь не къ смерти, а къ слава Божіей! Не видишь: другъ пришелъ!

— Не одѣтъ? Да мнѣ-то что?! Очень мнѣ нужны церемоніи! Я—другъ... При мнѣ—хоть безъ панталонъ!

— Нѣтъ дома? Ну, и ладно! Я подожду въ кабине!

— Баринъ не любитъ, чтобы безъ него...

— Ну, ну, ну... пожалуйста!.. Не чужой я. Я другъ!

И, возвратясь, вы находите друга—у письменнаго стола: сидитъ человѣкъ и, ничто же сумняшеся, бираетъ вашу почту.

— А, здравствуй! вотъ и ты! Какъ я радъ, что дождался! А твой олухъ не хотѣлъ было пускать меня. Пожалуйста, внуши ты ему, чтобы онъ научился различать своихъ отъ чужихъ... Эка, писемъ-то тебѣ наслали сегодня!

— Да... Но зачѣмъ же ты распечаталъ нѣкоторыя?!

— А что за важность?!

— Да та важность, что письма адресованы мнѣ, а не тебѣ.

— Ну, вотъ еще тонкости! Вѣдь къ тебѣ по литературнымъ дѣламъ пишутъ, — какіе же тутъ могутъ быть секреты? Да я и не разболтаю. Развѣ ты не другъ мой?

— Другъ-то, другъ, но все же, знаешь, чужая корреспонденція...

— Пустяки! Буду нѣмъ, какъ могила... А тебѣ преинтересныя вещицы, однако, сообщаютъ. Вотъ тутъ какая-то барыня описываетъ, какъ ея дочь мерзавецъ одинъ соблазнилъ, увезъ и бросилъ... Фамиліи, конечно, просить сохранить въ тайнѣ.

— Какая же теперь къ чорту тайна, когда ты прочиталъ письмо?

— Ну, вотъ! болтунъ я что ли? Обидно даже! Говорю тебѣ: могила!.. Ты что будешь дѣлать сейчасъ?

— Я? Фельетонъ писать.

— Ага! Фельетонъ!.. Да неужто ты еще не написалъ фельетона?

— Нѣтъ.

— Эка сѣчь тебя некому!.. Когда же ты успѣешь?

Вѣдь времени-то тебѣ осталось—ой-ой-ой, какъ мало.

— Да, немного.

— И сколько разъ я совѣтовалъ тебѣ: пиши наканунѣ!..

Ну, садись, садись, пиши, а то еще опоздаешь... Пиши, пиши, я тебѣ не мѣшаю!.. Tiens! одну минуту: ты слышалъ, Сигма получилъ орденъ?

— Слышалъ

— Какъ же, какъ же! «За неслужебныя заслуги».

Знаешь, мнѣ это очень нравится, потому что... Если позволишь, я тебѣ наскоро выскажу свой взглядъ на положеніе журналиста въ современномъ обществѣ... Вкратцѣ, вкратцѣ, я знаю, что ты долженъ спѣшить...

Ту-ту-ту, ту-ту-ту, — застучала говорильная машина на добрые полчаса!

— Ну, вотъ я и кончилъ, — можешь не бороздить чела своего морщинами нетерпѣнія! Охъ, вы, литераторы... все важныхъ птицъ, да занятыхъ людей изъ себя корчите! Садись, пиши, не мѣшаю... Да я и уѣду сейчасъ. Который часъ? Четыре? А мнѣ къ пяти на Балтійскій вокзалъ надо, — стало быть, въ половинѣ пятаго я отъ тебя уѣду. Ты позволишь посидѣть эти полчаса у тебя?

— Сиди:

— Я почитаю газеты, а ты пиши, пожалуйста, пиши, я никогда себѣ не прощу, если ты изъ-за меня не исполнишь своей обязанности. Да! одно слово: скажи, пожалуйста, а Потапенко — въ Парижѣ?

— Въ Парижѣ.

— Что опъ тамъ дѣлаетъ?

Мнѣ очень хочется отвѣтить:

— Вѣроятно, мается съ какимъ-нибудь парижскимъ другомъ точно такъ же, какъ я съ тобою, эфіопъ ты этакій.

Но вспоминаю, что предо мною «другъ», сдерживаюсь и кротко отвѣчаю:

— А кто жъ его знаетъ?

— Да-да-да... весело теперь въ Парижѣ, погода хорошая, министерства летаютъ, какъ шары воздушные, ну, потомъ живого Дрейфуса привезутъ... клѣтку, пишутъ въ телеграммахъ, уже приготовили...

— Какую клѣтку?!

— Тьфу! Заболтался! Вотъ ужъ — языкъ-то, что тряпка: болтаетъ, а голова не знаетъ... Не клѣтку, а тюрьму! Тюрьму, а не клѣтку! Ты радъ?

— Ахъ, мнѣ рѣшительно все равно сейчасъ!

— Какъ «все равно»?! А еще литераторъ! Развѣ литератору можетъ быть все равно, что привезутъ Дрейфуса? Ты посмотри, какъ другіе литераторы волнуются... Вонъ хотя бы Антонъ Чеховъ... Кстати: Антонъ Чеховъ-то все боленъ... И Сенкевичъ боленъ... Съ чего это они всѣ расхворались? какъ ты думаешь? а?

Смотрю на него взглядомъ раненаго на смерть мамонта и отвѣчаю съ посильнымъ смиреніемъ:

— Вѣроятно, съ ними слишкомъ много друзья разговариваютъ.

— Ха-ха-ха! Это камушекъ въ мой огородъ? Остри, остри! Острие комаринаго носа не будешь! слыхаль?.. Однако, я тебя и впрямь задерживаю. Садись, пожалуйста, и работай, не отлынивай отъ дѣла,—а то потомъ еще всю свою неаккуратность на меня свалишь... О чемъ писать-то будешь? Небось о Вальдекѣ Руссо? Затаскали вы, господа фельетонисты, этого Вальдека Руссо... Заладила сорока Якова, твердить одно про всякаго!

— Да и не думаль я про Вальдека Руссо... ну его!

— Помилуй! какъ же такъ? Да вѣдь это, братецъ, тема! злоба дня! Объ этомъ необходимо. Ты долженъ отвѣчать интересу минуты: публика требуетъ...

— Ну, и пиши самъ, если нравится.

— А ты думаешь, не написалъ бы? Вотъ только лѣнь, а то сѣлъ бы и паписалъ... Ну—если не о Вальдекѣ Руссо, такъ ужъ и ума не приложу, какой сюжетъ можешь ты высосать изъ текущихъ событій... Вотъ развѣ насчетъ Македоніи?

Вижу, что конца не будетъ болтовнѣ — и, въ отчаяніи, вру:

— Да, да, именно насчетъ Македоніи.

Лицо друга проясняется.

— Македоніи?

Онъ опускается въ кресло, ставитъ цилиндръ на полъ и смотритъ на часы:



— Эге! уже сорокъ минутъ пятого... пятичасовой поѣздъ, стало быть, — ау! Ну, и тѣмъ лучше... Если ты о Македоніи, я тебя такъ не оставлю. Я тебѣ насчетъ Македоніи свои взгляды изложу. Это, братъ, штука серьезная, я этимъ вопросомъ вплотную занимался.

— Съ чѣмъ тебя и поздравляю.

— Какія знакомства свель ради этого! Только что — ха-ха-ха! — Александра Македонскаго не интервьюировалъ, а то — съ посланникомъ даже бесѣдовалъ...

— Съ македонскимъ?! Другъ мой! очнись! пойди — выпей стаканъ холодной воды!

— Не съ македонскимъ, — какой тамъ къ чорту македонскій? А — съ посланникомъ Гебридскихъ острововъ... Умнѣйшій, братецъ ты мой, человекъ и такой обходительный: все карамельки сосеть.. А, впрочемъ, не иронизируй: и македонскіе посланники въ свой срокъ будутъ. Ужъ мы съ Комаровымъ постараемся... Ты меня разспроси, — я тебѣ такія вещи поразскажу... фельетончикъ выйдетъ, — публика пальчики оближетъ.

— Если только я успѣю его написать, а типографія — набрать и напечатать, — пробую язвить я, — увы! напрасно! другъ неузвимъ!

Пустяки! лучше запоздать, но написать что-нибудь основательное, чѣмъ, зря, верхоглядствовать... Ты слушай...

Ту-ту-ту, ту-ту-ту... опять гуль машины краснорѣчія — и уже не простой на этотъ разъ, но ротационной: рѣчь льется быстрѣе горнаго потока, — и хоть бы на одномъ новомъ фактѣ, хоть бы на одной оригинальной мысли приостановила вниманіе! Только удивляешься: угораздитъ же человека прочитать и запомнить наизусть такую уйму передовыхъ статей!.. Слава Богу! Стопъ ходъ! Излился и переводить духъ.

— Понялъ?

— Понялъ.

— Что скажешь?

— Да — что сказать... Скажу тебѣ некрасовскимъ стихомъ:

Не говори же чепухи  
Ты, рьяный чтець, но критикъ дикій!..

— Ну, да, конечно,—обидѣлся другъ,— гдѣ же намъ! Конечно, вы одни — профессионалы — адепты истины...

Я, не отвѣчая, со свирѣпостью сѣлъ къ письменному столу и написалъ: «Этюды CVII..». Затѣмъ рука моя машинально, сама собою, точно на спиритическомъ сеансѣ, вывела слова: «Другъ пришелъ»... Другъ, между тѣмъ, сидѣлъ въ аршинѣ отъ меня разстоянія, чего терпѣть не могу, курилъ сигарищу, чего не выношу, шуршалъ огромною газетицею, чего я слышать не въ состояніи... Я отвернулся, чтобы не видать и не слышать его, и рука моя зачертила по бумагѣ:

«Онъ много ѣздитъ по Россіи, хорошо знаетъ ея бѣды и нужды. Онъ—только что изъ губерній неурожая и привезъ съ собою много непосредственныхъ наблюденій надъ голодн...»

— А вотъ ужъ за это я не похваляю,—раздался голосъ. Я вздрогнулъ и оглянулся...

Другъ, подобравшись на цыпочкахъ, стоялъ за мною и, черезъ плечо мое, безцеремоннѣйшимъ манеромъ читалъ, что я пишу.

— Не похваляю!.. повторилъ онъ, не замѣчая моего удивленнаго и даже нѣсколько негодующаго взгляда,—голодь да голодь, неурожай да неурожай, безправіе, да поползновеніе... что у васъ, господа, болѣе веселыхъ темъ что ли нѣту?.. Ну-ка покажи, что ты тамъ дальше-то пишешь? Эхъ, не послѣди за вами...

И—пользуясь тѣмъ, что, въ изумленіи, я невольно приподнялся съ мѣста,—«другъ» безъ долгихъ околичностей юркнулъ, за спиною моею, на мой стулъ и, вооружившись карандашемъ, забралъ въ руки начатую рукопись...

«Обрушься на меня, ты, вѣковое зданье!»... Есть же, наконецъ, *modus in rebus!*

Я рѣшился—и позвонилъ. И, когда вошелъ мой слуга, я спросилъ его:

— Порфирій! нѣтъ ли у васъ по близости предмета потяжелѣе?

— Утюгъ или безмѣннъ-сь?

— Ударьте имъ—что есть у васъ силы—этого господина по темени, а, когда будутъ составлять протоколъ объ убійствѣ, покажите, что это сдѣлалъ я...

Только теперъ другъ мой, кажется, понялъ, что онъ мнѣ нѣсколько надоѣлъ и мѣшаетъ. Онъ всталъ, сдѣлалъ дружескій знакъ:

— Не беспокойтесь-моль идти за безмѣнномъ, Порфирій!

И, пославъ мнѣ воздушный поцѣлуй, расточился въ воздухъ, яко дымъ.

И послѣ всего вышесказаннаго — о чемъ же было мнѣ писать какъ не о друзьяхъ, чортъ возьми?!

1899.



# Железнодорожный разбой.



Старинный разбой на большихъ дорогахъ умеръ вмѣстѣ съ большими дорогами. Взамѣнъ, народился разбой на желѣзныхъ дорогахъ. То въ Одессѣ женщину прикололи въ купэ, то на нижегородской линіи изранили инженера. Съ послѣднимъ грабители попали впросакъ: думали взять 45.000 руб., которые инженеръ, дѣйствительно, получилъ въ этотъ самый день изъ банка, но сейчасъ же и перевелъ телеграфомъ въ другой банкъ; при немъ, въ купэ, было всего девяносто рублей; ими разбойники и воспользовались, за дешево проливъ кровь человѣческую. Грабителей было двое. Инженеръ лежалъ на подушкахъ, головою къ дверцѣ купэ. Одинъ разбойникъ отворилъ дверцу, а другой въ то же мгновеніе нанесъ ударъ кинжаломъ; раненый приподнялся было, но второй ударъ, съ затылка, свалилъ его замертво.

Лѣтъ семь-восемь тому назадъ, возвращаясь изъ-за границы, я разговорился въ поѣздѣ съ жандармскимъ офицеромъ, весьма любезнымъ и общительнымъ человѣкомъ. Не помню на какой станціи, — чуть ли не въ Петроковѣ, — онъ, взглянувъ въ окно, вдругъ возопилъ:

— Ахъ, бестіи!

И стремительно выбѣжалъ изъ вагона.

Я — къ окну: кого онъ тамъ увидалъ? кого побѣжалъ «ташшить и не пушшать»? Однако, вижу: никакихъ насильственныхъ дѣйствій спутникъ мой не проявляетъ, а только прогуливается по платформѣ, но съ какою-то особенною выразительностью, торжественно, словно на показъ прогуливается. Наблюдая далѣе, я замѣтилъ, что прогулка

жандарма почему-то совсѣмъ не нравится двумъ молодымъ людямъ, довольно изящно одѣтымъ, атлетическаго сложения. Они отошли къ лѣтнему буфету, выпили по кружкѣ пива и, несмотря на второй звонокъ, не спѣшили назадъ въ поѣздъ. Офицеръ, между тѣмъ, стоя на подножкѣ вагона, тихо говорилъ что-то станціонному жандарму, а тотъ держалъ руку подъ козырекъ. Послѣ третьяго звонка, спутникъ мой возвратился и усѣлся на мѣсто, веселый и довольный.

— Видѣли этихъ двухъ негодяевъ?— сказалъ онъ мнѣ,— запомните ихъ въ лицо. Если приведетъ случай встрѣтиться когда-нибудь въ вагонѣ, сейчасъ же переходите въ другой. Опаснѣйшее желѣзнодорожное жулье! Посмотрите, посмотрите: не сѣли въ поѣздъ, остались... ну, въ городѣ-то не напалать: я жандарма предупредилъ, за ними слѣдить будутъ.

— Отчего же, если они извѣстны въ лицо, вы просто не арестовали ихъ?

— На какомъ же основаніи? На нихъ только подозрѣній много, а они даже не судились ни разу. Паспорта у нихъ чистые. Слѣдить за ними я могу приказать, но арестовать—уже превышеніе власти: не оберешься потомъ хлопотъ. Да одинъ изъ нихъ, кажется, еще германскій подданный...

Въ другой разъ, на тереспольскомъ вокзалѣ, въ Варшавѣ, мѣстный старожилъ показалъ мнѣ очень любопытную группу «обывательской самозащиты». Пришелъ брестскій поѣздъ. Толпа пассажировъ, высыпавшихъ изъ вагона, запрудила платформу. Когда она похлынула немножко, изъ вагона третьяго класса вышелъ огромнаго роста молодой еврей.

— Ба!—сказалъ мой знакомый, замѣтивъ богатыря,— вы сейчасъ увидите интереснаго человѣка.

Слѣдомъ за молодымъ евреемъ показался дряхлый, согбенный старичокъ, почти пищенскаго вида, а за нимъ опять трехъ-аршинный молодецъ, съ плечами Самсона.

Вся эта троица шла по платформѣ весьма безопасно, будто бы—чужіе между собою, но старикъ все время держался въ серединѣ, а парни—одинъ—наискось слѣва, впереди, другой—точно также справа, позади,—глазъ съ него не спускали.

— Цадикъ что ли какой-нибудь?—спросилъ я знакомаго.

— Нѣтъ, но особа немалозначущая. Это—человѣкъ, который, если захочетъ,—завтра же въ Варшавѣ будетъ фунтъ мяса по рублю. Вамъ не рассказывали про тайный синдикатъ, управляющій нашимъ городскимъ продовольствіемъ?

— Говорили мнѣ, но я не вѣрилъ: слишкомъ ужъ сложная стачка.

— Нѣтъ, вы вѣрьте. Этоъ вотъ Маѳусаилъ—казначей ихній. Это онъ—по посадамъ за сборомъ ѣздилъ, векселя на деньги мѣнялъ. Вѣдь у нихъ, чтобы уликъ не было, не ведется никакихъ книгъ и записей: все—на память двухъ-трехъ воротилъ, да на вѣру вотъ этому старику. Дѣйствительно, честиѣйшій человѣкъ: стоитъ вѣры. Распотрошить сейчасъ его халатъ, такъ сотни тысячъ посыплутся.

— И не боится онъ ѣздить по желѣзнымъ дорогамъ? Вѣдь, у васъ тутъ идетъ, говорятъ, страшное воровство.

— Батюшка, чтобы его обокрасть, надо его вспоротъ: въ карманахъ у него грошика мѣднаго не найдется. А, чтобы его вспоротъ, надо, значить, силой напасть, что въ вагонѣ третьяго класса, биткомъ полною парода, не слишкомъ-то возможно. И, наконецъ, посмотрите, какихъ слоновъ онъ возить съ собою тѣлохранителями... Подковы ломаютъ, двугривенные въ трубу вьютъ. Уже охотились, говорятъ, на него наши промыслители, да отѣхали, не солоно хлебавъ, съ намятыми боками. Старикъ-то, хотя и сѣдъ, а больше притворяется развалиною: въ случаѣ надобности, и самъ еще поможетъ своимъ слонамъ сдачи дать.

Въ третій разъ, между Краковомъ и Львовомъ, въ наше



купэ влѣзъ какой-то неприглядный господинъ съ брильянтовой булавкою. Сидѣвшій насупротивъ меня австрійскій офицеръ покосился на него изъ-за «Neue Freie Presse», потомъ положилъ газету и, обратившись ко мнѣ, заговорилъ по-польски о томъ, какъ теперь много по желѣзнымъ дорогамъ расплодилось всякаго жулья:

— Воткнеть этакая дрянь себѣ брильянтовую булавку въ галстухъ, и лѣзеть въ первый классъ высматривать перстни, цѣпочки, не топырится ли карманъ отъ толстаго бумажника...

И пошелъ, и пошелъ. Я ждалъ скандала. Но брильянтовый господинъ только пошевелился слегка на мѣстѣ. А офицеръ не унимался.

— И всегда такіе господа въ брильянтахъ. Ловятъ дураковъ! Опытный то человекъ знаетъ, что—у кого въ дорогѣ брильянты въ галстухѣ, у того, пожалуй, и склянка съ хлороформомъ въ карманѣ.

Брильянтовый господинъ вынулъ сигару и спросилъ, ни къ кому не обращаясь:

— Позволено курить?

— Нѣтъ, — сказалъ офицеръ, — не позволено. Купить для некурящихъ.

Господинъ покорно вышелъ въ корридоръ и остался тамъ. Офицеръ засмѣялся ему вслѣдъ:

— Ага! Сбѣжалъ!.. И совсѣмъ ему курить не хотѣлось... Отъ меня удралъ.

— Вы ужь очень жестоки, — замѣтилъ я. — А вдругъ вы ошибаетесь, и это — порядочный человекъ?

Офицеръ даже обидѣлся.

— Этотъ-то — порядочный? Оставьте, пожалуйста! Я здѣшній уроженецъ, колешу по краю, изъ конца въ конецъ, по обязанностямъ службы, пятнадцатый годъ, пора мнѣ различать, который здѣсь человекъ — порядочный, который — мошенникъ.

Пришелъ кондукторъ. Увидавъ господина въ корридорѣ,

онъ выразилъ на румяномъ, пучеглазомъ лицѣ своемъ крайнее изумленіе совсѣмъ не восхищеннаго свойства. Черезъ нѣсколько минутъ между ними завязался крупный споръ, при чемъ кондукторъ кричалъ на пассажира, а тотъ вяло огрызался. На ближайшей станціи брильянтовый господинъ исчезъ. Доѣхалъ ли онъ до мѣста назначенія, или пересѣлъ въ другой вагонъ, не знаю.

— Что это за франтъ, съ которымъ вы бранились?— спросилъ офицеръ кондуктора.

Тотъ сердито махнулъ рукою и пробормоталъ:

— А, чортъ съ нимъ, канальею...

Офицеръ бросилъ на меня торжествующій взглядъ:

— Вы видите: я былъ правъ!

Ужасно много хищныхъ проходимцевъ скитается по Ривьерѣ. Ницца и Монте-Карло— очаги, вокругъ которыхъ они вьются. Я—одинъ изъ немногихъ русскихъ путешественниковъ, могущихъ похвалиться, что, побывавъ въ Монте-Карло, не оставилъ тамъ ни гроша, а, напротивъ, еще выигралъ 1,600 франковъ—и тутъ же забастовалъ навѣки, хотя какая-то изъ моихъ сосѣдокъ по игрѣ, французенка, совсѣмъ мнѣ незнакомая, увидавъ, что я передаю мѣсто, пустила за это вслѣдъ мнѣ ругательство, не совсѣмъ удобоповторимое и совсѣмъ не лестное для моихъ мозговъ. Люди въ Монте-Карло интереснѣе, чѣмъ деньги, и не столько при самой рулеткѣ, сколько тѣ, что копошатся въ ея окрестности, ловя крохи отъ стола ея. Боже мой, что за каторжная толпа! Не бывалъ я на Сахалинѣ, но думаю, что В. М. Дорошевичъ чувствовалъ себя лицомъ къ лицу съ какимъ-нибудь Полуляховымъ гораздо безопаснѣе, чѣмъ блуждая въ змѣиныхъ красотахъ земного рая, состоящаго на иждивеніи дьявола-рулетки. Для низменной, полуживотной, свирѣпой толпы, подонковъ общества, изобрѣтено много оскорбительныхъ названій, но никогда мнѣ не случалось видѣть людей, болѣе подходящихъ подъ старинное слово, которое лишь въ нашъ вѣкъ стало ругательствомъ, а прежде было просто классовымъ опредѣ-

леніемъ: «сволочь». Международная полуразбойни полунищенская шакалья стая, гдѣ каждый мужчина—л до случая не воръ и не убійца, гдѣ каждая женщина—л до покупателя не проститутка. Страшные элементы! И тоже все брильянтовые господа, въ сюртукахъ, надѣтъ подь манишечною декорацией, прямо на голое, грязное т

Люди, хорошо знакомые съ Монте-Карло и нрав Ривьеры, особенно предостерегаютъ противъ шулер разбѣзжающихъ въ поѣздахъ, обыкновенно, парочк Завязываютъ разговоръ, вкрадываются въ симпатію, не мѣнно бранятъ игру и рулетку, затѣмъ появляется отк то колода картъ:

— Ъхать еще долго... не переметнуться ли? Так шутки ради, чтобы убить время.

Банкъ заложень, а черезъ четверть часа жертва брана и воетъ:

— Раздѣли до гола. . Даже и для Монте-Карло грошика не оставили!

Между этими шулерами попадаются настоящіе Карт — не только съ ястребиными глазами, но и съ когт Улучивъ въ купѣ одинокаго пассажира, неподатливаг соблазны, они, безъ церемоніи, хватаютъ его за горло и бять по всѣмъ правиламъ печальной памяти больш дорогъ: *la bourse ou la vie!* Подобные случаи перѣдко вывали на свѣжую воду, а—сколько ихъ «замазано» руле нымъ правительствомъ, необычайно трусливымъ, когда обрѣтаютъ огласку скандалы, способные отпугнуть отъ М те-Карло иностранцевъ! Въ Миланѣ я познакомился молодымъ журналистомъ. Онъ игрокъ. Въ разговорѣ язвахъ Монте-Карло я сообщилъ ему, что на русск языкѣ есть очень сильная статья противъ рулетки Вас. Немпровича-Данченко, имя котораго въ Италіи популярно по многочисленнымъ переводамъ его стихотвореній и нѣк рыхъ романовъ.

— Есть памфлетъ Немпровича-Данченко противъ

летки?!— обрадовался журналистъ.— Ахъ, какое несчастье, что я не знаю по-русски!

— А что?

— Вотъ бы—перевести!.. Сразу можно стать богатымъ человѣкомъ!

— Какимъ образомъ?

— Самымъ чистымъ и непредосудительнымъ. Положимъ, вы поселились въ Ниццѣ и—выпустили брошюру Немировича на трехъ языкахъ: французскомъ, итальянскомъ, англійскомъ.

— Ну?

— Конечно, съ хорошею предварительною рекламою, съ портретомъ, со статьею объ авторѣ... Завтра же—ни одного экземпляра въ продажѣ, и вы печатаете новое изданіе.

— Неужели публика на Ривьерѣ такъ чутка къ печатному слову?

— Нѣтъ, публика не чутка, но администраторы рулетки чутки: они купятъ книгу. Жарьте затѣмъ изданіе за изданіемъ: ни одно не залежится. Ну, въ концѣ-концовъ, конечно, станеть не въ терпезъ, замолять о пощадѣ, придуть съ разными предложеніями.

— И вы?

— И я благородно прогону ихъ вонъ: какъ вы смѣли?! Я не торгую своимъ перомъ!.. Я велъ противъ васъ честную войну по убѣжденію, но, если вы осмѣливаетесь кричать, что я шантажистъ, заставляющій васъ скупать мою книгу, такъ вотъ же вамъ: я отказываюсь отъ дальнѣйшей репродукціи и завтра же продамъ право изданія кому угодно, хоть первому встрѣчному! Мнѣ надоѣло возиться съ вашими грязными исторіями...

— И дѣйствительно продадите?

— Конечно!.. Еще бы не продать? Завтра же явится ко мнѣ книгопродавецъ (журналистъ назвалъ мнѣ даже имя, но не вспомню сейчасъ, какое) и начнетъ торговаться, не продамъ ли я свои труды въ его собственность? Я заломлю

съ него 100,000 франковъ, онъ предложить 10,000, и на пятидесяти мы сойдемся... Я, передавая ему право, дамъ серьезнѣйшій совѣтъ, — не медлить дальнѣйшими изданіями, потому что книга какъ разъ въ ходу, и надо ковать желѣзо, пока горячо. Онъ душевно поблагодарить за товарищеское участіе и—аминь: памфлетъ какъ въ воду канулъ. Много они ихъ такъ скупили!

— Позвольте. Но зачѣмъ же вамъ для столь ловкой операціи нужны русскій языкъ и Немировичъ? Развѣ вы не можете добиться такихъ же результатовъ, написавъ свой собственный памфлетъ?

Журналистъ вздохнулъ:

— Имени у меня нѣтъ. Что имъ какой-нибудь Г—ни? Такъ, проигравшійся злецъ, неудачникъ. Кому онъ нуженъ? Ну, дать ему тысячу франковъ на голодные зубы, чтобы молчалъ, не лаялъ. А не захочетъ, — и чортъ съ нимъ... Но имени они боятся. О, имя — великое дѣло! Именемъ можно горы двигать. Вотъ если бы вашъ Толстой написалъ о рулеткѣ! — вдругъ вдохновился онъ, — Боже мой! да вѣдь это — миллионы!..

И такъ у него горѣли глаза, и судорожно сокращались пальцы, что я невольно отодвинулся, подумавъ:

— Однако, братъ, рулетка хороша, но тоже и тебѣ въ лапы попасть — не обрадуешься!

Между желѣзнодорожными пиратами попадаютъ удивительные ловкачи. Знаменитая Сонька Золотая Ручка еще у всѣхъ въ памяти. А вотъ что мнѣ рассказывалъ хорошій пріятель, недавно пріѣхавшій изъ Вѣны:

— Было насъ въ купѣ трое. Вдругъ входитъ четвертый — очень изящный, маленькаго роста, старичокъ, нѣмецъ, съ женскими манерами; въ рукахъ у него маленькій кожаный сачокъ. Онъ очень взволнованъ, руки трясутся.

— Простите, господа, — говоритъ онъ, — я попрошу позволенія пересѣсть къ вамъ изъ моего купѣ. Извиняюсь, что стѣсню васъ, но на послѣдней станціи ко мнѣ сѣли какія-то личности, невнушающія довѣрія... А я, къ несчастью,

везу съ собою крупную сумму денег... Я человекъ больной, слабый... со мною все могутъ сдѣлать.

Дали ему мѣсто. Пошли взглянуть: что за Ринальдо Ринальдини такіе забрались въ поѣздъ? Дѣйствительно, рожи сурьезныя: какъ Щедринъ, знаешь, говоритъ — «цыгане не цыгане, шулера не шулера — иностранцы какіе-то!» Словомъ: не то, что ночью въ лѣсу, а и среди бѣлаго дня, вдали отъ городского, встрѣтиться неприятно. А старичокъ дѣйствительно преболѣзненный. Едва усѣлся, какъ вынулъ шприцъ и сдѣлалъ себѣ морфійное или кокаинное впрыскиваніе. Хорошо. Ѣдемъ. Дѣло подъ вечеръ: въ окно туманъ лѣзетъ, вѣзмы съ болотъ. Старичокъ проситъ закрыть окно. Закрыли. Нѣкоторое время спустя, распространяется въ купѣ какая-то гнуснѣйшая вонь. Надо открыть окно. Старичокъ протестуетъ: сырость, ревматизмъ, лихорадки. — Лучше, говоритъ, позвольте мнѣ озонировать воздухъ нашего помѣщенія. Я всегда на таковой случай вожу съ собою пульверизаторъ... Но — только что онъ вытащилъ пульверизаторъ изъ своего сачка, — какъ одинъ изъ нашей компаніи, венгерецъ, здоровнѣйшій парень, молча, всталъ, взялъ старичка за шиворотъ и буквально выбросилъ его въ корридоръ вагона.

— Что вы дѣлаете? — завопили мы, — за что? какъ можно?

— А то, — говоритъ венгерецъ, — что иначе мы черезъ полчаса всѣ спали бы крѣпкимъ сномъ, а этотъ мошенникъ, съ каторжниками изъ того купѣ, очистили бы наши карманы. Эти пульверизаторы — штука извѣстная! Если я не правъ, то плутъ вломится въ амбицію и сдѣлаетъ исторію, а — если правъ, только мы его и видѣли... Пульверизаторъ! Съ какой стати, спрашиваю васъ, у порядочнаго человекъ въ дорогѣ будетъ съ собою пульверизаторъ?

— Но позвольте: у него, вообще, цѣлая аптека. Онъ что-то впрыскивалъ себѣ.

— А почему я знаю, что? Можетъ быть, какую-нибудь такую гадость, чтобы не заснуть вмѣстѣ съ нами отъ хлороформа.

\*

Всѣ эти милыя предположенія венгерецъ кричалъ во все горло. Ни старичокъ, ни его компаньоны не откликнулись ни звукомъ.

Должно быть, онъ былъ правъ: никакихъ послѣдствій его грубость не вызвала.

Все это—усовершенствованные виды желѣзнодорожнаго пиратства. Но наши азіатскія желѣзныя дороги подвергаются и самымъ первобытнымъ нападеніямъ. Въ Томскѣ мнѣ показывали хромого кондуктора. Онъ сопровождалъ поѣздъ, шедшій со скоростью... восьми верстъ въ часъ. Таѣжники бросились на послѣдній вагонъ, въ надеждѣ вспрыгнуть на конечную площадку, и оттуда ворваться въ поѣздъ. Къ счастью, на площадкѣ стоялъ кондукторъ. Не имѣя никакого оружія, онъ отбивался отъ бѣгущихъ за поѣздомъ разбойниковъ ногами, а тѣ изловчались рубнуть его топоромъ. Наконецъ, взявъ закругленія, поѣздъ прибавилъ ходу и таежная шайка отстала. У кондуктора оказалась обрублена пятка на лѣвой ногѣ. За спасеніе поѣзда его наградили что-то очень щедро: кажется, разорились чуть ли не на всѣ десять рублей. Съ тѣхъ поръ дозволено было кондукторамъ сибирской желѣзной дороги вооружиться револьверами, чего ранѣе, несмотря на множество нападеній, упорно не разрѣшали. Очевидно, случай съ кондукторской пяткой доказалъ, что, какъ человѣкъ ни брыкливъ, а отъ топора не отбрыкаешься!.. Въ Закавказьи поѣзда ходятъ хорошо, но въ еще недавнее время быстрота не спасала отъ грабителей. Закутавъ головы башлыкомъ, привычные къ джигитовкѣ, горцы съ полнымъ успѣхомъ опускались на крыши вагоновъ съ низко висящихъ надъ путемъ, скалъ или вскакивали на подножки, пробѣгали поѣздъ, хватали, что подъ руку попало, и—исчезали такъ же волшебю, какъ появлялись. Иногда этими продѣлками забавлялся даже не организованный разбой, а такъ—хищническое дикое дурачество, удали ради. •

1900.



Среди ликующихъ.



STANFORD LIBRARY

## I.

### Аркадійское пожарище.

«Грудой пепла сталь Пергамъ!»

О, «Аркадія»! бѣдная, уничтоженная, стертая въ пухъ и прахъ «Аркадія»! Тебя нѣтъ болѣе, и все, что было въ тебѣ пріятнаго, исчезло вмѣстѣ съ тобою!

Намъ, людямъ среднихъ лѣтъ, аркадійское горе — не горе, но я встрѣчаю старцевъ, убѣленныхъ сѣдинами, украшенныхъ розовыми лысынами со лба, что, говорятъ, происходитъ отъ ума, и значительными плѣщинами съ затылка, что является уже результатомъ любострастія. Старцевъ въ чинахъ, въ многотысячныхъ окладахъ, въ лондонскихъ сьютахъ, съ розочкой или орхидеей въ петличкѣ, и въ парижскихъ галстукахъ. Они плачутъ, бѣдные старцы, — плачутъ почти столько же горестно, какъ самъ владѣлецъ «Аркадіи», Поляковъ, а иные еще горше. Что потерялъ Поляковъ? что у него сгорѣло? Зданіе. Дерево. Балки и бревна. Поляковъ получить страховую премію и выстроить новое зданіе, изъ новаго дерева, съ новыми балками и бревнами. Но — ахъ! того, что потеряли въ сгорѣвшей «Аркадіи» петербургскіе старцы, уже не воротить и не выстроить снова. Сгорѣло воспоминаніе: какое общество страхуетъ воспоминанія? Сгорѣло эхо прошлаго: какое общество выдаетъ премію за утрату и онѣмѣніе искони привычнаго эха?

« Аркадія »!.. Сорокъ балетно - опереточныхъ вѣковъ смотрѣло на Петербургъ съ макушки этой гнилой, трухлявой пирамиды. О, мысль моя! расточись по сему погорѣлому древу и ущекоти не послѣднія времена его, когда оно отравилось демократическимъ ядомъ, и сталъ обитать и посѣщать его сѣрый средній обыватель, охочій купить на грошъ пятака, но тѣ славные годы, когда пышнымъ цвѣтомъ распускался подъ сѣнью его петербургскій папильонажъ, когда на сценѣ « Аркадія » порхали « великія » итальянскія балерины, а за кулисами дѣйствительные статскіе и тайные совѣтники, и мудрено сказать съ рѣшительностью, кто порхалъ болѣе очаровательно.

— Гдѣ дѣвки?

— Замужъ выскакали.

— Гдѣ мужья?

— Померли.

— Гдѣ гробы?

— Черви съѣли.

— Гдѣ черви?

— Въ землю ушли.

Эта унылая русская присказка неволью вспоминается мнѣ, когда я обращаю считающій перстъ на порѣдѣвшіе ряды бывшихъ аркадійскихъ *habitués*, отличавшихся отъ аркадскихъ пастушковъ лишь тѣмъ, что, по недоразумѣнію судьбы, они, вмѣсто провиденціального назначенія своего пасти овецекъ, управляли департаментами и водили въ сраженія войска. Отъ этого въ департаментахъ часто приключалось много бараньяго, а тамъ, во глубинѣ Россіи, у настоящихъ аркадскихъ пастушковъ, мужиками именуемыхъ, шла съ молотка послѣдняя овечка. Но маленькія непріятности не должны мѣшать большому удовольствію, сказалъ мудрецъ. Удовольствіе же было большое, и много его было.

Да! оскудѣлъ петербургскій « папильонажъ »! Тайные папильоны добраго, стараго аркадійскаго времени частію

впрямъ уже «въ землю ушли». Частію вышли въ такіе саны и степени, что изъ папильоновъ явныхъ должны были превратиться въ папильоновъ потаенныхъ, папильонствуя уже безъ «книжки» (*honnuy soit qui mal у pense!* я разумѣю: або-нементной, конечно) и лишь въ тиши собственныхъ квартиръ и укромно устроенныхъ уголковъ любви, — «эмуаровъ», какъ сочинили теперь словцо парижане, — впрочемъ кажется, больше изъ Нижняго Новгорода. Нѣкоторые, наконецъ, вмѣстѣ съ санями и степенями, удостоились воспріять въ сердца свои духа лицемѣрія и любоначалія. И сей нечистый, когда папильонъ раскаявшійся встрѣчается съ папильономъ нераскаяннымъ, обязательно читаетъ послѣд- нему, устами перваго, моральную нотацію;

Нѣтъ, я не знаю  
Тебя, старикъ. Пора-бъ тебѣ усердно  
Замаливать грѣхи свои: сѣдивы  
Шутамъ—забавникамъ нейдутъ. Да, снился  
Мнѣ долго человекъ, такой же старый,  
Въ конецъ испорченный, какъ ты, распухшій  
Отъ пьянства и разврата, но проснулся  
Я, къ счастію, и сномъ своимъ гнушаюсь...

— Знаете ли; — благосклонно говорилъ мнѣ однажды нѣкто «великій міра сего», — кто долженъ стать Генрихомъ V, тому нелишнее перебѣситься, въ качествѣ принца Гарри, но кто уже сталъ Генрихомъ V, тому надо умѣть позабыть, что онъ былъ принцемъ Гарри... Эти Фальстафы, Пойнсы, мистриссъ Куикли... фи!

И, получивъ такой неожиданный репримандъ, долго смотритъ нераскаянный папильонъ-Фальстафъ вслѣдъ финансовому, путейскому, инженерному, желѣзнодорожному Генриху V, насвистывая про себя, въ состояніи полнаго ошеломленія, многозначительный мотивчикъ Оффенбаха:

Въ нашъ вѣкъ повальной свистопляски,  
Ногами вверхъ, внизъ головой,  
Гуляетъ чортъ въ святѣйшей маскѣ  
И шутъ въ ливреѣ дѣловой...

Посуди! посуди!  
Что же будетъ впереди?!

Такъ измерли, «погибоша, яко обрѣ», тайные папильоны былой «Аркадія». Что касается дѣйствительныхъ статскихъ, съ ними произошла самая простая эволюціонная метаморфоза: они выслужились въ тайные и не утративъ чрезъ то принципіальнаго папильонства, потеряли въ немъ практическую рѣзвость, ибо подагра—не тетка, и геморой—не родимый братъ. Новымъ же притокомъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ кадры папильоновъ освѣжаются слабо, такъ какъ—на что уже татары въ ресторанахъ, а и тѣ нынѣ, махнувъ рукою, разговариваютъ:

— Совсѣмъ теперь ничего не стоящій совѣтникъ пошелъ! Котлету ѣсть! Какой это совѣтникъ?!

У прежняго совѣтника нутро веселилось и селезенка ёкала. Сидитъ въ «Аркадія»—самъ уфимскую землю, либо концессионный куртажъ перевариваетъ, середка у него сыта, ну, и краешки играютъ. Пялитъ глаза на дѣвицу Бріанцу, губами жуетъ и думаетъ:

— Однако, и пятки!.. Безпремѣнно надобно ей завтра, въ поощреніе таланта, брильянтовое кольцо послать.

А нынѣшній совѣтникъ поджаростью и онколемъ удрученъ. Онколь онъ, а не совѣтникъ. Смотришь ему въ глаза и читаешь единую мысль:

— Аще бы ималь чесо ограбити, облупихъ бы оное яко фруктъ-апельсинъ. Но, понеже все, елико бяшетъ въ Руссіи граибельнаго, ограбаху предшественници наши, того ради мужъ нарочито честенъ явился есмь, плясавицы же и бахари яко блудницы и тати числю! А, впрочемъ, если на чужой счетъ, то—съ превеликимъ нашимъ удовольствіемъ.

Боже! Боже!... Гдѣ теперь они, всѣ эти милые, сытые, весело-чреватые люди, съ наивною похотью въ ансьенъ-режимныхъ умахъ, съ дивною способностью цапать направо и налево куши, казенными окладами непредвидѣнные, и еще съ большею приспособленностью быстро переваривать эти, по акульему схваченные и проглоченные

куши? «Дѣды! помню васъ и я», какъ пѣлъ Денисъ Давыдовъ, упражняющихся, будто не вѣсть какимъ серьезнымъ дѣломъ, спорами о превосходствѣ Цукки надъ Бріанцою, Лимидо надъ Дель-Эрою; состязающихся въ брильянтовыхъ подношеніяхъ симъ «кумірамъ»; безжалостно запустившихъ и засорившихъ дѣла во вѣрренныхъ вамъ вѣдомствахъ, ибо некогда было вамъ ими заниматься: надо было вести чуть не научную полемику о поэзіи въ спяніѣ Цукки, о стальномъ носкѣ Дель-Эры, о штучкахъ Лимидо. Когда вышла въ свѣтъ книга г. Плещеева «Нашъ балетъ», о ней было много рецензій, но лишь одна—въ дальнемъ «Уралѣ» или «Рудокопѣ»—выразила съ полною силою все ея общественное значеніе. Книга «Нашъ балетъ», гласила эта рецензія, собственно говоря, по содержанію своему, конечно, не подлежитъ разбору въ нашемъ изданіи, какъ въ органѣ горнопромышленномъ. Но, къ удивленію нашему, именно въ этой книгѣ мы нашли ключъ къ пониманію многихъ недостатковъ и пробѣловъ въ нашемъ горномъ дѣлѣ, создавшихся при вліяніи на оное, въ званіи директора горнаго департамента, К. А. Скальковскаго и минералога И. А. К—ова. Ибо книга «Нашъ балетъ», полная именами этихъ просвѣщенныхъ покровителей хореографическаго искусства, по крайней мѣрѣ, открыла намъ, на что употребляли почтенные саповники драгоценное время, котораго имъ такъ не хватало для вниманія къ нуждамъ горной промышленности.

О, дивныя аркадійскія тѣни!.. Вотъ—Джіованина Лимидо, о которой кто-то изъ восторженныхъ папильоновъ выразился, что она «ногами дѣлаетъ рулады и пируэттами поетъ». На нашъ грубый взглядъ молодыхъ профановъ, это была просто безобразная старуха, весьма быстро болтавшая, въ тактъ скверной музыки, руками и ногами, но папильоны зрѣли въ ней «какую-то эссенцію хореографическаго классицизма, облеченнаго при этомъ въ благородную, эстетическую форму». Курьезный анекдотъ сохра-

нился объ этой Лимидо. Балетоманъ Похвисневъ написалъ для нея восьмистишіе, которое знаменитая балерина должна была, подъ его начитываніе, заучить наизусть и сказать публикѣ. Пять дней она учила стихи подъ руководствомъ автора, но толку не добилаься. Это для нея было труднѣе, нежели дойти до Милана на пуантахъ, говорить «Нашъ Балеть». Чье положеніе въ анекдотѣ этомъ глупѣе—бѣдной ли, безпамятной Лимидо, неспособной зазубрить восемь любительскихъ стишковъ, или папильона въ чинахъ, убившаго пять дней жизни на столь производительное занятіе, какъ внушеніе русскихъ стиховъ итальянской танцовщицѣ, — дилемма, даже не требующая разрѣшенія: папильонъ побилъ рекордъ.

Похвисневъ, Гриневъ, Базилевскій — странные, комическіе призраки недавняго прошлаго, когда пріѣздъ какой-нибудь Бріанцы или Бессонэ въ Аркадію или Ливадію заставлялъ многихъ изъ балетомановъ, собиравшихся кто за границу, кто въ деревню, оставаться лѣтовать на берегахъ Большой Невки; когда, отъ танцевъ Цукки въ «Эсмеральдѣ», по классической фразѣ Похвиснева, «плакали не только въ ложахъ, но и въ партерѣ»; когда одинъ толстый балетоманъ едва не умеръ отъ удара, прочитавъ дерзкое стихотвореніе противъ итальянскихъ балеринъ, написанное С. А. Андреевскимъ; когда газетно состязались виконты Кабриюли д'Антрша съ Генералами отъ Терпсихоры; когда беллетристъ Бѣжецкій, слѣдуя модѣ, писалъ баллады въ честь Антоніэтты Дель Эры, — тоже одной изъ великихъ аркадійскихъ тѣней; когда, за многотысячными ужинами, оплаченными по большей части Базилевскимъ, этою «золотою овцою моего брата Кая», пили изъ потныхъ башмаковъ танцовщицъ, придавая себѣ аппетиту дурацкими виршами,—въ родѣ слѣдующихъ, которыя заучивались балетоманами наизусть, какъ верхъ поэтическаго остроумія:

Пью, подняявъ бокаль Моэта,  
Послѣ чуднаго жиго,

За красавицу балета  
Въ роли славной «Камарго».  
И въ адажіо узорномъ  
Наша дива, въ новомъ рас,  
Исполненіемъ проворнымъ  
Поддержала Петипа!

Милая папильонная Аркадія! Въ ней были свои идеалы, своя исторія, своя пресса, своя этика... Помню, какъ я, неопытный, впервые знакомящійся съ Петербургомъ, молодой журналистъ, за однимъ обѣдомъ, въ средѣ аркадійскихъ папильоновъ, — не изъ самыхъ знаменитыхъ! — непочтительно выразился о какой-то французской звѣздѣ, поминая которую въ разговорѣ, они даже голосъ понижали, вящаго благоговѣнія ради. Папильоны уставились на меня, кто съ сожалѣніемъ, кто съ презрѣніемъ, кто съ ужасомъ: и не пожретъ же, дескать, земля такого кощуна и святотатца!.. А, когда общество разошлось, мой въ немъ случайный Виргилій, старый, длинный, худой адвокатъ, въ жидкой сѣдинѣ, принялся отчитывать меня за мою выходку, и я впервые видѣлъ этого спокойнаго, выдержаннаго человека почти взбѣшеннымъ.

— Да что я сказалъ особеннаго? — оправдывался я, — почему ваша Н. заслуживаетъ большаго почтенія, чѣмъ другія французенки? Такая же кокотка, какъ и всѣ.

Виргилій внезапно налился кровью и смѣнилъ свой замогильный шопоть на пронзительный визгъ:

— Кокотка-съ? кокотка-съ? — вопіялъ онъ, — нѣтъ-съ! не кокотка! у нея однихъ брильянтовъ на двѣсти тысячъ франковъ, — вотъ-съ какая она кокотка! У нея состояніе-съ, у нея средства-съ, а не пишь съ масломъ, какъ у нѣкоторыхъ-съ...

— Да вѣдь брильянты-то эти и состояніе, все-таки, кокотнаго дѣла мастерствомъ же нажиты, и до сихъ поръ приумножаются тѣмъ же самымъ способомъ? Не вы ли сами говорили мнѣ, что она обобрала за этотъ сезонъ такого-то, такого-то и такого-то...



— Говорилъ. Такъ что же изъ этого?

— То, что я правъ: кокоткою она была — кокотка и есть.

Папильонъ махнулъ рукою:

— Нечего съ вами и говорить. Никогда въ этой граници не поймете.

— Какой?

— А вотъ—гдѣ кончается кокотка, съ которою порядочному человѣку неудобно раскланяться при обществѣ, и гдѣ начинается женщина, хотя и доступной нравственности, но съ которою вы обязаны раскланяться даже при своей женѣ, сестрѣ, матери. Нѣтъ, вы, пожалуйста, не называйте въ другой разъ N. кокоткою. Неприятности себѣ наживете и смѣшнымъ станете. Это очень, очень порядочная и уважаемая личность. Помилуйте! брильянтовъ на 200,000 франковъ! вилла на Ривьерѣ! шато подъ Парижемъ! А вы: «кочотка»!

А пресса аркадiйская? Эта удивительная, фантастическая пресса, тоже дѣлившаяся на большую и малую и имѣвшая свои анкраморскiя битвы, ведя которыя, воюющiя стороны взимали контрибуци и съ праваго, и съ виноваго? Къ чести петербургской печати, въ аркадiйской прессѣ почти не было журналистовъ *rig sang*; ее составляли странные сюжеты, «владѣющiе перомъ», но промысломъ своимъ избравшiе околачиваться при какомъ-нибудь властномъ учрежденiи, крупномъ коммерческомъ дѣлѣ или тароватомъ богачѣ. Имѣя громкiе, но голодные титулы и эффектное, но призрачное положенiе, они завязывали связи съ настоящею прессою, тискали кое гдѣ кое-какiя статейки и, когда начальникъ или благодѣтель говорилъ:

— Устрой, пожалуйста, братецъ, чтобы «упомѣстить» эту штуку...

Братецъ летѣлъ по редакциямъ и, найдя податливую, «упомѣщаль».

Были между этими балетно-папильонно-чиново-

мздоимно-газетными фэзёрами субъекты, ухитрявшіеся балансировать между печатью и самыми удивительными вѣдомствами. Одинъ, напр., дѣйствительный статскій папильонъ вѣдомства «для чтенія въ сердцахъ» втирался въ редакціи, какъ соглядатай, тонко давалъ понять издателямъ свое тайное значеніе и, играя на сей грозной струнѣ, извлекалъ изъ того немалыя выгоды и почести. Въ редакціяхъ его считали полицейскимъ, а въ полиціи литераторомъ. Другой, уже тайный папильонъ, кажется, нигдѣ, никогда, ничего не писалъ и не печаталъ, но на его обязанности лежало вырѣзывать изъ газетъ интереснѣйшія свѣдѣнія и статьи для отправленія на прочтеніе одному весьма высокопоставленному лицу. Этой странной и, казалось бы, невинной на первый взглядъ, должности было достаточно, чтобы старецъ, получавшій по службѣ что-то тысячи полторы, жилъ тысячу на двадцать въ годъ, въ компаніи первыхъ виверовъ и прожигателей жизни «веселящагося Петербурга», да еще безъ счета должалъ. Умеръ онъ, конечно, нищимъ.

Старецъ любилъ угоститься на чужой счетъ, почему душа въ душу жилъ съ остальною «аркадійскою прессою». Вотъ приходитъ онъ какъ-то разъ въ Аркадію и, съ изумленіемъ, видитъ, что изъ «аркадійской прессы» нѣтъ въ саду ни одного человѣка. Бѣжитъ Поляковъ:

— Честь имѣю кланяться, ваше превосходительство!

— Э-э-э... скажите, любезнѣйшій: гдѣ же, однако, всѣ наши? Пустота у васъ сегодня какая-то... э-э-э...

— Всѣ тутъ-съ, ваше превосходительство; въ павильонѣ сидятъ-съ.

— Э э-э... почему же, однако, въ павильонѣ?

— Агентъ-съ изъ-за границы прибылъ, новую марку шампанскаго въ Петербургѣ распространяетъ, — такъ вотъ-съ просилъ меня, чтобы я предложилъ господамъ «габитюямъ» ознакомиться.

— Э-э-э... даромъ?

— Какъ же иначе-съ?

— Новая марка, говорите вы, любезнѣйшій? Э-э-э... знаете, это очень интересно! Э-э-э... это очень, очень интересно!.. Э-э-э... знаете? проводите-ка меня въ этотъ—какъ его?—павильонъ! Я вѣдь знатокъ Я... э-э-э... тоже попробую...

— Милости просимъ, ваше превосходительство.

Пришли въ павильонъ. Тамъ—«не стая вороновъ слеталась»: цѣлое засѣданіе «полупочтенныхъ» папильоннаго званія. Между ними—юркій французъ *commis voyageur* благороднѣйшаго типа. На столѣ шампанскія бутылки и множество стакановъ. Сидятъ мудрецы и смакують.

— М-м-м... что-жъ, недурно! очень недурно!

— Съ игрой!

— Сладковато какъ будто, — замѣчаетъ кто-то.

— Да, вѣдь, какъ его разобрать, господа, э э-э... — вставляетъ мудрое слово только что пришедшій старецъ, — вѣдь мы его пьемъ... э-э-э... такъ сказать, внѣ пространства и времени... Вотъ, если бы его сравнить съ другими марками, болѣе намъ привычными... э-э-э...

— Какую марку вы предпочитаете? — безстрастно спрашиваетъ великолѣпный коммивояжеръ.

— Я? Э-э-э... Моэть! Этотъ чудный моэть, царь наптковъ!..

— Человѣкъ! принеси двѣ бутылки моэту!

— А я вотъ, — заявляетъ другой полупочтенный, — моэту въ ротъ взять не могу, одно *rommeu sec* пью. А въ нашемъ шампанскомъ, по моему, только тотъ и есть недостатокъ, что оно на моэть похоже...

— Человѣкъ! принеси двѣ бутылки *rommeu sec*.

По заявленію остальныхъ полупочтенныхъ, послѣдовало:

— Человѣкъ! принеси двѣ бутылки ай!

— Человѣкъ! принеси двѣ бутылки уайтъ старъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Компанія видитъ предстоить питва лютая и безмѣрная.

— Что же такъ пить-то? — раздаются голоса, — на тошакъ, развѣ можно разсмаковать шампанское? Сперва слѣдуетъ закусить, съѣсть мяса кусокъ, дичи что ли — тогда совсѣмъ другой вкусъ...

— Человѣкъ! карточку! Господа! прошу васъ, что кому угодно.

— А я вотъ, — хрипять одинъ толстякъ, — шампанское только при хорошей сигарѣ люблю... только тогда меня на счетъ его совершенствъ и осѣняетъ...

— Человѣкъ! сигары! неси самыя лучшія...

И пошла писать губернія!

Тихо туманное утро въ столицѣ...

Старецъ и другой полупочтенный, качаясь, ѣдутъ въ коляскѣ черезъ разводной мостъ и лопочутъ заплетающимися языками:

— Однако... э-э-э... это даже жестоко, какъ мы... э-э-э... этого француза опили, объѣли... э-э-э... вѣдь счетъ... э-э-э... сотни въ четыре, не менѣе.

— Выручить свое! — отвѣчаетъ полупочтенный, — нужна же ему, капальѣ, реклама: долженъ заботиться о publicit !

— Да, да... надо будетъ устроить ему хорошую publicit : премилый малый... э-э-э...

— Ну, что ты врешь? — перебиваетъ откровенный спутникъ, — какъ это ты ему устроишь? Гдѣ у насъ газеты, которыя новыя марки шампанскаго станутъ рекламировать? Самая поганая, и та за униженіе почтеть... Поживились около парня — и будетъ! Вотъ и все.

— Э-э-э... какъ ты грубъ, мой милый! А, впрочемъ... э-э-э... я радъ, что, по крайней мѣрѣ, Поляковъ торговать хорошо...

Проходитъ дня два. У старца опять засосало подъ ложечкою по даровой выпивкѣ, и ноги сами понесли его въ «Аркадію» — не безъ расчета: не встрѣтитъ ли тамъ опять доброхотнаго француза?.. У самага входа въ садъ встрѣ-

чаетъ Полякова—мрачнаго, хмураго: едва кланяется, еле глядитъ...

— Э-э-э... что это вы, любезнѣйшій, какъ туча? А? э э-э...

— Не съ чего радостнымъ то быть, ваше превосходительство. Одни убытки!

— Наши здѣсь?

— Никакъ нѣтъ, съ того самаго вечера глазъ не кажутъ, ваше превосходительство. Чего имъ!

— Ну, а французъ этотъ, скажите... э-э-э... его въ саду нѣту... случайно, э-э-э?

— Французъ-то? — воскликнулъ Поляковъ, и глаза его засверкали, — французъ?.. Французъ этотъ, ваше превосходительство, *дошлѣ всѣхъ*, прохвость, оказался. Требоваль того-этого, натребоваль чуть не на тысячу рублей, а, какъ счетъ подали, вышелъ изъ павильона, будто бы по нужному дѣлу, — да и расталь во воздухѣ... ищи-свищи!.. На квартиру къ нему посылалъ, — анъ, адресъ фальшивый: никогда тамъ такого и не было.

— Скажите! — изумился старецъ, — слѣдовательно, этотъ французъ былъ жуликъ?

— Жуликъ, ваше превосходительство, истинный жуликъ! Плакали мои денежки.

Покачалъ старецъ головою и сказалъ съ презрѣніемъ:

— Сколько, однако, къ вамъ въ садъ жуликовъ ходить! Просто бывать неприятно... Э-э-э... вы бы того, приняли мѣры... А то — угощаетъ шампанскимъ, сидишь съ нимъ, пьешь и вдругъ... э-э-э... жуликъ! Не хорошо!

То—старина, то и дѣяніе!

1900.



## II.

### Томленіе духа.

(Начало повѣсти).

Онъ вошелъ ко мнѣ въ столовую, грузный, скучный, блѣдный, вялый, угрюмо проворчалъ «здравствуй» и тяжело опустился рядомъ со мною на диванъ.

— Здравствуй, — сказала и я. — Лицо-то! лицо! Въ семи душахъ, что ли, пришелъ виниться? Что-жь, — время выбрано довольно удачно: прощенное воскресенье. По всей Россіи люди кланяются другъ другу въ ноги, да просятъ, — не взыщи, коли чѣмъ обидѣлъ...

— Прощеное воскресенье завтра, — сердито буркнулъ онъ, — а сегодня покуда только суббота, и, стало быть, до поклоновъ въ ноги остаются еще цѣлыя сутки. Это первое. А второе: не въ чемъ мнѣ ни передъ кѣмъ виниться, ибо никто мною не обиженъ. Напротивъ, я самъ чувствую себя обиженнымъ.

— Кѣмъ, душа моя?

— Всѣми!

— Ого! Это много.

— И всѣми! Всею совокупностью своего существованія.

— Это еще больше.

Мы помолчали.

— Ты эти дни... какъ? — началъ я съ осторожностью.

\*

— То-есть?

— Пиль?

— Разумѣтся, пиль, — отвѣтилъ онъ раздражительно и даже какъ бы съ нѣкоторымъ противъ меня негодованіемъ.

— Ага!

Опять замолчали. Часы стучать. Два сонныхъ сеньбернара храпятъ. Тихо. Меня ко сну клонить стало.

— Пиль ли я?! — заговорилъ онъ, — какъ же бы я не пиль, позволь тебя спросить? Говорю тебѣ: по всему своему существу обиженъ. Нѣсть веселія въ естествѣ моемъ, ниже нравственнаго удовлетворенія и равновѣсія, и токмо огонь жидкій, алкоголемъ именуемый, можетъ привести меня въ состояніе, въ коемъ я себѣ не противенъ, а человѣкамъ не утомителенъ... Посему, — если ты мнѣ другъ и порядочный человѣкъ, — пошли за бутылкою шампанскаго.

— Фюить! — свистнулъ я ему въ отвѣтъ.

Онъ, съ изумленіемъ, широко раскрылъ глаза:

— Неужели... умаленіе денежныхъ знаковъ?

— Поляѣйшее.

— Отчего? Вѣдь ты на биржѣ не играешь?

— А чортъ его знаетъ, отчего. Развѣ въ Петербургѣ человѣкъ знаетъ, отчего у него дѣлается умаленіе денежныхъ знаковъ? У однихъ — оттого, что на биржѣ играютъ; у другихъ — оттого, что на биржѣ не играютъ. А результатъ-то одинъ: денежные знаки — ау! гдѣ вы?

— Говорять, на востокъ ушли, — задумчиво произнесъ онъ.

— Это, братъ, который годъ говорятъ: радости-то въ томъ, однако, мало. Ушли! ушли! А коли ушли, такъ пора бы имъ и назадъ придти. А то — ушли, да и застряли тамъ, на востокѣ-то. Восточные путешественники какіе! Подумаешь, денежный знакъ — это Пржевальскій или Свенъ-Гединъ...

Я всталъ, открылъ буфетъ, освидѣтельствовалъ его содержимое и предложилъ:

— Краснаго вина хочешь?

Онъ мрачно возразилъ:

— Нѣтъ.

— Не любишь?

— Напротивъ, очень люблю. Но не пью по принципу.

— По какому это?

— А по такому, что когда поселился я, десять лѣтъ тому назадъ, въ Петербургъ, ищушимъ легкихъ занятій и свободныхъ денегъ, юнцомъ, то покойный дяденька мой и покровитель, Артуръ Николаевичъ Стопъ-Машина далъ мнѣ мудрый совѣтъ и урокъ: если ты хочешь преуспѣть въ Петербургѣ, никогда не бывай во второстепенныхъ ресторанахъ и не пей вина ниже десяти рублей за бутылку. Дяденька былъ человекъ умный, опытный и зналъ жизнь. Правда, когда онъ умеръ въ прошломъ году, мнѣ пришлось ссудить свои собственные штаны, чтобы прилично одѣть его въ гробъ, но правоученіе его пошло мнѣ впрокъ и оказалось очень дѣльнымъ. Но я вижу: вонъ тамъ—на полкѣ—стоитъ у тебя коньякъ и, кажется, недурной. Коньяки—исключеніе изъ правила. Тащи его сюда: я буду пить и разговаривать. Ибо я въ ударѣ... въ стихѣ разговаривать!

Онъ влилъ въ себя, одну за другою, три рюмки, повеселѣлъ, покраснѣлъ и сталъ краснорѣчивъ:

— Да! Дяденька мой былъ человекъ очень умный. Это ничего, что его въ чужихъ штанахъ хоронили. Штаны предъ вѣчностью—тьфу! Можетъ быть, тамъ оно еще и лучше—въ чужихъ штанахъ-то. Собственными же онъ—вотъ уже и не разберу, почему не могъ обзавестись: не то ему времени не хватило, не то средствъ не было...

— Какъ—средствъ не было? Да вѣдь онъ тысячахъ въ пятнадцати дохода считался?

Онъ выпятилъ презрительно губу и сказалъ:

— Ну?

— Сумма солидная



Губа выпятилась еще презрительнѣе.

— Ну?

— Получая пятнадцать тысячъ доходу въ годъ, можно бы, кажется, умереть и въ своихъ собственныхъ штанахъ.

Онъ проглотилъ еще рюмку коньяку и повалился на диванъ, закрывъ глаза.

— Доходъ! доходъ! — мрачно заговорилъ онъ, качая головою отъ плеча къ плечу, — не глупымъ ты человѣкомъ считаешься, а вѣришь въ такіе нелѣпные мнѣя, какъ доходъ... въ городъ Петербургъ!

— Да отчего же нѣтъ?

— Отчего?.. — онъ саркастически осклабился, — скажи мнѣ, любезный другъ: ты много получаешь?

— Много.

— Такъ Цифрою точно интересоваться не смѣю, да оно и не принято, неприлично. Однако, другъ мой, я вотъ сейчасъ изъявилъ желаніе выпить на твой счетъ бутылку шампанскаго, и ты, который — я твердо увѣренъ — очень радъ былъ бы угостить меня и раздѣлить ее со мною, могъ, въ отвѣтъ, только испустить унылое — «фюить»...

— Видишь ли...

— Вижу, мой другъ! вижу! не конфузюсь! сами стрѣляные... Скажу тебѣ больше: я убѣжденъ, что засталъ тебя этакъ — валяющимся по дивану, и повидимому въ изрядной простраціи, — отнюдь не проста, и что мысль твоя совсѣмъ не весело витаетъ въ области «операций съ векселящимъ газомъ»...

— Векселящій газъ — это недурно.

— Хотя и не ново. Какой-нибудь запутавшійся юнецъ выдумалъ. Потому — иронія есть, Galgenhumor этакій!... Ну, вотъ. А я тебѣ на все сіе прибавлю: получаю я гораздо больше тебя, столько получаю, сколько вашему брату, литератору, и не снилось никогда, и, за всѣмъ тѣмъ, я искренно счастливъ, что мой камердинеръ человѣкъ съ деньгами, и я могу приказать ему расходъ въ пять, въ

десять рублей, не лазая за ними въ собственный жилетный карманъ... что, весьма часто, было бы совершенно бесполезно. Да-съ. Вотъ тебѣ и доходъ.

— Живешь, что ли, ужъ очень широко?— усомнился я. Опъ даже обидѣлся.

— Душа моя! какъ будто ты не знаешь моей жизни? Живу, какъ всѣ,—ничего особеннаго. Дикихъ прихотей и бѣшеныхъ эксцессовъ себѣ не позволяю. Лошадей напимаю, француженокъ на содержаніи никогда не имѣть...

— А пьешь?..

— Полно, пожалуйста. Что значить—«пью»? Много ли стоитъ мнѣ, сравнительно съ моимъ заработкомъ, пить? И, наконецъ, главное: развѣ мнѣ можно не пить? Это входитъ въ составъ моей профессіи, моего производства.

Я подумаль и сказалъ:

— Пожалуй, что и такъ.

— Не пожалуй, а именно такъ. Когда дядюшка Артуръ Николаевичъ впервые привезъ меня, мальчишку, въ шикарный французскій ресторанъ, въ общество тузовъ-капиталистовъ, лежало у меня, другъ мой, въ карманѣ двадцать пять рублей. И были эти двадцать пять рублей— весь мой капиталъ на всю остальную жизнь. И вотъ-съ, послѣ того, какъ я имѣлъ счастье поправиться тузамъ, и пили они за мое здоровье, дядя толкнулъ меня подъ столомъ ногою, и я, по вдохновенію, даже не поморщившись, заказалъ—изъ огромнаго капитала-то этого—свою бутылку шампанскаго и пилъ за ихъ здоровье. И вышло это весьма благородно, *comme il faut*, по-джентльмэнски. И, когда мы расходились изъ ресторана, тузы простились со мною благосклонно, а самый крупный изъ нихъ—всему, такъ сказать, рою matka—милостиво пригласилъ меня:—Надѣюсь, завтра увидимся? Всегда прошу къ нашему столу.

Хорошо. Вышли мы съ дядею, садимся на лихача, ѣдемъ домой.

— Ты,—говорить дядя,—счастливецъ: сразу попра-

вился Балясникову. Иные около него годами ходять, а онъ не позволяетъ къ себѣ подѣсть. Завтра непременно будь въ ресторанѣ,—это заря твоей карьеры.

— Такъ-то такъ,—возражаю.—Только, дядя, вотъ что: они тамъ шампанское, какъ воду, дують.

— Дуютъ,—соглашается дядя.—Такъ что же изъ того? Порядочный человѣкъ именно такъ и долженъ дуть шампанское— какъ воду. Да! Это только мелкіе чиновники, да купчики третьяго разбора видять въ каждой бутылкѣ шампанскаго чуть не событіе. Дескать, торжество великое было! Даже шампанское пили! Это провинціализмъ, слез! А у насъ въ порядочномъ кругу даже не принято говорить шампанское,—говорять просто: «вино»... ну, или тамъ марку называютъ, какую кто привыкъ пить и любить...

— Все это, дяденька, прекрасно, и очень вамъ благодаренъ за то, что вы меня, дурака, уму-разуму учите: впредь уже не ошибусь и «вино» шампанскимъ не назову. Но вѣдь на это же деньги пужны, дяденька.

Онъ преравнодушно отвѣчаетъ:

— А, разумѣется, пужны. Въ петербургскихъ ресторанахъ кредита пѣть.

— Такъ—какъ же мнѣ, дяденька, завтра идти-то? Вѣдь, по уплатѣ за «вино» и завтракъ, осталось у меня въ портмоне семь съ полтиною.

Онъ—великодушно:

— Достань.

— Да гдѣ же я достану? Работы у меня никакой, знакомыхъ нѣту. Вы, что ли, дадите?

Онъ—какъ свистнеть: даже лихача перепугалъ, и лошадь понесла было. Потомъ вынулъ изъ кармана шубнаго—сбоку, для спичекъ,—три двугривенныхъ:

— Видѣль?

— Очень.

— На всю жизнь.

Опустилъ двугривенные обратно въ карманъ и нраво-учительствуетъ:

— Никогда въ своемъ кругу взаимы не проси и самъ, если попросятъ, не давай. Ибо — во первыхъ, будетъ вотще, а, во вторыхъ, компрометируетъ: фи! что же это за компаньонъ? деньги занимаетъ! А денегъ все-таки достань. И будь завтра непременно. И пей вино, то есть шампанское. И заруби себѣ на носу афоризмъ истиннаго петербуржца: «Кто въ Петербургѣ захотѣлъ пить шампанское всегда, тотъ всегда его пить и будетъ, а кто мечтаетъ о немъ: хоть бы иногда, — тотъ его никогда не получить»... Каково это тебѣ кажется? а?

— Аллегорія циническая, но выразительная. Наглу, но довольно цѣльную мысль выражаетъ.

— Прямо скажу тебѣ: зеркало сверхъ-человѣчества!

— Ну, что же? попалъ ты на завтра къ тузамъ? Досталъ?

— Досталъ.

Онъ зло улыбнулся.

— Знаешь ли? Ты зналъ бѣдность, я зналъ. Не случилось ли тебѣ такъ, что вотъ — въ домѣ гроша нѣту, обѣдъ — не знаешь, — получишь ли, жена, ребенокъ больны, и — хоть бы ты треснулъ! — никакого выхода: ни помощи, ни чуда, и ложки всѣ заложены, и татаринъ послѣднюю тряпку унесъ. Либо — нужно необходимый кровный долгъ заплатить, долгъ чести и совѣсти, и срокъ тебя за горло схватилъ-душить. Либо — надо дорогому и близкому тебѣ человѣку, матери, сыну, женѣ, другу, что ли, помочь. Тогда — ничего! ничего! ничего! Словно заколотить. Еще, какъ на зло, наоборотъ, новыя нужды выплываютъ, долги, обязательства. Такъ и топить все тебя! камень на шею навязываетъ!

— Еще бы! — съ невольною горечью сказалъ я.

— И наоборотъ: стоитъ тебѣ на всякія обязанности плюнуть и рѣшить: а семь-ка я махну по всѣмъ по тремъ,

въ полное свое удовольствіе!—фу, чортъ! вдругъ самъ сатана тебѣ деньгу скуеть: пожалуйста, молъ, въ нашъ омутъ, прекрасный молодой человѣкъ! у насъ про васъ припасено!.. Ты знакомъ съ художникомъ К.?

— Какъ же!

— Добрѣйшей души человѣкъ и образа мыслей самаго благороднаго. Но онъ суевѣрный, и примѣтъ у него тысячи. Такъ вотъ, между прочимъ, и эти контрастики-то житейскіе онъ подмѣтилъ: что деньги въ карманы человѣческія направляетъ не столько Богъ на добрыя дѣла, сколько чортъ на злыя.—И чудачище же! Какъ ѣдетъ онъ по заказу деньги получать или бумагъ какихъ купить, — такъ сейчасъ же начинаетъ чорта надувать: мерзавца изъ себя корчить. Скажи ему въ такое время:

— Что, Дмитрій Ивановичъ, тебя, говорятъ, надо поздравить съ барышами?

Ухмыляется:

— Есть таки.

— Да—на что тебѣ деньги, Дмитрій Ивановичъ? Опять за бѣдныхъ товарищей плату внесешь,—только и всего, а у самого въ карманѣ шишъ останется...

Даже поблѣднѣетъ:

— Это я-то?

— Конечно. И въ прошломъ году такъ было, и въ за-  
прошломъ.

— Нѣтъ-съ, былъ дуракомъ, а больше не буду. Въ карты проиграю!

— Ой врешь!

— Съ кокоткою пропью!!

— Это ты-то?!

— Малолѣтнихъ развращать стану!!!

Самъ признавался:

— Ъхаль я однажды въ банкъ—въ день полутабельный—по чеку три тысячи получать, такъ всю дорогу молвлялся: Господи! не дай мнѣ подумать о чемъ-либо поря-

дочномъ... Я мерзавецъ, и желанія у меня, и мысли мерзавныя!... А тутъ— какъ нарочно: дворникъ мальчишку бьетъ, и тотъ благимъ матомъ визжитъ на всю Сѣнную. Дмитрій Ивановичъ всё свои коварные противъ чорта подвохи и іезуитскія молитвы позабылъ: прыгъ изъ саней, сталъ парнишку отнимать.... исторія, протоколь.... пока что, — прѣзжаетъ Дмитрій Ивановичъ въ банкъ: анъ, чортъ-то разсердился, да за доброе-то увлеченіе его и наказалъ, — касса уже закрыта.

Такъ вотъ и мнѣ— на кабагъ— немедленно повезло— чортовымъ благодѣяніемъ. Сосѣдъ мой по мебелированнымъ комнатамъ, чертежникъ, заболѣлъ холериною. А я по этой части собаку съѣлъ: всю ночь просидѣлъ, спѣшный и дорогой чертежъ за него отлично сдѣлалъ, по утру заказчику съ мальчикомъ отослалъ и сейчасъ-же получилъ деньги... Ну, съ тѣхъ поръ эта музыка и пошла. И понялъ я, что афоризмъ дядинъ о шампанскомъ— афоризмъ, дѣйствительно, премудрый.

Онъ потянулся, сдѣлалъ брезгливо-огорченную гримасу, махнулъ рукою, опять «хлопнулъ» копяку и продолжалъ:

— Да! «Кто въ Петербургѣ рѣшилъ однажды навсегда, что онъ долженъ пить шампанское, тотъ его всегда и будетъ пить»... И вотъ— предъ тобою блестящій образецъ: рѣшилъ, пилъ, пью и буду пить до конца дней моихъ. И всю свою карьеру на томъ сдѣлалъ. Да! И въ тотъ день и часъ, когда вино болѣе не пойдетъ мнѣ въ ротъ, я буду знать, что я человѣкъ конченный, ибо, стало быть, талантъ моего питья выдохся и я за балясниковскимъ или фонъ-Тпрутенгофа столомъ— человѣкъ скучный, чужой и лишній.

— Что же?— спросилъ я, — развѣ ихъ столы такъ тебѣ до сихъ поръ необходимы?

— Другъ мой, лишеніе ихъ— для меня гражданская смерть.

— Будто ты такъ зависишь отъ фонъ-Тпрутенгофа и Балясникова? Дѣла, что ли, они тебѣ даютъ? деньги?

— Ни Тпрутенгофъ, ни Балясниковъ не дали мнѣ— да и не дали бы, кабы я попросилъ!— ни однажды въ жизни ни единой мѣдной копейки, не поручили предпріятія даже и въ сто цѣлковыхъ.. Скажу тебѣ больше: я никогда и не добивался получить у нихъ кредитъ денежный или дѣловой.

— Тогда я ничего не понимаю. Зачѣмъ же они тебѣ?

— И не сразу поймешь. Тутъ политика мудрая. Плесни-ка мнѣ еще коньяку.

Онъ хитро прищурился и, значительнымъ тономъ, въ растяжку, задать мнѣ вопросъ:

— Кто я?

Я былъ озадаченъ.

— Какъ—кто? Владиміръ Антоновичъ Фуфлыгинъ. . кто же тебя не знаетъ?

— Вотъ-съ. Именно, всѣ знаютъ. А званіе-то мое какое?

— А Богъ тебя знаетъ! Я твоего паспорта не просматривалъ

— Да и никто его не просматривалъ,—разумѣется, кромѣ старшаго дворника и участковаго. И, если хочешь знать правду, значусь я въ паспортѣ этомъ совершенно законно и справедливо губернскимъ секретаремъ... Только-съ!

— Врешь?

— Зачѣмъ мнѣ врать?

Онъ захохоталъ.

— А между тѣмъ, даже эти старшій дворникъ и участковый, которые просматриваютъ мой паспортъ и достоверно знаютъ, что я лишь губернскій секретарь, почтительно вытягиваются, когда я ѣду по улицѣ, и съ полнѣйшею искренностью величаютъ меня «ваше превосходительство»... Да чего тамъ? Ты, кажется, не невинность какая нибудь, чело-вѣкъ опытный, стрѣлянный, а—какъ сейчасъ глаза-то на меня вытаращилъ! Не ожидалъ? а? Ахъ, братъ Александръ Валентиновичъ! сложная штука жизнь!

— Твоя, повидимому, въ особенности.

— Ну, вотъ! Мы—что? Младенцы грудные! Возьми-ка тѣхъ же Балясникова съ Тпрутенгофомъ, копни прошлое: увидишь, что—прежде чѣмъ Балясниковыми да Тпрутенгофами стать,—какія метаморфозы и мытарства они проходили... Это—люди! а мы, Фуфлыгины, еще такъ только, подлюдьё!. Да-съ! И такъ.—превосходительство. И настолько настойчивое, упорное превосходительство, что я порою уже и самъ начинаю вѣрить, будто я впрямь превосходителенъ. Знакомымъ же отзываюсь на титуль безошибочно.

— Самозванствуешь, стало быть?

Онъ задумался.

— Знаешь ли? Сейчасъ оно, какъ будто, дѣйствительно смахиваетъ на самозванство, но сложилось это, ей-Богу, и помимо моего желанія, и безъ моего вѣдома. Но крайней мѣрѣ, первоначально. А затѣмъ я лишь не воспрепятствовалъ легендѣ развиваться, — вотъ и все... Tiens!—заораль онъ вскакивая съ дивана,—вотъ тебѣ примѣръ. Ты идешь по улицѣ. Извозчикъ-лихачъ говорить тебѣ:

— Ваше сіятельство! прокатали бы три рублика на американской шведкѣ! Что ты отвѣчаешь ему?

— Да ничего не отвѣчаю, просто иду мимо.

— Но не останавливаешься объяснять ему, что ты ни князь, ни графъ, и слѣдовательно титулуешь онъ тебя сіятельствомъ совершенно напрасно и безправно?

— Конечно, нѣтъ.

— Ни визитной карточки, ни паспорта ему не предъявляешь?

— Перестань паясничать.

Онъ сѣлъ и сказалъ нравоучительно:

— И вотъ—корень того, что ты называешь самозванствомъ. Эти «вашсіясъ» и «вашество», которыя человекъ



небрежнѣйшимъ и равнодушнѣйшимъ образомъ цезаслуженно принимаетъ отъ кучеровъ и лакеевъ, плѣненныхъ его увеселительнымъ образомъ жизни,—суть зерно, горчишное, изъ коего, при условіяхъ коварныхъ и благопріятствующихъ, вырастаетъ вѣтвистое древо самомнѣнія приносящее плоды самозванства... Видишь, какимъ высокимъ штилемъ могу я разговаривать, когда захочу? То-то! Знай нашихъ.

Онъ засмѣялся и щелкнулъ языкомъ.

— Чепуху ты говоришь, — сказалъ я. — Всѣ эти подобострастные «сіятельства», «превосходительства» и т. д. каждому петербуржцу, вращающемуся въ суетѣ столичной, приходится, конечно, слышать по десяти разъ на день. Однако, мнѣ никогда и въ голову не приходило, что столица наша обитаема Гришками Отрепьевыми съ Васильевскаго острова и Емельками Пугачевыми съ Выборгской стороны.

— Въ томъ то, братецъ ты мой, и заключается комизмъ—и, согласись комизмъ высокаго давленія! — что никому, а тѣмъ паче самому, творящему тако, никогда это и въ голову не приходитъ. А между тѣмъ,—глядь: швейцарь ему «превосходительство» сказалъ,—онъ швейцару лишній двугривенный въ руку! извозчикъ его «сіятельствомъ» назвалъ,—извозчику лишній полтинникъ на водку! Нѣтъ! ты не скажи! Эти маленькія самозванства въ духъ російскаго обывателя. Любить онъ ихъ. Гоголь это удивительно изобразилъ, что Хлестаковъ, въ концѣ концовъ, самъ повѣрилъ, будто онъ великая особа и съ посланниками въ вистъ играетъ. Я увѣренъ, что генералы Пугачева, величавшіе себя графами Чернышевыми, Паниными, и какъ тамъ ихъ еще?—мѣли отъ тайнаго восторга, когда подчиненные называли ихъ сіятельствами, и каждый, про себя, въ самомъ дѣлѣ думалъ: а чѣмъ я не Чернышевъ или Панинъ, чортъ меня поберетъ?!. Но оставимъ въ сторонѣ народную и всеросійскую психологію. Я лучше расскажу

тебѣ, какъ самъ я попалъ изъ губернскихъ секретарей въ превосходительство.

— Валяй.

— Видишь ли, другъ. Всякій, кто проживетъ въ городѣ Петербургѣ болѣе или менѣе продолжительное время, вращаясь въ такъ называемомъ «избранномъ обществѣ», долженъ, при нѣкоторой наблюдательности, весьма скоро убѣдиться, что въ Россіи имѣются двѣ табели о рангахъ. Одна, установленная Петромъ, служебная. Другая, учрежденная обычаемъ, житейская. Которая изъ двухъ важнѣе, — дѣло случая. Я, напримѣръ, какъ ты теперь знаешь, по первой не ушелъ дальше губернскаго секретаря, а по второй числюсь его превосходительствомъ. И — скажу откровенно — я ничуть не раскаиваюсь, что не свершилъ карьеры въ обратномъ порядкѣ, то есть, не заслужилъ превосходительства по Петровой табели, застрявъ лишь въ губернскихъ секретаряхъ по табели обыкновенной житейской.

Поѣхали мы какъ-то разъ — семь лѣтъ тому назадъ — съ Баляспиковымъ на медвѣжью охоту. Большая компанія собралась, все — свои, пикникъ вышелъ огромнѣйшій. Имѣнье у Балясникова чудеснѣйшее, помѣщенія въ усадьбѣ — сколько хочешь. Отвели намъ съ дядею для ночевки цѣлый флигель. Хорошо-съ. Поутру просыпаюсь, — слышу, за стѣною тихій разговоръ: мой камердинеръ Памва (за имя странное и взялъ я его больше) толкуетъ съ кѣмъ-то чужимъ.

— Что генераль-то вашъ? проснулся? — спрашиваетъ чужакъ. А Памва ему — преважно:

— Который? Старый или молодой?

— Молодыхъ видѣть желательно.

— Встаютъ.

И вскорѣ затѣмъ я долженъ былъ принять нѣкотораго мѣстнаго лѣсопромышленника, съ «дѣломъ» къ Балясникову, — помнится, о размежеваніи участковъ или что-то въ этомъ родѣ. И вотъ этотъ-то лѣсопромышленникъ, умоляя

меня походатайствовать предъ Балясниковымъ за его дѣло, все время кланялся мнѣ въ поясъ и звалъ меня вашимъ превосходительствомъ.

— Послушайте; — говорю ему, — что вы меня титузуете? Я совсѣмъ не генераль.

Не повѣрилъ, даже засмѣялся:

— Помилуйте-съ, ваше превосходительство! шутить изволите! Мы вѣдь знаемъ-съ.

— Да нѣтъ же! не генераль я! Я даже и не служу нигдѣ.

— Все можетъ быть-съ, а только превосходительность ваша намъ довольно даже достовѣрна-съ, потому какъ слышали мы: ваше превосходительство господину Балясникову «ты» изволите говорить, а онъ вашему превосходительству «моншера» отвѣтствовать соблаговоляетъ. Слово извѣстное-съ. Тоже не вовсе лыкомъ шиты!

— Ну, такъ что же изъ того? Мы, дѣйствительно, пріятель съ Балясниковымъ, — вотъ и все. Генеральство-то тутъ причемъ?

Лѣсопромышленникъ дико посмотрѣлъ на меня своими круглыми бычачьими глазами и возразилъ съ глубокимъ убѣжденіемъ:

— У господина Балясникова пріятельи завсегда генералы.

И разувѣрить его я уже никакъ не могъ. Наткнулся на вѣру — фанатическую, непоколебимую. Не могъ чудакомъ даже вообразить, чтобы столь крупному тузу, какъ Балясниковъ, кромѣ генерала могъ кто-либо говорить «ты» и быть съ нимъ въ отношеніяхъ амикошонства.

— А если, молю, вы, ваше превосходительство, не генераль, такъ что-нибудь еще страшнѣе, что-нибудь надъ самими генералами. Потому нашъ господинъ Балясниковъ, коли съ губернаторомъ говорить, такъ и тотъ предъ нимъ въ кольцо вьется, а вы, ваше превосходительство, его по животу хлопаете и всякія простыя слова ему говорите...

— Ахъ, Боже мой! да поймите же, русскимъ языкомъ вамъ сказано, что пріятели мы, просто пріятели.

— Очень хорошо понимаемъ-сь. Потому—извѣстное дѣло-сь: нѣжное къ нѣжному-сь. У мужика — взять, — и пріятель мужикъ-сь. У купца—купецъ. А у генераловъ и пріятели генералы-сь,—выходить, въ родѣ какъ бы вы-сь, ваше превосходительство-сь.

Вотъ что называется убѣжденіемъ вѣры! Ну, что же мнѣ было стараться — его разочаровывать? Вижу: хочется человеку, нутромъ хочется, чтобы я былъ цаца этакая — генераль. Изволь: мнѣ не жалко, не полиняю, пусть буду для твоего удовольствія генераломъ... Разказалъ эту исторію Балясникову, —тому лестно, хохочетъ.

— А кстати, — спрашиваетъ, — какой на тебѣ, въ самомъ дѣлѣ, чинъ?

И вдругъ мнѣ стало ужасно стыдно и страшно признаться ему, что я только губернской секретарь, и — словно что меня толкнуло, такъ я ему и выпалилъ:

— Надворный совѣтникъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ уваженіемъ и говорить:

— Ну, что же? Чинъ хорошій, — особенно, для твоихъ лѣтъ. Этакъ шагать, — пожалуй, и впрямь оглянуться не успѣешь, какъ въ превосходительства выскочишь.

Ибо самъ-то онъ, сказать тебѣ по секрету, какъ я потомъ довѣдался, — при всемъ своемъ гранфезерствѣ, несетъ званіе какое-то совсѣмъ фантастическое: нѣчто въ родѣ сына дочери коллежскаго регистратора или племянника эстандартъ-юнкера въ отставкѣ. Стало быть, мой надворный совѣтникъ ему и лестень, и завиденъ.

Поуважалъ онъ меня, сообразно званію, и — опять въ хохотъ:

— Такъ борода говоритъ, что — кто съ Балясниковымъ пріятель — тотъ, навѣрное, генераль? Ахъ, чортъ его возьми! Вотъ — репутація!.. Ну-сь, ваше превосходительство, сказывай: такъ зачѣмъ же онъ къ тебѣ приходилъ-то?

— Межи тамъ какія-то... участки... что я понимаю? Ужасная скука... надоѣль...

Изволятъ самодовольно улыбаться:

— Что? не по зубамъ? То-то, братъ! Это тебѣ — не бутылки сушить! Тутъ опытъ нуженъ, знаніе.

— Не всѣмъ же, подобно тебѣ, увлекаться этою... домашнею экономіей, что ли... какъ ее тамъ? Ты спеціальистъ, — позволь кому-нибудь быть и профаномъ.

А, надо тебѣ сказать, Балясникова хлѣбомъ не корми, — только увѣрай его, что онъ первый въ Россіи знатокъ по сельскому хозяйству, великій скотоводъ, лѣсоводъ, пчеловодъ и прочіе, и прочіе «воды». По отзывамъ же лицъ, не столь знаменитыхъ и счастливыхъ, но болѣе основательныхъ и знающихъ, — въ дѣйствительности, понимаетъ онъ во всѣхъ этихъ предметахъ не болѣе, чѣмъ свинья въ апельсинахъ, и ржи отъ пшеницы отличить не въ состояніи. И такъ, слова мои — ему масло по сердцу. Пришелъ въ прекраснѣйшее настроеніе духа и самъ предложилъ:

— Такъ — хорошо: если этотъ чудакъ снова къ тебѣ заглянетъ, ты скажи ему, что я, такъ и быть, согласенъ исполнить его просьбу, — но исключительно, конечно, по представительству твоего превосходительства.

— Ахъ, мнѣ рѣшительно все равно, дѣлай, какъ тебѣ удобнѣе и выгоднѣе.

— Нѣтъ, нѣтъ. Онъ чудакъ. Онъ мнѣ нравится. Люди понимаетъ. И почтительный.

Когда я сообщилъ лѣсопромышленнику отвѣтъ Балясникова, купчина, кажется, и въ самомъ дѣлѣ вообразилъ, что я надъ генералами генераль и надъ министрами министр: даже къ рукъ прикладываться полѣзъ. Дѣло въ томъ, что — потомъ выяснилось — просиль-то онъ чего-то ужъ совсѣмъ неправильнаго. и ни съ чѣмъ несообразнаго, такъ что оно могло выгорѣть лишь подъ очень сильнымъ, сверхъестественнымъ, можно сказать, давленіемъ.

— Вашество! чѣмъ тебя чествовать прикажешь? какъ благодарить?

Никакихъ «благодарностей» и «признательностей» я отъ него, конечно, не принялъ, чѣмъ окончательно поразилъ его и убѣдилъ, что я стою уже на такой высотѣ, гдѣ даже не берутъ...

— Въ чемъ же состояла твоя личная выгода въ этой авантюрѣ? — спросилъ я Фуфлыгина.

Онъ пожалъ плечами.

— Въ томъ, что, во-первыхъ, лѣсопромышленникъ звонилъ повсюду о генералѣ, всемогущемъ надъ Балясниковымъ, притомъ добрѣйшей души и безкорыстнѣйшихъ правилъ, до тѣхъ поръ, пока о такомъ генералѣ не узнало все, мало-мальски къ Балясникову прикосновенное, и мнѣ не сталъ реальностью. А, во-вторыхъ, когда мнѣ вскорѣ понадобились деньги...

— Ты занялъ ихъ у лѣсопромышленника?

— Фи! за кого ты меня принимаешь? Это была бы взятка. Онъ предлагалъ, умолялъ взять, но я съ презрѣніемъ отказался. Говорю же тебѣ: никакихъ признательностей и благодарностей! Нѣтъ, я только попросилъ его, — услуга за услугу, — ввести меня членомъ въ одинъ изъ столичныхъ банковъ, гдѣ онъ имѣлъ вліяніе, и гдѣ, по его рекомендаціи, меня приняли съ распростертыми объятіями, открывъ мнѣ небольшой, но прочный кредитъ. Вотъ уже семь лѣтъ, какъ я его оправдываю, и пользуюсь великолѣпною репутаціей безупречнаго плательщика. Понялъ?

— Какъ не понять, когда хорошо растолкуютъ? — отвѣтилъ я фразою изъ стараго анекдота.

— Въ банкѣ я — превосходительство, въ другомъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ — тоже, въ обществѣ Балясникова, начавъ съ шутокъ, какъ-то, понемножку, превратился въ превосходительство и въ серьезъ. Но вѣдь я хорошо понимаю, что это фантастическое кинопроизводство далъ мнѣ никто иной, какъ именно Балясниковъ, что это

\*

играють на мнѣ лучи балясниковской славы, золотые отблески балясниковскихъ миллионѡвъ. Перестануть они играть на мнѣ, — и грошъ мнѣ цѣна. Перестануть видѣть меня ежедневно засѣдающимъ въ компаниі Балясникова за его — охочимъ до выпивки — столомъ, замѣтятъ, что я уже не треплю Балясникова по плечу, не говорю съ нимъ на «ты», споря о публичныхъ женщинахъ и всякихъ парижскихъ свинствахъ, — и аминь! Мое «превосходительство» растаетъ яко воскъ отъ лица огня, и тотъ же самый Памва, который первый пожаловалъ меня въ генералы, будетъ говорить обо мнѣ сосѣдямъ:

— Не великъ баринъ! Чинъ-то на немъ енотовый: по старинному — «не бей меня въ рыло» называется. На грошъ аммуниціи, на рубль амбиціи.

Ибо — еще разъ напоминаю тебѣ: при всѣхъ моихъ огромныхъ доходахъ, долженъ я этому окаянному Памвѣ такую непроходимую уйму разной и въ разное время занятой мелочи, что даже и разсчитать его за дерзости и пьянство я не въ состояніи... Да! Отсюда видишь, что даже должать у собственнаго лакея его превосходительству куда удобнѣе, чѣмъ губернскому секретарю. Ибо врядъ ли Памва удостоивалъ бы меня своимъ кредитомъ, если бы, въ самомъ дѣлѣ, не увѣрился съ теченіемъ времени въ величіи моемъ, которое самъ же онъ, первый, — болванъ! — и изобрѣлъ. Онъ у меня — Осипъ своего рода, только Осипъ, заразившійся у Хлестакова хлестаковщиною. Настоящій Осипъ все же одергивалъ барина когда тотъ завирался, и совѣтовалъ удирать, покуда не раскусили горожане, что за птица Хлестаковъ. А мой — самъ въ восторгѣ и упоеніи. Опъ гордъ, что служить у генерала, и... попробуй-ка ему кто-либо доказывать, что «генераль-то я генераль — только съ другой стороны»!

— Итакъ, — я выяснилъ тебѣ съ достаточною определенностью, что получить отставку изъ рыцарей балясниковскаго стола для меня равносильно разжалованію. Всѣмн

чтимое превосходительство исчезаетъ, остается никому ненужный иксъ, въ чинѣ губернскаго секретаря. Аркадскій принцъ провалился въ трапъ и превратился въ Ваньку Стикса. Званіе, душа моя, совсѣмъ не почтенное и притомъ, что хуже всего, абсолютно нищее.

Онъ снова воззрился въ меня съ нехорошею, злобно вопросительною улыбкою и повторилъ свой прежній вопросъ:

— Кто я?

Я молчалъ, чувствуя, что онъ спрашиваетъ лишь затѣмъ, чтобы самому себѣ на то отвѣтить. И онъ продолжалъ:

— Мы съ тобою на ты, пріятелями считаемся. Но согласись: вопросъ, какія у меня средства къ жизни, какъ опредѣляются мои занятія и называется моя профессія, поставилъ бы тебя въ совершеннѣйшій тупикъ. Меня знаютъ всѣ... и всѣ же не знаютъ, кого, собственно, опи во мнѣ знаютъ. Да и не интересуются уже знать: привыкли! И это — къ великому для меня счастью и удовольствію. Ибо я, въ минуты, какъ сегодня, представляю себѣ житейскимъ кушаньемъ, въ родѣ московской сборной селянки, въ которую поваръ ввалилъ рѣшительно всѣ съѣдобные обрѣзки, какіе нашелъ у себя въ кухнѣ. Ну, когда это мѣсиво ѣшь залпомъ, по совокупности, ложка за ложкою, не разбирая, — такъ оно и ничего, даже вкусно. А начинка размаковывать, кусочекъ по кусочку, чего туда поваръ напихалъ, — такъ, *passez le mot*, съ души сопреть. Стало быть, укроти пытливость ума и обостри аппетитъ: не изслѣдуй, не разсматривай, не разнюхивай, а хлебай на-ура, благословясь, и ѣшь, зажмурясь. И ѣдятъ.

— Меня знаютъ всѣ. За что? Ну, Иванова всѣ знаютъ потому, что онъ талантливый адвокатъ, Петровъ — прекрасный врачъ, Сидоровъ — журналистъ, Карповъ — богатый коммерсантъ. Но я-то? Вѣдь я ни адвокатъ, ни врачъ, ни журналистъ, ни коммерсантъ, ни инженеръ, ни въ оперѣ



теноромъ не пою, ни банкомъ не ворочаю... Лицо загадочнаго существованія. Персонажъ, о которомъ въ старой цыганской пѣснѣ пѣлось:

Онъ не баринъ, не татаринъ, не крестьянинъ, не купецъ...  
Ай-пу! поди прочь, поди прочь, берегись!  
Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку, да пониже поклонись!

Онъ захохоталъ и уставился на меня глазами, полными паглой, самобичующей прони:

— Видишь, братъ, какая она хорошая штука — быть лицомъ загадочнаго существованія! Ты — можешь представлять изъ своей великолѣпной особы, — какъ бишь это у Гоголя-то? — ни то, ни се, чортъ знаетъ что: растеніе безъ корня, перекасти-поле, вихрями по житейскимъ равнинамъ носимое, и все таки почтеннѣйшая публика передъ тобою:

Ай-ву! поди прочь, поди прочь, берегись!  
Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку, да пониже поклонись!

— Ха-ха-ха! И снимаютъ шапки, другъ любезный, и кланяются, очень низко кланяются... Но — за что? за что?!.. Ха-ха-ха!.. Есть, что ли, еще коньякъ то въ бутылкѣ?

— Пей, сдѣлай одолженіе.

— Теперь, — продолжалъ онъ, — маленькія газеты завели обычай, давая отчеты о балѣ, спектаклѣ какомъ-нибудь, базарѣ, что-ли, перечислять извѣстныхъ людей, присутствовавшихъ среди публики. Не общественныхъ извѣстностей, какъ въ старину дѣлалось, но просто людей, которыхъ знаетъ Петербургъ, чьи фізіономіи ему примелькались. «Назовемъ, моль, о-азарь», — и пошла писать губернія! Генераль такой-то, банкиръ такой-то, присяжный повѣренный такой-то... ну, и мы тутъ же, мы, люди, загадочнаго существованія. О, сколько насъ! И какіе мы пестрые! Знаешь ли, меня положительно восхищаютъ эти отчеты, и я съ величайшимъ любопытствомъ каждый день ищу въ нихъ свое имя.

— Скажите, пожалуйста, какой славолюбивый!

— Не то, друже! Не славолюбивый, а просто любопытный. Меня всегда забавляет экзамень: а, ну, репортеръ, какъ-то ты меня опредѣлишь? какъ ухитришься извернуться? въ какую общественную категорию зачислишь? кто я, по твоему, есмь?.. Но — долженъ признаться откровенно: молодцы, ребята! преизобрѣтательныя каналы! Видно, что я для нихъ остаюсь еще своего рода загадкою, камнемъ прѣткновенія, но они уже приспособились преловко чрезъ оный перескакивать.

— Какъ же тебя числить *Mis er Repp* съ товарищи?

— Спроси лучше: какъ меня не числили?

— Ну, сейчасъ, напримѣръ?

— Сейчасъ? Предприниматель. «Въ числѣ блестящей публики, наполнявшей роскошно убранный залъ, мы замѣтили много популярныхъ представителей «всего Петербурга». Такъ, назовемъ *au hasard*, присяжнаго повѣреннаго Прындики, фабриканта Дурилова, извѣстнаго предпринимателя Фуфлыгина»... А затѣмъ слѣдуетъ: «присутствовало также много дамъ полусвѣта». Сосѣдство, если хочешь, довольно нелестное, но не могу сказать, чтобы непослѣдовательное. Предприниматель и кокотка... развѣ тутъ не чувствуется тайнаго *alliance cordiale*? Нѣтъ, вѣрный инстинктъ у бестій! Предприниматель! Ха!

— Но, позволь! Почему же ты предприниматель? что ты предпринимаешь, предпринималъ или намѣренъ предпринять?

— Рѣшительно ничего. Ельниковъ и то уже каламбурилъ намедни: ты бы, — говорить, — Володя, чтобы званіе свое не даромъ носить, хоть самоубійство предпринялъ, что ли... или путешествіе на Медвѣжій островъ! — Ладно! — говорю, — довольно съ тебя и Крестовскаго!.. А до предпринимателя меня въ финансистахъ писали. «Въ первомъ ряду мы замѣтили гг. Балясникова, фонъ-Тпрутенгофа, Фуфлыгина и другихъ нашихъ финансистовъ». Боже мой, какъ я хохоталъ въ тотъ день, когда тиснули «Листокъ» и «Газета»

эту замѣтку! Ибо, какъ нарочно, — нужно же быть такой игрѣ случая, — денекъ-то выпалъ именно изъ тѣхъ, когда въ бумажникѣ у меня аквилоны свистали, и Памва былъ мнѣ пріятель, какъ русскому промышленнику... банкиръ Ротштейнъ.

Финансистъ! Чудесное это слово вышло и пошло въ ходъ. Звучно, не говорить ровно ничего, а растяжимо, какъ гуммиластикъ. Сколько понятій въ себѣ укладываетъ, сколько отбѣнокъ вмѣщаетъ! Петербургское слово! Ты замѣть: вѣдь москвичи его не употребляютъ. Ибо — дикари. У нихъ все — сырье: и капиталы — грубые, сырые, ощущаемые на ощупь, такъ сказать, — въ златѣ, сребрѣ и прочихъ денежныхъ знакахъ. И — у кого — такіе капиталы имѣются, тѣхъ зовутъ капиталистами, миллионерами, но не финансистами. Чтобы быть финансистомъ, нужно имѣть капиталъ совсѣмъ особаго рода, культурный, мечтательный. Чтобы его не было, но онъ какъ бы былъ. Капиталъ финансиста — это, выражаясь языкомъ катехизическимъ, есть вещей увѣреніе невидимыхъ. Это — не столь капиталъ, сколь символъ капитала. Это — золотая принцесса Греза, къ которой петербургскій финансистъ всю жизнь свою ѣдетъ-ѣдетъ-ѣдетъ, какъ нѣкій принцъ Жоффрау, по морю житейскому, но, увы! слишкомъ часто, подобно ему же, умираетъ отъ истощенія и голода, въ виду своего идеала, не добравъ до него всего на всего двухъ съ половиною верстъ.

Я засмѣялся. Онъ строго взглянулъ на меня:

— Чему ты?

— Такъ. Вспомнилъ по этому поводу удачное «mot» одного московскаго миллионера.

— Ну?

— Я ему какъ-то говорю: что вы, Авва Филофѣевичъ, надъ нашими петербуржцами все подсмѣиваетесь? или у насъ въ Питерѣ ужъ и капиталистовъ нѣту?.. А онъ мнѣ на это:

— Как не быть-сь! помиуйте-сь! напротив, чрезвычайно много-сь! гораздо больше, чѣмъ у насъ въ Москвѣ-сь!

— Вотъ видите.

— Только у васъ капиталистъ-сь особенный. Намъ съ вашимъ капиталистомъ тягаться не рука.

— Это почему же?

— А потому что — вотъ, скажемъ, на Москвѣ меня капиталистомъ величаютъ. Ну, что же-сь? Отъ своего избытка не отрекусь-сь. Имѣю капиталъ-сь: дома тамъ, фабрики, заводы, земли, пароходство, руды, нефть. А у васъ въ Петербургѣ, чтобы быть капиталистомъ, ничего такого не требуется. У васъ — сидитъ человекъ каждый день у Кюба и пьетъ вино высокой марки, — стало быть, онъ и капиталистъ. А — перешелъ онъ съ вина высокой марки на крымское, либо, храни Господь, на пиво, — стало быть, и капиталистомъ быть пересталъ-сь. Гдѣ же намъ съ такою легкостью капиталистическаго обращенія состязаться-сь...

Онъ остроилъ кислую гримасу и возразилъ:

— Ну, вотъ видишь. Твой москвичъ совершенно вѣрно опредѣлилъ права на титулъ финансиста, — мои, по крайней мѣрѣ. И такъ какъ сомнительность правъ этихъ привела меня самого къ смущенію, то я даже познакомился съ репортеромъ газеты, возведшей меня въ столь высокій чинъ, и Христомъ Богомъ молилъ его: не ставьте меня въ глупое положеніе! разжалуйте изъ финансистовъ! Даже завтракомъ его, чорта, накормилъ и бутылку вина на него спойль... и, ей-Богу, весьма не низкой марки!

— И что же? разжаловаль?

— Разжаловаль и произвелъ — въ «театралы»... На послѣднемъ маскарадѣ мы замѣтили въ числѣ фэшенебельныхъ посѣтителей графа Оиту, барона Ужицу, неувядаемаго артиста Ща-Бемоль, спортсменовъ Куку и Муму, финансистовъ Балясникова и Тпрутенгофа и театрала Фуфлыгина». Почему онъ рѣшилъ, что я театраль, — чортъ его

знаеть. Должно быть, потому, что я одно время съ Чучелкиной, кордебалетною, въ любвахъ состоялъ... Вѣдь у насъ все такъ, по части искусства. Побываетъ человѣкъ въ уборной у примадонны оперной,—глядишь: входилъ онъ къ ней еще профанъ-профаномъ, а вышелъ... батюшки! Такъ и рѣжетъ: форсировка, детонаціи, лейтмотивъ! Да Вагнеръ! да Бизе, да Маркези, де Бельтрами! Осѣнило, значить. Знаю одного: ни въ какія драмы-трагедіи, бывало, и калачомъ его не заманишь. А—прокатилась съ нимъ актрисочка... и то не изъ важныхъ, полувыходная, на Стрѣлку,—такъ откуда, что взялось: сыплеть теперь, какъ бисеромъ, словами о значеніи искусства, о молодыхъ талантахъ и на Стаиславскаго смотреть столь свысока, точно онъ — монументъ, а тотъ торчащая подлѣ него тумба. О насъ, грѣшныхъ балетоманыхъ, я уже и не говорю. Всѣ эти баллоны, батманы, пируэты и прочіе жупелы мы только чрезъ *cabinets particuliers* и познаемъ. Я вотъ въ покровителяхъ-то балета три года уже числюсь, а, грѣшный человѣкъ, до сихъ поръ увѣренъ былъ, что баллонъ—это значитъ толстоногая балерина. И лишь надняхъ меня, слава Богу, въ невѣжествѣ моемъ разочаровали. . .

. . . . . \*)

1901.



---

\*) Осталось неконченнымъ по „независящимъ обстоятельствамъ“.

### III.

#### «Мѣсто Кюбное.»

(Къ исторіи петербургскаго дѣловаго дня).

— Баринъ, вставайте!

Назойливый зовъ этотъ, сопровождаемый стукомъ въ дверь, раздаётся добрую четверть часа. Дмитрій Михайловичъ поднимаетъ голову съ подушки и долго сидитъ на постели, бессмысленно хлопая глазами.

— Баринъ, вставайте!

— Да, всталъ, всталъ...— съ досадою рычитъ Дмитрій Михайловичъ, — отстаньте! надоѣли! Неужели уже десять часовъ?

— Половина одиннадцатаго.

— Чортъ знаетъ что! Никогда не разбудятъ во время...

Быстро умываясь и одѣваясь, Дмитрій Михайловичъ очень гнѣвенъ.

«Въ головѣ—словно черти въ чехарду играютъ!» — думаетъ онъ, сжимая мучительно стонущіе виски, — и мутить... нѣтъ, пора бросить эту жизнь! Вырезвить себя, да хорошенько заняться своимъ катарромъ желудка... Этакъ никакого здоровья не хватить, сгоришь въ какой-нибудь пятокъ лѣтъ...

Заглядываетъ въ бумажникъ и портмоне:

— Сто... четвертая... «вотанъ»... три серебряныхъ рубля... сто сорокъ три цѣлковыхъ! Н-недурно!

Дмитрій Михайловичъ всплескиваетъ руками и чувствуетъ себя въ угнетеніи:

— Сто сорокъ три рубля! Это изъ трехсотъ, полученныхъ вчера по чеку! Драть меня, подлеца, надо! прямо-таки драть! И куда я ухитрился ихъ разсовать? Сообразить не могу: всякую память отшибло...

Дмитрій Михайловичъ сидитъ за чайнымъ столомъ, со свирѣпостью читаетъ «Новое Время» и чувствуетъ себя все хуже и хуже.

— И съ чего бы такъ головѣ трещать?!.. Кажется, никакихъ особенныхъ эксцессовъ... Съ коньяку развѣ... Это что? — вскидывается онъ на горничную, подающую ему кипу бумагъ.

— Счета-съ...

— Тьфу-съ!

Съ искреннѣйшимъ негодованіемъ провѣривъ суммы, Дмитрій Михайловичъ отталкиваетъ кипу:

— Послѣ.

— Кучеръ очень пристааетъ...

— Послѣ, — скажите, Оеня, что послѣ.

— Портной тоже...

— Послѣ.

— Изъ магазина часового...

— Да что вы сегодня — взбѣситъ меня поклялись?! Къ чорту! Послѣ!

Горничная съ испугомъ скрывается за дверь. Дмитрію Михайловичу совѣстно, что онъ накричалъ на ничѣмъ неповинную дѣвушку.

— Оеня! — зоветь онъ уже голосомъ помягче.

— Что прикажете?

— Въ приемной есть ктонибудь?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— И никто съ утра не заглядывалъ?

— Ни души-съ.

Дмитрію Михайловичу опять хочется чертыхнуться, но

чай уже слегка оттянулъ тоску отъ сердца и потому онъ встрѣчаетъ неприятную новость съ большимъ хладнокровіемъ, чѣмъ можно было ожидать.

— Ни души, ни души,— бормочетъ онъ,— сегодня ни души, вчера ни души, третьяго дня тоже... Богъ знаетъ, какъ дѣла идутъ. Просто можно подумать, что въ Питерѣ весь клиентъ повымеръ... Я въ этотъ мѣсяць пятисотъ рублей не заработалъ, а тутъ—не угодно ли?!

Онъ съ уныніемъ перебираетъ кипу счетовъ.

— Шестьсотъ сорокъ цѣлковыхъ! Вотъ ты и вертись, какъ хочешь!.. Стало быть, опять надо ѣхать въ банкъ и трогать капиталъ. Этакъ я его въ одинъ годъ весь повыужу!.. Нѣтъ, драть, драть, драть надо нашего брата—единственное средство!

Съ огорченія, Дмитрій Михайловичъ углубляется въ биржевую вѣдомость. Самъ онъ на биржѣ не играетъ съ тѣхъ поръ, какъ однажды «не внесъ разницу», по привычка «слѣдить» осталась. Онъ ужасается паденіемъ бумагъ, восторгается поднятіемъ, вчужѣ смакуетъ, вожделѣетъ, завидуетъ...

— Нѣтъ, бакинскія-то, бакинскія въ какую гору полѣзли!—воскликаетъ онъ,—а? а? Если бы предвидѣть! 650! А я, идиотъ, спустилъ ихъ по 513.

Подаютъ завтракъ, — скучный, одинокій завтракъ старѣющаго холостяка. Дмитрій Михайловичъ лѣнивоковыряетъ вилкою котлету: кусокъ не идетъ ему въ ротъ; водки выпить бы, такъ, со вчерашняго переноя, и глядѣть на нее противно.

— Который день уже никакого аппетита!—злится онъ,—это болѣзнь... А, голова-то! голова! А томленіе подъ ложечкою.

Приемъ не состоялся,—дѣлать Дмитрію Михайловичу печего; одиночество тяготитъ. Слава Богу! звонокъ!.. Входитъ пріятель Дмитрія Михайловича, тоже присяжный по-вѣренный, какъ и онъ. Пріятель смотритъ на Дмитрія Ми-



хайловича, Дмитрій Михайловичъ на пріятеля и оба качаютъ головами.

— Однако... лицо!—говорить пріятель.

— Ну, братъ, и у тебя не лучше...

— Ты гдѣ вчера жизнь-то копчилъ?

— На Крестовскомъ... А ты?

Пріятель безнадежно машетъ рукою.

— Лучше не спрашивай!..

Молчаніе.

— Завтракать хочешь?

— Нѣтъ, какая тутъ ѣда... На свѣтъ не смотрѣлъ бы!..

— *Anxietas praecordialis*? предсердечная тоска? недугъ

Сауловъ?..

— *Katzenjammer*.

— Пренебреги!

Молчаніе.

— Дѣла есть?

— Какого чорта!—защищаю въ среду мерзавца какого-то по назначенію отъ суда,—вотъ и всѣ дѣла.

— Плохо.

— Хуже времени, кажется, и не бывало.

— Это—по-татарски йокъ, а по-русски—нѣтъ ничего.

— И отчего это кліентъ перевелся?

— Денегъ ни у кого нѣтъ... судиться страшно: вдругъ, моль всего себя просудишь? Смотри: бракоразводчики—ужъ на что ихъ специальность доходна—совсѣмъ носы повѣсили, хоть шаромъ покати—нѣтъ разводовъ. Прежде мужъ и жена, чуть поругались, и врозь: десять тысячъ адвокату въ зубы,—и орудуй! разлучай! барыши твои! А теперь зачастую со скрежетомъ зубовымъ живутъ между собою, а все-таки живутъ, потому—развестись не на что...

Пріятель зѣваетъ

— Скажи, Дмитрій Михайловичъ: ты что же такъ весь домъ намѣренъ просидѣть въ канурѣ?

— Хороша канура! Я за квартиру-то двѣ тысячи плачу.

— Да я не въ томъ смыслѣ... А тоска какая-то беретъ въ четырехъ стѣнахъ... давить... воздуха хочется.

— Хорошъ воздухъ теперь! Посмотри въ окно: всего еще часъ дня, а надо уже лампы зажигать, изъ за тумана— въ полдень уже сумерки.

— Все же лучше... Поѣдемъ! Хоть въ обществѣ посидимъ.

— Эге?! Въ обществѣ?

Дмитрій Михайловичъ смотритъ на пріятеля окомъ сожалительно-негодующимъ и презрительно свиститъ.

— Это, значить, ты попросту меня къ Кюба тащишь? Нѣтъ, братъ, атанде. Стара штука.

— Да что же дѣлать-то?

— Гм...

— Говорю тебѣ: хотъ людей посмотриѣть. Что подѣлаешь? Мы дѣти толпы, — намъ толпа нужна, какъ воздухъ.

— Да, милый человѣкъ, вѣдь тамъ, навѣрное, всѣ наши!

— Ну, такъ что же? Тѣмъ лучше!

— Да вѣдь — дьяволы!

— Ну, ужъ и дьяволы!

— Флаконы пойдутъ...

— Нѣтъ, ужъ это дудки, — съ горячностью протестуетъ пріятель, — это надо оставить! Я прямо не позволю... Что это за безобразіе? Каждый день — съ утра нализываться... Интеллигенты мы, наконецъ, или свиньи?

— Пойдутъ флаконы, — съ мрачнымъ фатализмомъ повторяетъ Дмитрій Михайловичъ.

— Клянусь всѣми богами преисподней.

Ужель ни влятвъ, ни общаній  
Ценарушимыхъ больше нѣтъ?

Такъ — поѣхали?

— Да что же? Поѣхали! Видно, отъ судьбы не уйдешь...

Свѣжій воздухъ слегка ошеломляетъ обоихъ друзей. Они ѣдутъ молча. Кучеръ везетъ ихъ омерзительно, какъ только

можетъ везти кучерь, которому въ концѣ ноября не заплачено еще за октябрь. Дмитрій Михайловичъ въ душѣ свирѣпъ, но ругаться не смѣетъ.

Зеркальные залы Кюба переполнены гостями. Дымно, чадно, людно, шумно. Тѣснота, стукъ ножей, громкіе разговоры. Нѣсколько посѣтителей, не изъ числа habitués, безпомощно бродятъ между столиками, тщетно стараясь найти себѣ хоть плохенькое мѣстечко.

Бѣлая куртка хозяина и колпакъ распорядителя оживляютъ двумя бѣлыми пятнами черную массу гостей, появляясь въ ней то здѣсь, то тамъ. Дмитрій Михайловичъ и пріятель его мѣсть не ищутъ: они здѣсь свои люди, у нихъ—стулья исконные, насиженные. У входа швейцарь передаетъ Дмитрію Михайловичу нѣсколько писемъ на его имя.

— Что это?—изумляется пріятель.

— Видишь: письма.

— Тебѣ пишутъ столько писемъ къ Кюба?

— Да вѣдь знаютъ, что я здѣсь бываю каждый день...

— Гмъ... А въ полиціи ты какъ значишься? Прописанъ по своему адресу или числишься обывателемъ ресторана Кюба, по столу № 10?

— Остри, остри... Н - не намъ съ тобою чета: цѣлымъ департаментомъ ворочаетъ, а ему сюда не только письма писали, но и курьеры дѣловыя бумаги носили...

«Всѣ наши» въ сборѣ; Дмитрія Михайловича съ пріятелемъ встрѣчаетъ, поэтому, хоръ такихъ восторженныхъ восклицаній, точно они прилетѣли съ луны и невѣсть какъ удивили своимъ появленіемъ остальную честную компанію.

— Господа, безъ овацій!—говоритъ Дмитрій Михайловичъ,—двадцати четырехъ часовъ еще не прошло, какъ мы видѣлись...

— Теперь комитетъ въ полномъ составѣ!—заявляетъ кто-то.

— Какой комитетъ?

— Развѣ ты не знаешь? Мы прозвали нашъ столъ

«комитетомъ общественнаго спасенія въ непрерывномъ засѣданіи»...

—Ха -ха -ха!

Народъ все валить, и валить. За однимъ столомъ— биржа, за другимъ—какой-то «грекъ изъ Одессы» маклачить «еврею изъ Варшавы», на льготныхъ условіяхъ, покупку дома, тамъ—бѣговикъ, здѣсь—атлеты.

Вотъ—знаменитый «московскій столъ»; во главѣ его возсѣдаетъ одинъ изъ желѣзнодорожныхъ королей нашего времени: изящное, умное лицо, съ внимательными, не безъ искорки юмора глазами, въ тщательно убранныхъ сѣдинахъ. Вокругъ него — цѣлая свита самага пестраго смѣшенія: тутъ и дѣльцы, и купцы, и художники, и музыканты, и пѣвцы... Въ свитѣ замѣтны нѣсколько тузовъ, которые сами давно милліонеры, но остались подручными московскаго креза, какъ вассалы, покорные щедрому королю. Вотъ столикъ, изо дня въ день занимаемый однимъ и тѣмъ же брюнетомъ южнаго типа, лысоватымъ со лба, съ чудеснѣйшею бородкою на маперѣ Буланже съ саркастическимъ складомъ крѣпко сжатыхъ губъ. Не то — дипломатъ, не то — сутенеръ, не то — крупье, не то — по полиціи, не то — не дай Богъ встрѣтиться въ глухомъ переулкѣ.

— Кто это? — спрашиваетъ провинціалъ бывалаго кюбиста.

Кюбистъ нагибается черезъ столъ и тихо говоритъ фамилію. У провинціала — легкій припадокъ столбняка, глаза лѣзутъ изъ орбитъ и паръ идетъ отъ лысины.

— Скажите, пожалуйста! — шепчетъ онъ, — вотъ не ожидалъ... Просто, знаете, ходить сюда страшно: сядешь по благовому невѣдѣнію рядомъ съ этакою силою, — а потомъ, какъ откроется инкогнито сосѣда, вѣдь этакъ можно родимчикъ получить съ испуга.

— Это вамъ съ непривычки!

Кучка «золотой молодежи». Имена громкія, титулы — «ятельства» и «ѣйшества», лбы мѣдныя, карманы пустые.

Соч. А. Амфитеатрова.

15

— Крюшонъ!

— Какой марки прикажете?

— Н-нѣтъ, знаешь... шампанское надоѣло...

— Бѣлое вино позволите?

— Н-нѣтъ, для оригинальности, красное...

Просіявшая было при словѣ «крюшонъ» фізіономія лакея вытягивается.

— Д-да, именно красное, кавказское...

— Слушаю-сь.

— Вольешь бутылку вина и пять бутылокъ сельтерской воды. Понялъ

— Понялъ,—гробовымъ голосомъ отвѣчаетъ татаринъ.

— Да... И положи ты туда, братецъ...

— Ананасикъ взрѣзать прикажете?

— Нѣтъ, какіе теперь ананасы!... Огурецъ пусти плавать, хорошій, свѣжій огурецъ...

Мѣсива этого, разумѣется, никто не пьетъ, но — на столѣ высится крюшонное ведро, стоятъ шампанскіе стаканы: полная декорация дорогого разгула — на три цѣлковыхъ! Ура! «старая гвардія умираетъ, но не сдается!» честь спасена!

Въ «комитетѣ общественнаго спасенія» весело. Кислая фізіономія Дмитрія Михайловича и пріятеля его, послѣ того, какъ они потолклись у буфета, нѣсколько прояснились.

— Неужели это постоянные здѣшніе завсегдатаи? — спрашиваетъ провинціаль.

— Съ часу до пяти — ежедневно.

— Богатые люди?

— Какъ сказать? Двое-трое съ крупными состояніями, большинство живетъ своимъ трудовымъ доходомъ. Вотъ этотъ — графъ Моэтъ де-Шандонъ...

— Кой чортъ? Развѣ есть такіе графы?

— А, голубчикъ, въ «комитетѣ общественнаго спасенія» у всѣхъ свои клички и свой жаргонъ. Они, если деньги начнутъ считать по своему, такъ съ ума могутъ свести непри-

вычнаго челоуѣка. Размѣняйте мнѣ вотанъ на два вей-хай-вейчика! — это, напримѣръ—каково вамъ покажется?

— Ничего не понимаю.

— А очень просто: размѣняйте мнѣ 15-ти-рублевый золотой на два по семи съ полтиной. А почему первый— вотанъ, а второй—вей-хай-вейчикъ,—тайна сего сокрыта во мракѣ неизвѣстности. Но далѣе!.. Вотъ фабрикантъ, присяжный повѣренный, судебный слѣдователь, актеръ, биржевой маклеръ, gentier съ Урала, журналистъ... Все народъ дѣловой и занятой, но когда они успѣваютъ свершать свои дѣла и исполнять обязанности—прямо магическій фокусъ-покусъ какой-то. А между тѣмъ всѣ работаютъ много и не на малыя тысячи.

Время отъ времени члены комитета нагибаются другъ къ другу и таинственно произносятъ:

— Фигура или птица?

— Одинаковыя или разныя?

— Угодно вамъ колонну?

— Для васъ готова-съ предсѣдателемъ.

— Вотанъ подъ перцемъ?

— Вей-хай-вей подъ солонкою.

— Эта бутылка имѣетъ что-то для васъ.

— Желтое?

— Нѣтъ—гдѣ намъ!—мы попросту: бѣленькое!

Злополучный провинціалъ хлопаетъ глазами въ глубочайшемъ недоумѣніи.

— Въ самомъ дѣлѣ, масонская ложа какая-то... Говорятъ по-русски, а смыслъ получается самый карайбскій!..

Иные изъ таинственныхъ масоновъ, на предложенные вопросы, не произносили ни слова въ отвѣтъ, но молча описывали пальцемъ кругъ около лица своего, или же трепетали перстами въ воздухѣ, на подобіе крыльевъ... Сіе имѣло видъ загадочный и жуткій.

— Орель!

— Фигура!

\*

— Птичка!

— Лицо!

И, въ соотвѣтствіи съ магическими знаками и заклинаніями, откуда то, изъ подъ салфетокъ и ладоней, сложенныхъ гробиками, выползають и передвигаются по скатертямъ золотыя и серебряныя монеты.

Провинціалъ окончательно озадаченъ... Петербуржцы продолжаютъ свой дѣловой день... \*)

1897.



---

\*) *Tempi passati!* Всего шесть лѣтъ, а это уже—„старый Петербургъ“, легендарный. „Желѣзнодорожные короли“, „Лысые дипломаты“ и даже 15-рублевые и семи съ-полтинные золотые исчезли съ російскаго горизонта... Но, въ остальномъ, вѣроятно, и по сей-часъ—съ подлиннымъ вѣрно. Такова жизнь: формы мѣняются, существо не переходитъ.

А. В. А. 1903.

#### IV.

### Наводненскій Гамлетъ.

Слава Богу, — снѣгъ и первопутка. Зима въ Петербургѣ тоже не ахти какая радость, но все она — хоть «нѣчто», съ чѣмъ знаешь, какъ дѣло имѣть, а не та неопредѣленная слякоть, расплывчатая и простудная, въ которой — до вчерашней вьюги — барахтался Петербургъ цѣлый мѣсяць. Сыро, холодно, сумрачно, грязныя мостовыя, брызгающія шины, потопъ на Нѣвѣ, — вотъ содержаніе петербургскаго октября и двухъ первыхъ ноябрьскихъ недѣль. Ни зима, ни осень, ни снѣгъ, ни дождь, — мзга и мгла день-деньской... Какой-то сплинъ вмѣсто воздуха. Ангины, дифтериты, бронхиты. Заходитъ пріятель. Флюсище — во всю щеку, а настроеніе.. такъ и чувствую: не мозгами уже мыслить и созерцаетъ міръ сей человѣкъ, а вотъ этимъ страшнымъ, въ конецъ измаявшимъ его, флюсомъ. Пришелъ, сидитъ, молчитъ. Спрашиваю:

— Другъ! Что пасмурень?

Мычить:

— Не замай!.. я сегодня въ оппозиціи!

— Скажите, пожалуйста! Кому же и чему?

— Петру Великому — вотъ кому.

— Excusez du peu!

— Угораздило же его выстроить столицу на этакомъ безпросвѣтломъ болотѣ!

— А ты сколько лѣтъ живешь въ Петербургѣ?



— Самъ знаешь: сызмалу.

— И все не привыкъ?

— Привыкнешь тутъ, когда днемъ нечѣмъ дышать, а ночью пушка бухаетъ—оповѣщаетъ, что, молъ, не безпокойтесь, добрые люди,—все имѣетъ теченіе въ законномъ порядкѣ, совершенно согласно обычному осеннему росписанію ингерманландской природы: Нева заливааетъ Гавань и Лахту, гонить голыхъ и босыхъ людей изъ жилья на мятель, разноситъ по волнамъ ихъ пожитки... Брр! Вѣришь ли, съ наводненія этого,—вотъ уже вторая недѣля,—я чувствую къ Невѣ что-то въ родѣ ненависти... По крайней мѣрѣ, я сейчасъ не безъ злораднаго чувства увидаль ее подъ ледяною корою: что, дескать, сократили и тебя, безобразницу?

— Откуда столь архи-полицейскіе идеалы? Посадить рѣку въ участокъ,—это хоть бы Угрюму-Бурчееву.

— Если бы ты зналъ, какъ я изстрадался за наводненіе!

— Не спалъ ночь?

— Конечно, нѣтъ. Лежу подъ одѣяломъ и, чуть пушка, вздрагиваю: ахъ, бѣдныя! Мнѣ тепло, я на мягкихъ подушкахъ, а имъ... До сна ли тутъ? Просто—извертѣлся весь отъ состраданія

— Ишь какой цивическій мученикъ! Подушки-то цѣлы ли? И больно извертѣлся?

— А ты думалъ: какъ?! Эти, братъ, социальныя угрызенія.. они, братъ, хуже блохъ...

— Поутру пожертвованіе въ пользу пострадавшихъ отъ наводненія послалъ?

— Даже два:

— *Mein Liebchen, was willst du noch mehr?* Столичная альтруистика продѣлана тобою полностью. По катехизису доблестнаго сына отечества и образцоваго буржуа. Гражданская повинность отбита—почій на лаврахъ, спи спокойно и не тронь Петра Великаго. Ибо, во-первыхъ, онъ Великій, а мы маленькіе...

— Это ты изъ знаменитой рѣчи Морошкина о причинахъ замедленій и преткновеній въ русской исторіи?

— Во-вторыхъ, онъ бронзовый и, слѣдовательно, оппозиція твоя ему—что стѣнѣ горохъ, а, въ-третьихъ, вспомни трагическій прецедентъ: на подобной же оппозиціи соскочилъ съ пахвей герой «Мѣднаго всадника».

Пріятель мой нахмурился.

— А знаешь ли? всякій разъ, какъ въ Петербургѣ наводненіе, когда я вижу эти бурия ярыя волны, поднятыя борьбою вѣтра съ теченіемъ, когда изъ подваловъ хлещеть фонтанами вода, я съ нѣкоторымъ суевѣріемъ вспоминаю другое стихотвореніе... Ты слыхалъ, что нѣкогда жилъ да былъ на Руси поэтъ Дмитріевъ?

— Баснописецъ?

— Нѣтъ, не Иванъ Ивановичъ, тайный совѣтникъ и министръ, а Михаилъ Дмитріевъ, писатель тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Былъ онъ ярый славянофилъ и москвичъ до корня волосъ. Тогда у Москвы была мода—враждовать съ Петербургомъ и полемизировать съ петербуржцами чуть не до ножей... Дмитріевъ «Петра творенье» ненавидѣлъ больше, чѣмъ Загоскинъ, чѣмъ Константинъ Аксаковъ. И вотъ вылилась у него отъ большей злости однажды очень эффектная баллада. Плавалъ въ челнѣ по морю старикъ-рыбакъ съ мальчикомъ подручнымъ... «Дѣдь!—спрашиваетъ мальчишка,— правда ли, что на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь плывемъ, стоялъ когда-то великій городъ?» — «Правда, внучекъ!»

Богатырь его построилъ,  
Топь костями забутилъ...  
Только съ Богомъ какъ ни спорилъ—  
Богъ его перемудрилъ!

У воды былъ отвоеванъ городъ—вода и взяла его обратно». — «А какъ было имя тому городу, дѣдь?» — «Имя то?»

Имя было... да какое —  
Позабыто ужь давно:  
Оттого, что не родное  
И не памятно оно.

— Ишь какія страсти лѣзуть тебѣ въ голову.

— Да, братъ, лѣзуть. Рано или поздно — потопнемъ.  
Всѣ потопнемъ: этого намъ не миновать.

— Картина грандіозная. Только не разберу: то ли она дантовская, то ли горбуновская — помнишь, изъ знаменитаго «Потопа»? «И поплыли людіе, кто по-лягушечьи, кто по-собачьи... И всѣ потонули, а ковчегъ плывётъ... Одинъ въ чуйкѣ — должно изъ фабричныхъ — здорово саженками козырять... А ковчегъ плывётъ... Только и этотъ фабричный тоже потонулъ!.. а ковчегъ плывётъ!»

— Смѣйся! Смѣйся!

— А еще живешь на Литейной, въ третьемъ этажѣ! — мало-мало что не на Араратѣ! Что же было бы, кабы поселить тебя...

— Въ Гавань?! Типунъ тебѣ на языкъ! Я и на Фонтанкѣ сошелъ бы съ ума отъ страха...

— Ну, успокойся, просвѣщенный мореплаватель! Петербургъ не такъ легко проглотить.

— Цѣликомъ — конечно, да. Но неужели у тебя не болить сердце за эти кусочки, что отгрызаетъ отъ него каждый новый потопъ? Неужели, когда ты видишь разоряемую Невою гаваньскую голь, нищую, голодную, холодную, отчаянную, злую, ты способенъ утѣшаться самъ и ее утѣшать назиданіемъ: это, молъ, ребята, ничего, не въ первой, бывало и хуже! И прадѣды, и дѣды, и отцы ваши на семъ мѣстѣ тонули, и дѣти, и внуки тонуть будутъ... Отчего же и вамъ не тонуть? А, въ возмездіе этой непріятности, — не плачь, не плачь, вотъ-те калачъ! — получайте съ меня на разживу пять серебра...

— Ну, гдѣ же пять серебра? Посмотри-ка благотворительные отчеты: за нѣсколько дней сборы перевалили за тридцать тысячъ.

— Да хоть бы за пятьсотъ! Представь: мнѣ иной разъ даже жаль, что собираютъ такъ много!

— Съ міру по ниткѣ — голому рубашка.

— Давай Богъ!.. да вѣдь будущю осенью рубашка опять уплыветъ внизъ по теченію?

— Ничего, опять сошьемъ новую.

— Такъ вы ужъ запаситесь предварительно безконечнымъ полотномъ Пенелопы.

— Чудакъ! Стало-быть, по-твоему, не надо помогать жертвамъ наводненія?

— Пожалуйста, не навязывай мнѣ нелѣпыхъ мыслей! Сейчасъ - помоги, да подумай и о томъ, чтобы впредь не пришлось помогать. Не то помощь, что удовлетворяетъ просьбу «на сей разъ», а то помощь, что удовлетворяетъ ее такъ прочно, что «сей разъ» и повториться не можетъ. Ну, скажи на милость: устранять ли эти 30.000 рублей возможность, что, раздѣлившіе ихъ между собою, бѣдняки на будущую осень снова подвергнутся нерадостной обязанности протягивать руку за общественнымъ подаваніемъ? Что Петербургъ одѣлъ ихъ, обулъ, напоилъ, накормилъ — очень прекрасно. Но мало этого, мало! Надо удалить корень зла...

— То-есть—либо выселить бѣдный людъ изъ Гавани и поступиться ею побѣдителю-морю, либо сдѣлать Гавань другою? Первое невозможно: у Гавани слишкомъ сложная трудовая, промышленная, фабричная, торговая жизнь, чтобы бѣднякъ рѣшился, даже подъ вѣчнымъ смертнымъ рискомъ, отказаться отъ непосредственной близости къ своей кормилицѣ Невѣ. Она для Петербурга — что для Неаполя Везувій для Сициліи Этна. Землетрясенія разрушаютъ дома, лава заливаеъ виноградники... Богъ съ ними! Неаполитанцы все-таки не уступаютъ подземному огню склоновъ Везувія, сицилійцы — Этны. Изверженіе разорить десятокъ-другой семействъ, разгопить съ занятыхъ территорій два-три околотка.. а, глядишь, чуть оно затихло, бѣглецы, какъ ни въ чемъ не бывало, снова селятся бокъ-о-

бокъ съ развалинами недавняго жилья: новое, моль, изверженіе, будетъ ли, нѣтъ ли, это—*chi lo sa?* это—какъ Мадонна и Санъ-Дженнаро прикажутъ! а ужъ почвы такой благодатной не найти нигдѣ въ мірѣ... Такая же кормилица — и грозная, и щедрая вмѣстѣ — для гаваньца Нева. Жить близъ нея—периодически разоряться отъ воды. Жить вдали отъ нея — постоянно разоряться отъ безработицы. Стало быть, не гаваньца надо удалять отъ Невы, а Неву отъ гаваньца.

— Вотъ-вотъ! О томъ-то я и говорю.

— Такъ успокойся: газеты полны проектами...

— Ахъ, газеты!

— Дума избрала комиссію...

— Ахъ, дума!

— Ахъ да ахъ! Нельзя такъ, братецъ: это не хорошо,— общественнымъ скептицизмомъ называется...

— Да пойми: у меня голова сѣдѣетъ, а я вотъ какой маленькій отъ земли былъ, когда проекты, да комиссіи-то эти создавались и созывались.

— А тебѣ бы тяпъ-ляпъ, да и вышелъ корабль? Имѣй, братъ, терпѣніе: «скорость потребна только блохъ ловить»,—говорилъ Суворовъ.

— Ну, могу ли я повѣрить,—волновался онъ,—чтобы, какъ пишутъ, уровень Гавани подняли земельными насыпями на четырнадцать футовъ выше невскаго ординара? Могу ли я повѣрить въ какія-то дамбы голландскія, если я объ этихъ дамбахъ слышу... вотъ уже скоро двадцатипятилѣтній юбилей справлю, какъ началъ слышать. Дамбы! дамбы! голландскія дамбы! Знаешь, это для меня почти... миѣ какой-то! Въ родѣ загадки объ эхо: никто его не видитъ, но всякій слышитъ. У всякаго навязли въ ухахъ разговоры о дамбахъ, но кто когда-либо видѣлъ голландскую дамбу? Никто и никогда. Существуютъ голландскія бабки, голландскія сельди, голландскія печи, голландскіе сыры, но голландскія дамбы—изобрѣтеніе баснословія...

— Однако инженеры требуют всего пять лѣтъ для ихъ сооруженія.

— Пять лѣтъ?! Но вѣдь это, можетъ быть, пять наводненій?!

— А, ты невозможенъ! Это уже истерическіе капризы какіе-то. Нельзя же выстроить Римъ въ одинъ день...

— Да я не о срокѣ постройки... а бѣдныя-то, бѣдные что будутъ въ это время дѣлать? ихъ куда приспособить?

— Ну-ну!.. не каждый же годъ мокрый, авось, выберется какой и посуше...

— То-то «авось»!.. Разсуждаешь, точно сваха: «не всякій же день женихъ-отъ пьянехонекъ, иной разъ будетъ и тверезый».

— Ну, наконецъ, и спѣшная, временная помощь уже готова: ужъ собираются деньги на домъ съ дешевыми квартирами...

— Не хочу, чтобы домъ! — капризно отвѣчалъ пріятель.

— На тебя ничѣмъ не угодишь... Почему же?

— Потому что это будетъ не дешевый квартирный домъ въ Галерной Гавани, а — галерное общежитіе.

— Играть-то словами легко!

— Да нѣтъ. Я долгимъ и постояннымъ наблюденіемъ убѣдился: бѣдной толпѣ не слѣдуетъ очень скученно обшиться подъ одною кровлею. Бѣдному человѣку нуженъ свой уголокъ, облюбованный, чтобы сохранить индивидуальность, — индивидуальную нравственность, «духъ совершенъ». А общежитія нищеты... Если они создаются самою нищетою, — выходитъ Вяземская лавра. Если ихъ создают для нищеты благотворительнымъ порядкомъ, выходитъ галерное общежитіе... Это — фатумъ!

— Что же надо сдѣлать по-твоему?

— Откуда же мнѣ знать? Я только чувствую, что «не то», а «то» указать... ишь чего ты захотѣлъ! Я, братъ,

слава Богу, не англичанинъ или американецъ какой-нибудь, я—русскій интеллигентъ... Чутья пропасть, толка никакого! Способенъ на великіе подъемы духа, но — все въ безпредметныя пространства... Вотъ и сейчасъ — сижу передъ тобою и ною... наводненскій Гамлетъ!

— Да, можетъ быть, у тебя это отъ флюса?

— Можетъ быть!

— Итакъ практическою стороною наводненской благотворительности ты недоволенъ.

— Ахъ, не доволенъ, ты не хочешь меня понять, а — панацеи мнѣ хочется! сѣображаешь? панацеи!

— Соображаю. Ну, братъ, съ панацеями погодить надо. Старики, хоть не панацеи, а все же настойку супротивъ сорока недуговъ знали, а мы... одна у насъ панацея, да и ту эфедрую бранять. Стало быть, не мечтая о панацеяхъ, поклонись и палліативамъ.

— Палліативы!.. Петербургскіе палліативы!

Пріятель съ горькою улыбкою дѣлалъ какіе-то странные жесты, точно ловя въ воздухѣ нѣчто ускользящее.

— Это что за пантомима?!

— Шары... все шары — въ безпредметное пространство! Знаешь, какъ на вербахъ: оборвется у мальчишки связка съ шарами — и фюить, плывутъ они на воздушномъ океанѣ, безъ руля и безъ вѣтриль, никому не полезные — кромѣ двухъ-трехъ вяземцевъ, которые, пока публика зѣваетъ на этотъ полетъ, чистятъ карманы...

1898.



## V.

### Изъ мыслей о петербуржцахъ.

Что есть коренной петербуржецъ? Разъ предлагается раздѣленіе петербургскаго жительствова на коренное и пришлое, гдѣ признаки, по коимъ оно можетъ быть произведено?

Изъ ста петербуржцевъ, считающихъ себя таковыми по мѣсту жительства, службы, по матеріальнымъ, кровнымъ и нравственнымъ связямъ, я полагаю, не найдется и десяти «коренныхъ» петербуржцевъ, такихъ, чтобы и родились, и воспитались въ Петербургѣ, да и отцы, и дѣды ихъ были петербуржцами. Петербургъ — сверху до низу — городъ отхожаго промысла для всей Россіи. Во всемъ: во власти, въ наукѣ, въ искусствѣ, въ торговлѣ. Просмотрите «Весь Петербургъ» — университетъ, судъ, ученые общества, крупныя торговыя фирмы, редакціи газетъ и журналовъ: петербуржцевъ, въ строгомъ требованіи этого слова, вы встрѣтите процентъ самый незначительный. Петербургъ — городъ безъ петербуржцевъ. Онъ — собирательный центръ дѣятельности для всей Россіи, и, съ этой точки зрѣнія, гораздо больше заслуживаетъ наименованія «сердца» нашего отечества, чѣмъ Москва, гдѣ свой, коренной элементъ, дѣйствительно, преобладающе господствуетъ надъ пришлымъ и приходящимъ.

Итакъ, строго разбирая, петербуржцевъ природныхъ почти нѣтъ вовсе. Это — миѳъ въ родѣ бѣлаго волка; гово-



рять, будто такіе бываютъ, но—видять ихъ разъ въ столѣтіе семидесятилѣтніе пастухи, да и то со сна и въ подпитіи, —обыкновенно же бѣгають и жрутъ овецъ все сѣрье.

Петербургъ для Россіи сыгралъ ту же роль, что, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, Римъ —для всего міра, который, къ слову замѣтить, былъ тогда много меньше современной Россіи.

Вы посмотрите, сколько насъ:  
Я галлъ, вонъ свевь, ты ессалиецъ,  
Онъ изъ Египта, тотъ сиріецъ, —  
А что же общаго у насъ  
Съ Египтомъ, съ Галліей, странами,  
Гдѣ и выросли-бъ мы дикарями,  
Когда-бъ не Римъ!..

говорить у Майкова адвокатъ Галлусъ на Деціевѣ пирѣ, въ поэмѣ «Два міра», которую поэтъ первоначально соби-рался назвать «Два Рима». А исконный римлянинъ — «Romano da Roma» —шипить въ отвѣтъ безсильную реплику:

Пойми, я Фабій,—и въ сенатѣ  
Мнѣ мѣста нѣтъ! Кто жъ тамъ сидитъ?  
Иберецъ, грекъ, сиріецъ, бриттъ!..

Если лѣтъ черезъ тысячу какой-нибудь новый Майковъ обратится мыслью къ нашимъ давно прошлымъ временамъ и напишетъ поэму «Два Петербурга», монологи эти могутъ остаться въ поэмѣ будущаго почти неприкосновенными. Конечно, пиръ опальнаго Деція придется замѣнить вечеромъ у, отданнаго подъ судъ, директора упраздненнаго департа-мента Препонъ и Умопомраченій, Галлуса—адвокатомъ Балалайкою, Фабія—экзекуторомъ Яичницею, но остальное подлежитъ лишь самому незначительному обновленію..

Вы посмотрите, сколько насъ:  
Ты ляхъ, онъ финнъ, я астраханецъ,  
Тотъ изъ Тифлиса, сей - коканецъ,  
Тому отчизна—Арзамасъ!  
А что же общаго у насъ  
Съ Коканомъ, Польшею, Тифлисомъ,  
Гдѣ намъ, какъ бы церковнымъ крысамъ,  
Пришлось бы вѣрно голодать,  
Когда-бъ не Петербургъ?..

За неимѣніемъ въ Петербургѣ петербуржцевъ совершенно чистой воды, надо считать таковыми жителей, хотя и пришлыхъ, но находящихся въ Петербургѣ на постоянномъ и болѣе или менѣе продолжительномъ кормленіи и при постоянныхъ и болѣе или менѣе продолжительныхъ мѣстныхъ занятіяхъ. Петербуржцы не nascuntur, а fiunt Петербургъ—реторта, куда провинціалъ попадаетъ, какъ повѣйшій *Nomunculus*, и, спустя нѣкоторый срокъ, вырѣиваетъ въ петербуржца.

Какой же срокъ, однако? Вспоминаю одну замѣчательную интеллигентную благотворительницу, переселившуюся въ Питеръ изъ Сибири. Когда я въ одномъ фельетонѣ привелъ ея дѣятельность въ примѣръ петербургской отзывчивости на голосъ чужой пужды,—я получилъ возраженія отъ проживающихъ въ столицѣ скептиковъ, что—Петербургъ въ дѣятельности благотворительницы не при чемъ, и объясняются ея добродѣтели исключительно тѣмъ, что она—недавняя сибирячка, и сибирскія начала изъ нея еще не вывѣтрились. А вывѣтрятся—и ау! Отъ совѣсти останутся одни укоры. Страшно... за Петербургъ страшно!

Въ Америкѣ я въ пять лѣтъ становлюсь натурализованнымъ гражданиномъ Соединенныхъ Штатовъ, а черезъ двадцать пять лѣтъ прикрѣпляюсь къ нимъ настолько, что могу баллотироваться въ президенты республики. Сколько же лѣтъ требуется провинціальному *Nomunculus*у для того, чтобы перевариться въ петербуржца? въ какомъ возрастѣ и чинѣ съ нимъ это приключается? Я самъ—«пришлый элементъ», и меня этотъ вопросъ интересуетъ, какъ кровный. Если, напримѣръ бѣсъ толкнетъ меня поступить на службу, хотя бы въ департаментъ Побѣдъ и Одолѣній, сдѣлаюсь ли я петербуржцемъ въ тотъ самый моментъ, какъ вдѣну на плечи фракъ съ свѣтлыми пуговицами, или надо предварительно дослужиться, по крайней мѣрѣ, до налворнаго совѣтника и ордена святыя Анны на шею?

Мужики къ петербуржцамъ добрѣе интеллигентовъ и

благодарнѣе. Въ то время, какъ интеллигентъ-провинціалъ, на петербургскомъ поселѣ, старается уловить въ петербуржцѣ даже десятилѣтней и болѣе давности черты калужинина, астраханца, полтавца и т. д., — мужики своихъ ходебщиковъ, даже и мелькомъ побывавшихъ въ столицѣ, съ почетомъ записываютъ въ «питерщики»: такъ ему и остается до смерти, точно клеймо приложено — прикоснулся моль къ центру всероссійской культуры и временно усыновленный онимъ, явился среди насъ, темныхъ, его цивилизованнымъ представителемъ.

Принято укорять Петербургъ безсердечіемъ. Это — общее и не особенно умное мѣсто. Вездѣ есть люди добрые, вездѣ и черствые. Разумѣется, и въ Петербургѣ они распредѣлены въ такой же пропорціи, какъ и въ другихъ городахъ. Не больше и не меньше.

Скитаясь по бѣлому свѣту, я мало-по-малу убѣждался повсемѣстно въ несправедливости традиціонныхъ аттестацій, связанныхъ общественною молвою съ большими городами. Эпитеты, въ родѣ «холодный Петербургъ», «добродушная старушка Москва», «простецкая степнина» — величайшая и обманная пошлость, въ родѣ такихъ же увѣреній, что за границей русскому «настоящей жизни» нѣтъ, а потому —

Не уѣжай, голубчикъ мой,  
Не покидай края родные, —  
Тебя тамъ встрѣтятъ люди злые  
И скажутъ: ты для насъ чужой!

Всѣ эти клички, увѣренія и аттестаціи, съ развитіемъ желѣзнодорожнаго сообщенія, понемногу, слава Богу, отходящія въ вѣчность, — не болѣе какъ маски, въ которыя рядится общественное лицемѣріе, когда того требуетъ случай.

— А не надуете вы меня, Иванъ Дмитричъ?

— Я? Тебя? Окстись, парень! Да ты гдѣ?

— Въ Москвѣ, Иванъ Дмитричъ, въ Большомъ Московскомъ Трактирѣ...

— То-то, въ Москвѣ! Изъ оконъ-то — что это видать?

— Ну, Кремль!

— Золотыя маковки, колокола... благолѣпіе! Ну, самъ ты посуди: нешто намъ возможно надувать, памятуя этакое? Это вы тамъ, у себя, въ Петербургѣ нашемъ, обнѣмечились... точно не люди стали... все у васъ расчеты, да подвохи... на стыдъ всему міру, по нѣмецкому маниру! А мы, братъ, люди простые, ѣдимъ пряники не писанные... Гуляй, душа, безъ кунтуша! Вотъ, каковы есть,—всѣ на распашку! У васъ по балансу, а у насъ по божецкому. Такъ-то, милый человѣкъ... по рукамъ, что ли?

— Гмъ... н-ну... по рукамъ...

— И расчудесно... Молись Иверской, да Господи благослови, ѣдемъ къ нотаріусу — условіе писать. А опосля—могарычи распивать въ Стрѣльну...

— Ну, Стрѣльна-то и лишняя, пожалуй.

— Какъ лишняя, помилуй? Нельзя, братецъ! Дѣло того требуетъ. Въ Москвѣ мы, али нѣтъ? У насъ, братъ, природы просторныя. Раззудись, плечо, размахнись, рука! Это вы тамъ у себя, въ Петербургѣ нашемъ, съ чухонцами, да нѣмцами, сами обнѣмечились, и т. д., и т. д. Да саро ал фпе, какъ говорятъ музыканты.

Если разбирать по справедливости, то Петербургъ — «холодный» и «расчетливый» Петербургъ — именно городъ, гдѣ расчетливости давно и въ поминѣ нѣтъ, гдѣ общительность — въ томъ числѣ и та, безалаберная, что выражается радушіемъ и гостепріимствомъ, доведена до той ступени, гдѣ еще шагъ — и добродѣтель станетъ порокомъ. О, читатель мой! если вы не миллионеръ, — да и то миллионы лишь шансъ, а отнюдь не гарантія! — и живете въ Петербургѣ, какъ живутъ въ Европѣ всѣ добрые буржуа, то есть не превышая своихъ средствъ, не дѣлая долговъ или, по крайней мѣрѣ, не шевеля сбереженій своихъ, — пришлите мнѣ вашъ портретъ! Я помѣщу его въ одну кунсткамеру съ природнымъ и кореннымъ петербуржцемъ и наживу деньги, показывая добрымъ людямъ столь рѣдкостную пару.

Что за славная столица  
Развеселый Петербургъ!  
Привези рублей хоть десять,—  
Всѣ въ полгода проживешь!

пронизировала старая лакейская пѣсня. И, что прежде, то и теперь: именно, отъ лакейской до самой, что ни есть, *haute finance*, въ Петербургѣ все куда-то и зачѣмъ-то тянется, чтобы «быть не хуже людей»... проживаетъ все, законно и по правилу достающееся, въ полгода, а остальные полгода «измышляетъ способы». Въ Петербургѣ немало лицъ, хозяйничающихъ дѣлами въ сто, двѣсти, триста тысячъ дохода въ годъ. Даже въ Парижѣ, въ Лондонѣ такое лицо было бы замѣтно.

О нашихъ можно лишь сказать:

Замѣтенъ ты,  
Но такъ безъ солнца звѣзды видны.

Почему?

А потому, что въ Парижѣ человекъ, имѣющій миллионъ франковъ дохода, проживетъ полмилліона, насверкаетъ этимъ полмилліономъ на пять миллионновъ, а полмилліона обратитъ въ неприкосновенный, обезпеченно развивающійся, капиталъ; потому что въ Европѣ человекъ съ миллионнымъ доходомъ — несомнѣнный капиталистъ; тогда какъ въ Петербургѣ это лишь человекъ, который въ короткий срокъ получаетъ огромную сумму денегъ и тратитъ ее въ тотъ же срокъ на жизнь, если не всю, то развѣ лишь съ микроскопическимъ остаткомъ, смѣшнымъ для французскаго или англійскаго буржуа. У насъ есть адвокаты, получавшіе за дѣла куши по двѣсти, по триста тысячъ... однако изъ этихъ кушей не составилось миллионновъ. У насъ есть артисты, зарабатывающіе въ годъ по пятидесяти, по сту тысячъ рублей: гдѣ, однако, ихъ состояніе? Если гдѣ русскій нелѣпо и разбросанно широкъ и тароватъ, то это именно въ Петербургѣ. Можетъ быть, это отчасти и потому, что русское «знай нашихъ!» говорится здѣсь не только своему брату-русаку, но и любующимся нами сквозь

окно въ Европу иностранцамъ. Но—такъ или иначе—широта натуры — уничтожающій минусъ питерскаго капитализма. Все, кто «гребетъ деньги лопатою» у русскаго интеллигентнаго дѣла, только «кормятся» имъ, въ концѣ концовъ, — одинъ кормится на десять тысячъ, другой — на тридцать, третій — на сто, на триста, на полмилліона, — но только, только кормятся; въ житницы не собираютъ и туковъ не накаплиютъ — за весьма малыми исключеніями, да и то, по преимуществу, иностраннаго ввоза. Если же и собирается нѣчто въ житницы и отлагаются нѣкоторые туки, то, опять повторяю, собирается и отлагается именно «малою толикою», совсѣмъ не пропорціоальною тѣмъ широкимъ возможностямъ, какія, казалось бы, открывала «накопленію богатствъ» огромная рента. Ликвидациі петербургскихъ крупныхъ состояній, основанныхъ не на наследственныхъ, а на благопріобрѣтенныхъ богатствахъ, полны сюрпризами и неожиданностями.

— Что, много оставилъ Петръ Николаевичъ?

— Да, тысячь сотня — другая набѣжить дѣтишкамъ на молочишко.

— Возможно ли? Да вѣдь сквозь его руки милліоны прошли!

— Прошли и ушли.

— Куда же?

— А кто ихъ разбереть! Жизнь взяла.

— Да вѣдь не пиль, не развратничаль, процентныхъ бумагъ на свѣчахъ не жегъ, на биржѣ игралъ, но не проигрывалъ.

— Жизнь взяла!

Взяла и засосала. Перемѣстила куда-то, капелька по капелькѣ...

Спуститесь съ капиталистическихъ высотъ ниже, въ среднее общество, — вы наблюдаете общее явленіе: жизнь безъ основнаго капитала, безъ фонда — что называется въ просторѣчій, безъ гроша за душою. Интеллигентный зара-

ботокъ въ Петербургѣ высокъ. Даже въ нашей скромной специальности, литературно-журнальной, можно отмѣтить десятка два доходовъ, колеблющихся между десятью—двадцатью тысячами... Но — вотъ въ чемъ дѣло: если, въ любую данную минуту, сей великолѣпный двадцатитысячникъ скажетъ своему мгновению «остановись!» — то окажется, что онъ вовсе не состоятельный человѣкъ, какъ мнать его всѣ, и самъ онъ уже привыкъ себя мнать, но нищій — «яко благъ, яко нагъ, яко нѣтъ ничего». Нуль предъ собою, нуль за собою\*). Въ Москвѣ, гдѣ литературный трудъ оплачивается бѣднѣе петербургскаго, если произвести экза-

— Братья писатели! что нажили вы за свою долгую карьеру?

Одинъ скажетъ:

— Домикъ.

Другой скажетъ:

— Домикъ.

И у третьяго, четвертаго, пятаго — все домикъ, домикъ... И это не то, что «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ», — нѣтъ, чистые и безгрѣшные результаты упорнаго долготѣняго труда и построчнаго гривенника. А вздумалъ я интервьюировать въ томъ же духѣ петербуржцевъ, одинъ сердито рыкнулъ:

— Геморрой-сь.

А другой:

— Авансъ въ редакціи... и неоплатный-сь!

Первому я сказалъ: чуръ меня, сатана! а второму съ грустнымъ сочувствіемъ пожалъ руки и продекламировалъ:

Братья писатели! въ нашей судьбѣ  
Что-то лежитъ роковое...

---

\*) Въ день, когда я корректировалъ этотъ старый очеркъ для настоящаго изданія, я прочиталъ въ газетахъ запоздалую иллюстрацію къ этимъ строкамъ. Умеръ фельетонистъ Дѣяновъ. Онъ получалъ 15,000 въ годъ. И оставилъ по себѣ — три рубля...

1903.

Я взялъ писательскую среду лишь для примѣра. Жизньъ сверхъ средствъ — удѣлъ всей интеллигентной массы средняго петербургскаго общества. А жизньъ сверхъ средствъ это—долги, долги и долги!

Странная вещь! Задолженность въ «холодномъ, разсчитливомъ Петербургѣ» совсѣмъ не такая страшная и грозная штука, какъ въ разумной и добродушной старухѣ Москвѣ. Казалось бы, ужъ Петербургъ ли, — съ обиліемъ въ немъ золотой молодежи, аферистовъ, прожектеровъ, предпринимателей, нуждающихся въ быстромъ кредитѣ на какихъ угодно процентныхъ условіяхъ, — не золотое дно для пѣвковъ дисконта, такъ уютно свившихъ свое гнѣздышко подъ сѣнью Бѣлокаменной? И, — конечно, — пѣвковъ этихъ въ Петербургѣ болѣе чѣмъ достаточно, и охулки на руку онѣ не кладутъ; но все же, ознакомившись съ петербургскими дисконтными секретамы, я не могъ не подумать: ну, это, сравнительно съ дѣянїями московскихъ «бывыхъ соколовъ», — дѣтскія бирюльки, «Фрейшицъ», разыгранный перстами робкихъ ученицъ. Куда же имъ конкурировать съ московскими богатырями безсовѣстности, вродѣ покойнаго А. Д. Кашина, Д—мова, ростовщицы, извѣстной въ Москвѣ подъ именемъ «генеральши». Я сдѣлалъ какъ-то разъ попытку изобразить эту послѣднюю въ одномъ изъ моихъ фельетонновъ и боялся, не преувеличилъ ли рѣзкости красокъ... А кліенты «генеральши» приходятъ потомъ и жалуются:

— Слабо!

— Вотъ тебѣ разъ! Неужели, можетъ быть еще большее кровопійство?

— Вы рассказали самыя обыкновенныя ея штуки, — такъ-сказать, для дѣтей младшаго возраста. А еслибъ вы знали...

— Зналъ, но не повѣрилъ.

— А вы вѣрьте—всему вѣрьте. Тамъ нѣтъ невѣроятнаго, не можетъ быть преувеличеній. Напишите хоть новую Салтычиху, — и то въ самый разъ придется.



— Федоръ Петровичъ!—спрашивалъ я однажды московскаго дисконтера не изъ крупныхъ,—объясните мнѣ: отчего въ Петербургѣ человѣку средняго состоянія и легче найти кредитъ, и дешевле онъ обходится, чѣмъ въ Москвѣ?

— Оттого, что пустой народъ,—отвѣтилъ онъ, дую на чайное блюдечко.

— То-есть?

— Всѣ на фу-фу живутъ... ну, промежъ себя и займутся...

— Ага! То-есть — вы хотите сказать: много кредита не профессиональнаго, товарищескаго, такъ-сказать?

— И ефто самое, а опять же—ты, сударикъ, то сообрази: въ Москвѣ у насъ доходы темные, а въ Питерѣ — у всѣхъ на знати.

— Не понимаю.

— Чего тутъ не понять? У насъ кто заемщикъ? баринъ да купецъ. А дѣло—что барское, съ землями, что торговое, съ товаромъ, да курсами,—темное: поди его—учитывай! Можетъ, оно миллионъ стоитъ, а, можетъ, какъ поразберешь его пристальнѣе, да оправдать попробуешь,—и вся цѣна ему грошъ. А въ Питерѣ заемщикъ—чиновникъ, служащій, офицеръ. Доходъ опредѣленный и неприкосновенный: смотри его, какъ сквозь стеклышко. Дашь деньги—какъ въ контору: ужъ кто ни кто заплатитъ тебѣ и со всею процентою. Потому — денежки-то, стало быть, черезъ карманъ должника только пройдутъ, а получать ихъ приходится прямо съ государственнаго казначейства... А это—бланкъ вѣрный, хотя и не писанный. Разумѣешь?

— Разумѣю.

— За риску беремъ,—вотъ и все. Въ Питерѣ вонъ наша братья либеральничаетъ — подъ жалованья даетъ денегъ, подъ доходъ, подъ пенсію, подъ работу... а у насъ это не въ обычаѣ.

— Подай тройное обезпеченіе? а то и шкуры драть не станешь?

— Извѣстно: чего руки то марать?! Въ Питерѣ, братъ, деньга легкая, а у насъ копѣйка горбомъ сколочена, да гвоздемъ прибита. Разстаешься-то съ нею, — вздохами одними изведешься ..

И это правда въ Москвѣ — не только для профессиональнаго, но и для кредита «промежь себя». Мнѣ вспоминается разсказъ знакомаго москвича, который вынужденъ былъ занять денегъ у купца-пріятеля, большого туза, нынѣ уже покойнаго. Едва онъ заикнулся, — пріятель завопилъ:

— Душа моя! этакіе пустяки?! Да съ удовольствіемъ .. Сегодня къ вечеру выпишу изъ конторы, а покамѣстъ — милости прошу! — ѣдемъ завтракать въ Славянскій Базарь...

Позавтракали въ Славянскомъ.

Пообѣдали въ Эрмитажѣ.

Омонь.

Поужинали у Яра.

Далѣе исторія прекращаетъ свое теченіе, и стыдливая Клію отвращаетъ свое лицо.

И бысть утро, и бысть вечеръ, день первый. А о деньгахъ разговора ни-ни...

На завтра — опять Славянскій, Эрмитажъ, Ярѣ... день второй!

— Будеть, — говоритъ москвичъ, — Константинъ Павловичъ! Отдохнемъ!

— Никакъ невозможно: ты у насъ гость рѣдкій, надо тебѣ почтеніе оказать.

На послѣзавтра — та же исторія. День третій.

— Константинъ Павловичъ! — говоритъ москвичъ, — все это прекрасно, а какъ же насчетъ денегъ?

— Ангель мой! да все конторщикъ-дуракъ не сосчитаетъ, сколько у насъ свободныхъ суммъ, можемъ ли оказать тебѣ кредитъ въ такомъ размѣрѣ? Выпьемъ!

— Выпить можно... Но сообразилъ ли ты одну ариеметику?

— Что?

— А то, что за эти три дня, оказывая мнѣ почтеніе, ты издержалъ ровно ту сумму, которую я у тебя прѣсилъ взаймы — безъ всякой для меня пользы и удовольствія, а для себя — безъ возврата?

Выпучилъ Константинъ Павловичъ глаза.

— Поди же ты, говорить, какая штука... И какъ это насъ угораздило?! А вѣдь вѣрно!

1898.



Разговоры съ финансистомъ.

Включаю въ книжку эти «Разговоры съ финансистомъ» въ виду ихъ историческаго значенія, не принимая отвѣтственности за высказанные въ нихъ взгляды и прочность ихъ искренности. Они — съ натуры, довольно стенографичны и передаютъ съ посильною точностью настроеніе русскихъ капиталистическихъ круговъ въ мрачный для нихъ періодъ 1899—1901 года, когда «деньги на Востокъ ушли...» Вернулись ли они изъ путешествія, о томъ авторъ не освѣдомленъ.

1903.

## I.

### Сумерки боговъ.

Когда «крахнулъ» фонъ-Дервизъ, я поѣхалъ къ одному знакомому финансисту потолковать, — какъ это, мало ожидаемое публикою, событіе свершилось, и что вообще сей сонъ долженъ обозначать?

Финансистъ, на вопросъ мой, только руками развелъ.

— Что обозначать? — сказалъ онъ, — отвѣчу вамъ однимъ словомъ: началось!

— Кратко, но неясно. Что началось-то?

— *Götterdämmerung*. Сумерки боговъ.

— Да, большой тузъ свалился... Но, все-таки, почему вы — ужъ такъ мрачно? Боговъ нѣтъ передъ богами. Послѣ Урана — Сатурнъ, послѣ Сатурна — Юпитеръ...

— Нѣтъ, батюшка, тутъ весь Олимпъ трещить. И, если вамъ ужъ такъ по вкусу мифологическія сравненія, скажу вамъ: мы входимъ въ періодъ новой гигантомахіи. Денежные гиганты пруть грудью на русскій капиталъ и твердятъ: разступись! разступись! разступись! отдай намъ свое мѣсто, или погибай, чортъ съ тобой! — раздавимъ тебя своими пятками...

Финансистъ взволновался и нервно заходилъ по кабинету. Въ глазахъ его я прочелъ самый неприятный испугъ.

— Какіе страхи! — попробовалъ пошутить я, — и все это изъ-за одного Дервиза!

— Ахъ, Боже мой! — нервно отозвался онъ, — что Дервизъ! Ну, огромная фирма, ну, Померанцевъ — русскій человекъ, широкая натура, рискунъ, корнетъ, — зарвался, раскидался, расширилъ окружность дѣла такъ, что ему... радіуса не хватило: не дотянулъ! Вотъ и все... Люди опытные объ этомъ давнымъ давно знали. Еще два года тому назадъ, я изъ устъ не какого-нибудь биржевика, но государственнаго человека слышалъ: чтобы держаться, Дервизу надо строить желѣзную дорогу въ Центральную Африку, къ сѣверному полюсу, на луну, къ чорту-дьяволу, но строить! строить! Хотя бы въ убытокъ себѣ, но держать оборотъ. Первая заминка, и онъ банкротъ.

— Помилуйте: какое же банкротство, когда активъ превысилъ пассивъ на цѣлые миллионы?

— Другъ мой, активъ, пассивъ и всяческая бухгалтерія суть начала, чувствуемая каждымъ предпріятіемъ хронически, но, такъ сказать, внѣ времени и пространства. А есть въ каждомъ же предпріятіи начало острое и подвластное времени и пространству, — охъ, какъ подвластное! — и имя ему срочные платежи. И предпріятія гибнутъ вовсе не въ тотъ моментъ, когда о владѣльцѣ ихъ говорятъ: его пассивъ превышаетъ активъ; но — когда по городу летитъ молва: въ такой-то день, часъ, такой-то не могъ оправдать предъявленныхъ ему срочныхъ платежей. Онъ прекратилъ платежи. Онъ банкротъ. А пассивъ пассивомъ и активъ активомъ. Это потомъ разберется.

— Спасибо за лекцію, хотя въ ней нѣтъ ничего новаго. Вернемся къ Дервизу и сумеркамъ боговъ...

— Вамъ все сомнительно это мое слово? А что вы скажете, если я вамъ — вотъ сейчасъ, не сходя съ сего мѣста — пересчитаю, по крайней мѣрѣ, десятокъ фирмъ, малочѣмъ уступающихъ Дервизу по извѣстности и значенію въ финансовомъ мірѣ, а иныя изъ нихъ будутъ даже и почище! — которыя висятъ на волоскѣ и, по всей вѣроятности не сегодня, завтра мы услышимъ объ ихъ паденіи?!

И онъ назвалъ мнѣ рядъ именъ, которыхъ, конечно, я не назову. А были эти имена вотъ какого разряда. Ъхаль я разъ по желѣзной дорогѣ съ евреемъ-биржевикомъ,— надо полагать, везло ему въ то время, потому что веселье онъ былъ, какъ горный козель, самъ чортъ ему не братъ, и нѣтъ на свѣтѣ человѣка его больше. Ноги на диванѣ, шляпа на затылкѣ, сигарища въ зубахъ, пытитъ, шумить, даже смотрѣть на него радостно: такъ здорово у человѣка селезенка играетъ.

Въ Любани я встрѣтился съ знакомымъ инженеромъ. Возвращаюсь послѣ третьяго звонка въ вагонъ,—вижу; спутникъ мой что-то приумолкъ и странно на меня поглядываетъ, и ноги съ дивана спустилъ.

— Вы съ господиномъ Іевлевымъ, кажется, сейчасъ бесѣдовали? спросилъ онъ меня.

— Да... А вы его знаете?

На лицѣ биржевика изобразился почтительный ужасъ:

— Я?! Ой, нѣтъ... вѣдь онъ управляющій Холодова!

— То есть одинъ изъ управляющихъ. Главный-то...— я назвалъ фамилію.

Спутникъ мой положилъ сигару въ пепельницу.

— А вы и ихъ изволите знать?

— Очень немного

— Откуда знакомы?

— Просто встрѣчались раза два у Холодова.

— У Хо-ло-до-ва?!

Спутникъ долго смотрѣлъ на меня мечтательно-обожающимъ взглядомъ: Боже мой! человѣкъ у Холодова, самого Холодова бываетъ?!

— То-то я смотрю,— задумчиво произнесъ онъ наконецъ,— что вы себѣ такъ самостоятельно съ г. Іевлевымъ по платформѣ гуляете!

Такъ вотъ рядъ подобныхъ Холодовыхъ, одно имя которыхъ бросаетъ «людей рынка» въ остолбенѣніе, «чинь



чина почитай», и назвалъ мнѣ финансистъ. Я не повѣрилъ и даже разсмѣялся:

— Полно вамъ меня морочить! Вы шутите...

А онъ задумчиво декламировалъ, — поэтическая натура! —

Все великое земное  
Разлетается, какъ дымъ.  
Нынѣ жребій выпалъ Трою,  
Завтра выпадетъ другимъ!..

Судя по тревожнымъ вѣстямъ изъ Москвы и по петербургской биржевой паникѣ, скептицизмъ мой былъ напрасенъ, а финансистъ правъ. Сейчасъ я встрѣтилъ его въ банкѣ.

— Что я вамъ говорилъ? — заговорилъ онъ, завидѣвъ меня, еще издали, не поздоровавшись. Не сумерки это боговъ? а? не гигантомахія? Рвутъ насъ, батюшка, рвутъ! На воздухъ взрываютъ!

— Да кто рветъ-то? кто на воздухъ взрываетъ?

— Какъ—кто? Неужели вамъ неясно? Да вотъ онъ взрываетъ, — финансистъ ткнулъ пальцемъ на улыбающагося директора банка, тутъ же стоявшаго, — вонъ этотъ, вонъ тотъ... — онъ указалъ въ окно на пестрѣющія по Невскому вывѣски банкировъ.

— Ну, ужъ вы, Михаилъ Кондратьевичъ, всегда на нашего брата нападаете, — возразилъ директоръ. — Сами, госнода, зарываетесь, а потомъ банки во всемъ виноваты...

— Да, разумѣется, банки. Что мы, ворочающіе миллионами, якобы капиталисты, развѣ не рабы ваши? развѣ не овцы, стригомыя по капризу господъ Мемельберговъ и Блауштейновъ?

— Ну, знаете ли, — овцы тоже съ зубками! — расхотался директоръ.

— Только — не противъ васъ! Овецъ, которыхъ мы стрижемъ, вы и взглядомъ не удостоите: мелки для васъ... Вамъ шерсть покрупнѣе требуется. Вѣрите ли, — обратился онъ ко мнѣ, вотъ, по поводу этихъ несостоятель-

ностей, дѣйствительныхъ, предполагаемыхъ, ожидаемыхъ, я ночей не сплю. И въ бессонницу сосчиталъ наши крупныя предпріятія: и выгодныя, и неудачныя, и дающія дивиденды, и безнадежныя. И, кромѣ двухъ-трехъ мануфактуръ, вродѣ Никольской, я не нашелъ ни одного русскаго дѣла, которое работало бы не на банки, по преимуществу, не платило бы имъ прямо колоссальныхъ даней. Помилуйте! Развѣ мы хозяева своихъ дѣлъ? развѣ отъ насъ зависятъ наши заказы?

— Да почему нѣтъ?!

— А потому: покажите мнѣ крупное русское предпріятіе съ вполне достаточнымъ по размѣрамъ его оборотнымъ капиталомъ.

— Вотъ я и говорю,—вмѣшался директоръ,—что размахиваетесь вы, господа, не по карману. Есть поговорка русская: «не шагай широко—штаны лопнутъ».

— Лопаться-то нечему,—огрызнулся финансистъ,—сняли вы ихъ съ насъ... Совѣтчикъ тоже! Скажите-ка лучше по совѣсти: возможно ли у насъ въ Россіи не крупное предпріятіе, съ маленькимъ оборотомъ и расчетомъ на маленькій процентъ?! Вѣдь это не Бельгія, не Франція. У насъ, если дѣло ищетъ сочувствія и поддержки въ сферахъ,—а безъ того оно никакого кредита себѣ не сыщеть,—такъ первый вопросъ: укажите, какую оно приноситъ всероссійскую пользу. Всероссійскую!—видите, радіусъ-то каковъ... это-съ не отъ Парижа до Брюсселя или какого-нибудь тамъ Лилля.

— Ну, Михаилъ Кондратьевичъ, въ Соединенныхъ Штатахъ радіусы не меньше нашихъ, однако...

— А что же тамъ краховъ не бываетъ? Такіе, баяшка, что нашимъ и во снѣ не снились. Дервизы-то наши предъ тамошними—мальчишки и щенки. Тамъ вѣдь не на рубли, а на доллары и наживаются, и банкротятся... А вѣдь кредитъ-то въ Соединенныхъ Штатахъ поставлень, разумѣется, и крѣпче, и умнѣе, и свободнѣе, чѣмъ у насъ.

Тамъ Мемельберговъ и Блауштейновъ одна конкуренція уже въ уздѣ держитъ. А здѣсь? Помилуйте! Получаю я дорогу, скажемъ. Какъ мнѣ ее строить? Гдѣ подъемный капиталъ? Нѣтъ капитала. Ну,—ко евреямъ посланіе апостола Павла чтеніе: бѣгу и закладываю ее Мемельбергу. Получаю казенный заказъ,—бѣгу и кланяюсь Блауштейну. И, если Блауштейну и Мемельбергу придетъ капризь не принять залога, отказать въ учетѣ,—ау! дайте мнѣ цилиндръ, фракъ и откройте вьюшки въ каминѣ: я лечу въ трубу. Нѣтъ у насъ своего оборотнаго капитала,—онъ весь вращается въ банковыхъ операціяхъ, конечно, стираясь въ нихъ, какъ между двухъ жернововъ, въ муку... Самое золотое русское дѣло—все же не болѣе, какъ обрѣзанный червонецъ, который съ каждымъ днемъ дѣлается меньше и меньше. И—въ концѣ концовъ, у насъ въ рукахъ остается дыра, а золото—у Блауштейновъ и Мемельберговъ. Каждый изъ этихъ господъ,—онъ опять ткнулъ пальцемъ на ухмыляющагося директора,—для насъ... золотой Малюта!

— Мы кричимъ противъ иностранныхъ капиталовъ, воюемъ съ ними,—продолжалъ онъ,—но вѣдь это дѣтскій крикъ, война ребенка противъ няньки, которая терпитъ до поры до времени, а тамъ—за вихоръ, да и въ уголь. Ибо и Блауштейнъ, и Мемельбергъ, всѣ штейны и берги, отъ которыхъ мы зависимъ—конечно, иностранный капиталъ, питаемый русскими предпріятіями. И—если Парижъ, Лондонъ, Берлинъ дадутъ имъ сигналъ: души русскій капиталъ! онъ зазнался! надо побить съ него спѣси, уронить его кредитъ, понизить искусственно его доходность, и на этомъ фонѣ разыграть девятую симфонію торжества иностранцевъ,—такъ, повѣрьте мнѣ, мы полетимъ на воздухъ чище, чѣмъ отъ динамитнаго взрыва... Нажметъ г. Ротшильдъ въ Парижѣ пуговку электрическаго провода, а гг. Дервизы и К<sup>о</sup>, въ Петербургѣ, глядь, и летятъ уже до облаковъ просить боговъ объ уплатѣ долговъ.

— Ну,—пожимая плечами, возразилъ директоръ,— договорились до своего. Повторите еще, ходящую по городу, смѣшную сказку, что крахи устраиваются капиталистами-дрейфусарами, въ отместку за равнодушіе русскихъ къ судьбѣ Дрейфуса.

— Нѣтъ, такой глупости я не повторю, потому что дѣло Дрейфуса,—мѣстное, политическое... А просто—ввозили-ввозили мы къ себѣ иностранный капиталъ, не облагая его данями и пошлинами, наводнили промышленный рынокъ иноземными производителями, а денежный—иностранными же «золотыми Малютами», —ну, и тѣсно имъ стало, рѣшили они порасправиться и спихнуть насъ съ занятыхъ мѣсть. *Ote toi que je m'y mette!*.. Знаете сказку объ ежѣ, котораго ужи пустили къ себѣ въ норку обогрѣться. Влѣзъ онъ и сейчасъ же иглы растопорщилъ. Ужамъ пришлось невтерпѣжь. «Ты бы, братъ, шель теперь во свояси,—говорятъ ежу,—вѣдь уже стало тепло, у тебя есть своя норка, а намъ съ тобою тѣсно, и просто смерть отъ тебя приходитъ...» А ежъ въ отвѣтъ: «не знаю, какъ вамъ, а мигъ здѣсь очень хорошо,—ну, а кому неудобно, тотъ, пожалуй, можетъ и убираться вонъ, куда ему угодно».

Онъ грустно замолчалъ. Директоръ ухмылялся.

— Такъ, приказъ данъ?—подразнилъ онъ моего знакомаго.

Тотъ встрепенулся и посмотрѣлъ на него звѣремъ.

— Конечно. Это я по вашей... по вашему радостному личику вижу! Ну, если нѣтъ приказа, почему вы сегодня не сдѣлали мнѣ той операціи, о которой я просилъ васъ?

— Михаилъ Кондратьевичъ! да вѣдь вы же сами знаете: формальности не соблюдены...

— Однако, безъ этихъ формальностей мы съ вами—ведя дѣла второй десяткокъ лѣтъ—всегда прекрасно обходились въ спѣшныхъ случаяхъ и производили ихъ заднимъ числомъ.

— Мало ли что было, — уклонился директоръ. — Времена не тѣ. Прочности той нѣтъ... всѣ подѣ сомнѣніемъ.

— Вотъ про то-то я и говорю... И не тѣ времена для Михаила Кондратьева, Петра Сидорова, Сергѣя Антонова, но для *де, фонъ, иштейновъ, берговъ* и пр. и пр. остались тѣми же, что и раньше. Вы думаете, я не знаю, что вчера только вы произвели эту-же операцію для бельгійцевъ — прямо на вѣру, безъ всякихъ формальностей, при гораздо слабѣйшемъ обезпеченіи, чѣмъ я предлагаю?

— Да, помилуйте? Какая намъ цѣль дѣлать вамъ непріятности?

— Какая цѣль? Экзамень, батюшка, производите: нука, кто изъ васъ, русскихъ капиталистовъ, крѣпокъ еще? Справится онъ, коли мы бросимъ его безъ помощи въ любой данный моментъ, или нѣтъ? Есть такая игра дѣтская. Схватить товарищъ товарища всей пятерней за волосы и говорить: вывернись, — попь будешь! Такъ-то сейчасъ и иностранный нашъ кредитъ. Схватилъ онъ русскій капиталъ за волосы и предлагаетъ: вывертывайся и выходи въ попы, либо оставь у меня въ пятернѣ всѣ волосы и гуляй остальную жизнь съ лысой головой.

Мы вышли изъ банка вмѣстѣ.

— Поняли, батюшка? — спросилъ меня финансистъ.

— Да, дѣйствительно, что-то смеркается...

— Какое тамъ! Совсѣмъ уже темно!.. И гномы побѣжали... гномы, которые смѣнять насъ, когда мы — фюить!

Онъ свистнулъ, постучалъ палкою по тротуару и прибавилъ внушительно:

— Правительственное вмѣшательство, — одна теперь у насъ надежда, въ этомъ повѣтріи краховъ!

— Ну, начинается! И какъ вы, гг. російскіе капиталисты, безъ министерскихъ подачекъ и помочей ходите не умѣете?

— А что же прикажете дѣлать?! Видите сами: Олимпъ рушится, и боги падаютъ съ подножій...

— Ничего! не такъ страшень чортъ, какъ его малюють. Вѣдь и гигантомахія только настращала Олимпъ, а кончилась торжествомъ боговъ и пораженіемъ гигантовъ.

Финансистъ сомнительно покачалъ головою и произнесъ:

— Non bis in idem! Да вѣдь и тогда Олимпъ не-спасся бы безъ вмѣшательства Геркулеса. Ну, вотъ и мы зовемъ на помощь Геркулеса, то есть правительственное вмѣшательство... Ссуды! ссуды! ссуды давайте! Заказы! Кредиты!.. Иначе—капуть! Я человекъ искренній и откровенный: иначе—капуть! Сегодня экзамень, завтра экзамень, сегодня вывернулся, завтра выкрутился, — а тамъ, глядь, и вовсе петля на шеѣ, и—*de mortuis aut bene aut nihil!*

— А мнѣ все какъ то странно, даже невѣроятно: такіе слоны валятся...

— А, батюшка! Это-то, пожалуй, еще намъ на руку, что валятся сразу не мелкія сошки, а слоны. Читали вы романъ, какъ жители Марса напали на землю, истребили людей, испепелили все живое, всю растительность,—ну, а потомъ эти господа побѣдители сами всѣ передохли отъ земныхъ бактерій? Ну, вотъ — авось сбудется эта загробная месть разрушенныхъ капиталовъ и на марсіанахъ изъ Парижа. Въ лѣсъ, гдѣ десятками падаютъ пораженные эпизоотіей слоны, не сразу-то войдешь: онъ отравленъ, тамъ — чума въ воздухѣ... Разлагающійся капиталъ тоже распространяетъ міриады ядовитыхъ бактерій. Когда изъ оборота вычеркиваются сотни милліоновъ, сотни тысячъ людей, около нихъ кормившихся, тоже обречены быть вычеркнутыми изъ списковъ.. За каждымъ русскимъ предпринимателемъ, котораго сейчасъ *pollice verso* осуждаютъ на гибель Блаштейны и Мемельберги, стоитъ заводское, фабричное, желѣзнодорожное, вагоно, машино, судостроительное, рельсопрокатное дѣло и т. д., и т. д. Умреть слонъ, — пропадутъ голодомъ и легіонами живущія на немъ блохи.

А вы знаете нѣмецкій витць— was für Unterschied zwischen dem Elephant und dem Floh?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Ein Elephant hat viele Flöhe, aber ein Floh kann keine Elephante haben. Вотъ-съ. Полагаю, что замысловатая штука эта,—ужъ не знаю, какой нѣмецкій Кузьма Прутковъ ее придумалъ!—въ данныхъ обстоятельствахъ не лишена нѣкоторой аллегорической поучительности. О блохахъ же—кромѣ всего прочаго—и то памятовать надо, что онѣ съ голоду бываютъ злы и кусаются. Такъ не лучше ли позаботиться, чтобы онѣ и впредь не лишены были естественнаго своего корма?

1899.



## II.

### «Серьезное Успокоеніе»\*).

— Ну-съ, успокоились?

Такимъ привѣтствіемъ встрѣтилъ я заѣхавшаго ко мнѣ финансиста.

— О, чрезвычайно!

Въ голосѣ финансиста звучали ироническія нотки, а въ глазахъ вспыхивали сердитые огоньки.

— Чрезвычайно!—повторилъ онъ послѣ того, какъ мы поздоровались, и онъ, грузнымъ движеніемъ на смерть утомленнаго человѣка, опустился въ кресло, — чрезвычайно!.. Я спокоенъ, какъ больной, который все покашливалъ, да лихорадилъ, и глупые провинціальныя врачи находили у него запущенный, но не опасный, а только надолгидливый бронхитъ съ осложненіемъ; а поѣхалъ больной, успокоенія для, въ Вѣну, къ самому Нотнагелю, — тотъ ему и говоритъ: батюшка! вы сомнѣваетесь, что у васъ въ легкихъ? Какіе же дураки васъ лечили до сихъ поръ, что не умѣли поставить столь яснаго діагноза? У васъ чахотка, батюшка! не сомнѣвайтесь и не безпокойтесь: самая настоящая чахотка!» Ну, вотъ теперь вы и посудите, милый человѣкъ: какъ это опредѣленіе, — на что больше смахиваетъ? Есть ли оно и впрямь «серьезное успокоеніе», или

---

\*) Подъ такимъ названіемъ было извѣстно въ капиталистическихъ кругахъ разъяреніе С. Ю. Витте въ 1899 году причинъ тогдашняго денежнаго оскуднѣнія и промышленнаго кризиса.



же—и того еще серьезнѣе и спокойнѣе—простое, прямое и непосредственное «Со святыми упокой»?

— Кому пѣть-то собираетесь, — типунъ вамъ на языкъ?

— Русскому промышленному дѣятелю и предпринимателю, голубчикъ, — вотъ кому. Диагнозъ то Нотнагалевъ ему поставлень...

Съ Богомъ въ дальнюю дорогу,  
Путь найдешь ты, слава Богу:  
Свѣтитъ мѣсяцъ, ночь ясна...  
Касса выжата до дна!—

трагикомически запѣлъ онъ.

— Наоборотъ, мнѣ кажется, диагнозъ этотъ долженъ васъ радовать и наводить не на панихидныя, но на мажорныя мелодіи. Вѣдь ясно сказано: затрудненія временныя, вызваны отливомъ денегъ на дальній Востокъ...

— А какой мнѣ восторгъ въ томъ, что они на Востокъ отлили? Ну, отлили, такъ отлили, на востокъ, такъ на востокъ! А я на Западѣ безъ нихъ околѣваю, — и шабашъ! И никакого облегченія оттого, что знаю, куда деньги отлили, рѣшительно не ощущаю. Вѣдь это что? — Милый другъ, говорятъ мнѣ, — ты совершенно напрасно вертись и тоскливо мечешься, точно живой карась на сковородѣ! Хотя тебѣ и скверно и даже мучительно, разувѣрся въ своихъ страхахъ: съ тобою не происходитъ ничего особеннаго, — тебя просто жарятъ, какъ всякому карасю полагается. А если ты, кромѣ общаго ощущенія жарьбы, испытываешь еще нѣкоторыя новыя и необычныя неудобства, такъ это — потому, что ты любишь, чтобы тебя жарили въ сметанѣ, господамъ же Мемельбергамъ и Блауштейнамъ пришла на этотъ разъ фантазія сжарить тебя просто въ маслѣ... Пережди нѣкоторое время: ѣсть тебя въ маслѣ имъ надоѣсть, и они возвратятся къ обычному способу твоего приготовления, то есть къ жаренію въ сметанѣ... — Позвольте! — вопію я въ отвѣтъ, — да кой чортъ сказалъ вамъ, что я люблю жариться въ сметанѣ? Не хочу я ни сметаны, ни масла! Я вовсе не хочу жариться, волкъ васъ заѣшь!.. Тогда на меня

смотря съ примѣтнымъ неудовольствіемъ и говорятъ: ишь, какой прихотникъ! Вы въ чемъ же цѣль существованія-то своего полагаете? Чтобы жизнью жуировать, что ли? Лошадямъ золоченый ячмень на серебряныхъ блюдахъ подносить à la Девизъ? оперу держать, Васнецовымъ, Трубецкимъ да Шаляпинымъ меценатствовать à la Мамонтовъ? Нѣтъ, вы пожарьтесь!..

— Но вѣдь — временно же, временно! — засмѣялся я, — деньги приплывутъ обратно, потекутъ въ кисельныхъ берегахъ медовыя... то бишь, золотыя рѣчки, — и, какъ цыгане поютъ:

Подожди! Счастье вернется,  
Жизнь улыбнется,  
Какъ въ прежніе дни!

— Вы мнѣ — какъ цыгане поютъ, а я вамъ — какъ Гамлетъ говоритъ:

Покуда травка подрастетъ,  
Лошадка съ голоду умретъ...

И очень мнѣ лошадку жаль, потому что она добрая лошадка, русская лошадка, труженица, поработавшая на своемъ вѣку... Господи! сколько поработавшая! И теперь — сама лошадка умирай, а что поработала, отдай въ чужія, пришлыя руки. Ты навозъ возилъ, ты цѣлину плугомъ поднималъ, ты боронилъ, ты сѣялъ, ты даже и жатву снялъ и скирды сметалъ, — ну, а вотъ снопы-то въ свой овинъ свезуть и хлѣбъ твой ѣсть будутъ совсѣмъ другіе. И будутъ они тебя презирать, и предъ тобою чваниться, и учить тебя уму-разуму, и попрекать вѣчнымъ твоимъ у нихъ рабствомъ, а ты облизывайся, кланяйся и благодари: кушайте, милостивцы! кушайте, благодѣтели! Пріятнаго вамъ аппетита! Вы наши отцы, а мы ваши дѣти!

— Послушайте! Все, что вы говорите, очень печально — лично для васъ, то-есть — для русскихъ капиталистовъ-предпринимателей, которыхъ такъ искусно взрываютъ въ послѣднее время на воздухъ господа Мемельберги и Блау-

штейны. Но, съ общеэкономической точки зрѣнія, какое, собственно говоря, дѣло до васъ хотя бы тому же правительству, чьего вмѣшательства въ вашъ кризисъ вы такъ жадно добиваетесь? Вѣдь правительству важны предпріятія, а не лица. Ну, было дѣло Дервиза, Мамонтова, Иванова. Сидорова, Карпова, — стало оно Мемельберга, Блауштейна, Каинберга, Авельберга... Ни дѣло не ушло изъ страны, ни капиталъ, который оно — простите за неуклюжую иностранщину — эквивалируетъ. Конечно, жаль Дервиза, Мамонтова, Иванова, Сидорова, но — вольно же имъ было терять свои Голконды! А самая-то Голконды цѣлы, у нихъ только стали другіе люди, отъ которыхъ государство имѣетъ тотъ же самый доходъ и, можетъ быть, будетъ имѣть еще большій...

— Ну-съ?

— Да что: «ну-съ»!.. Вы требуете отъ правительства сентиментальности, а не справедливости, — вотъ что я хотѣлъ сказать.

— Это вамъ лже-Ротштейнъ внушилъ.

— Какой лже-Ротштейнъ?

— А вотъ у васъ, въ «Россіи», было «письмо въ редакцію» за подписью И. Р — штейна. Такъ какъ оно очень полно и ярко выражало идеалы нахрапа на Русь иностранныхъ каталовъ и написано было съ большимъ знаніемъ биржевого и банковаго гешефтмахерства, то въ Петербургѣ сгоряча приняли это письмо за произведеніе... г. Ротштейна. Чести послѣднему сіе, правду сказать, не дѣлаетъ, но... письмо было хоть и шельмоватое, а преумное и справедливое отъ первой до послѣдней строчки. Конечно, справедливое не общесловѣческою, но биржевою правдою, по этикѣ и логикѣ Каинова племени. Потомству Авеля, при торжествѣ такихъ началъ, лучше ужъ заранѣе навѣсить себѣ на шею камень осельный и ввергнуться въ пучину морскую... Но, съ Каиновой точки зрѣнія, вашъ лже-Ротштейнъ умница непреложная. Можно сказать — Милль Каиновой логики, — вотъ даже какъ!..

— Вы все остриете, да бранитесь, — а... «подсудимый! что вы можете сказать въ свое оправданіе?»

— Скажу, что Каинова логика фальшитъ прежде всего въ томъ, будто государству безразлично, въ чьихъ рукахъ сосредоточатся уплывающія изъ русскихъ рукъ русскія предпріятія и чьи капиталы будутъ въ нихъ обращаться. Не безразлично-сь, хотя бы доходъ съ обращенія иностраннаго капитала оказался и впрямь временно выгоднѣе дохода съ обращенія капитала русскаго. Будь оно безразлично, законъ не ограничивалъ бы участія иностранцевъ въ акціонерныхъ обществахъ и предпріятіяхъ, въ которыхъ интересы частные соприкасаются съ политическими интересами государства — на примѣръ, въ морскихъ пароходствахъ.

Если вы обратите вниманіе, въ какія области промышленности по преимуществу пробираются у насъ иностранцы; куда ихъ особенно тянетъ, гдѣ они энергичнѣе всего стараются отгѣснить русскихъ людей и русскій капиталъ, вы увидите, что это области производствъ, имѣющихъ непосредственное прикладное значеніе не въ частномъ обиходѣ, но въ государственной жизни. Иностранцы не бросились въ Москву отбивать у Морозовыхъ, Хлудовыхъ, Прохоровыхъ миткали и ситець, — а ужъ, кажется, на что выгодное дѣло: пальцемъ о палець только ударъ — миллионы въ карманъ сами идутъ. Они отвоевывають у русскаго капитала желѣзо и пути сообщенія. Вотъ куда тянется ихъ усердіе. Ну-сь, коснемся хоть вопроса нашего судостроенія. Любой изъ нашихъ судостроительныхъ заводовъ можно хоть сейчасъ выгодно продать англійскимъ компаніямъ. Почему? Да потому, что, приобрѣтая русскій судостроительный заводъ, англичанинъ приобрѣтаетъ и часть русской судостроительной силы, возвращаетъ Англій частичку утраченной ею, судостроительной всемірной, такъ сказать, монополіи и ставитъ, по судостроительству, русское государство въ новую зависимость отъ Англій.

— Что это вы — какъ будто черезъ край?

— Вовсе нѣтъ! Вообразите себѣ не только войну, но просто европейское «осложненіе».

— Такъ что же? Крейсера и миноноски для непріятеля, что ли, стануть строить русскіе заводы въ рукахъ англійскихъ компаній?

— Нѣтъ. Это бы еще ничего, потому что миноноску или крейсеръ, выстроенный для непріятеля, можно заарестовать для русскихъ. А просто—изъ Европы тогда получать новые крейсера и миноноски мы не будемъ въ состояніи по враждебнымъ отношеніямъ, а своихъ настроить—пожалуй, будетъ и негдѣ.

— То есть почему же?

— Очень просто. Господа англичане, захватывая наши предпріятія, весьма часто не заботятся даже о прямой и непосредственной выгодѣ отъ нихъ. Они смотрятъ глубже, смотрятъ въ корень. Имъ важно, чтобы мы не чувствовали себя свободными отъ нихъ, чтобы, въ случаѣ экстренной надобности, не могли обойтись своими собственными средствами безъ заграничнаго заказа. Англійская компанія покупаетъ судостроительный заводъ. Хорошо-съ. Можете вы ручаться, что она будетъ строить вамъ только то, для чего заводъ по идеѣ своихъ первыхъ устроителей предназначался? Вовсе нѣтъ. Компанія—акціонерное общество, заинтересованное лишь въ томъ, чтобы дѣло приносило хорошій доходъ. На нее и въ претензіи никто быть не можетъ, если въ одинъ прекрасный день она найдетъ для себя невыгодными крейсера и миноноски, а станетъ дѣлать ходовой товаръ. Политическое осложненіе. Европейскіе доки для насъ оказываются закрыты. Обращаемся къ внутреннему частному судостроительству—въ рукахъ иностранной компаніи. Строй столько-то крейсеровъ и миноносокъ!—Не можемъ.—Почему?—Да у насъ приспособленій для того нѣтъ.—Какъ? А куда же дѣвались старья? Вѣдь строились же у васъ и крейсера, и миноноски?—Да, но новая компанія нашла, что выгоднѣе будетъ производить en masse пе-

реносныя кухонныя плиты и цинковыя ванны и приспособила заводъ къ этому рыночному спросу, а старыя «элинги» упразднила и пустила на смарку. Такъ что для миноносокъ и крейсеровъ нужны новыя сооруженія, которыя, если вамъ нужно, и потрудитесь заново возвести... Не противъ насъ строить, но парализовать нашу строеспособность— вотъ задача англійской компаніи. И, уже въ виду этой одной возможности, переходъ частныхъ предпріятій подобнаго характера изъ русскихъ рукъ въ руки иностранцевъ,— дѣло не частной, но государственной важности.

Затѣмъ—скажу о переходахъ вообще изъ рукъ въ руки. Со стороны глядя, спокойно говорится фраза: крахнувшее предпріятіе не пропало, но капитализировалось въ другихъ рукахъ,—пропалъ только прежній предприниматель. Онъ, моль, будетъ тлѣть, новый цвѣсти, и равновѣсіе благополучія на земномъ шарѣ оттого ни чуточку не измѣнится. Можете обвинять меня, если угодно, въ сентиментальности, но я душевно скорблю всякій разъ, что вижу, какъ изъ дѣла выпадаетъ коренной его основатель и двигатель, и — кто бы его ни замѣнялъ—я считаю затѣмъ дѣло на склонѣ къ гибели. И сентиментальность эта — не совсѣмъ сентиментальность. въ ней есть и здоровая, реальная подкладка. И страна наша молодая, и промышленность молодая. Нигдѣ въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ Россіи, основатель дѣла не является душою предпріятія, нигдѣ личность хозяина не стоитъ такъ ярко въ центрѣ производства. У насъ, если хотите, дѣйствительно, не потерялось еще въ промышленности донкихотство, т. е. призваніе, любовь именно къ самому дѣлу для дѣла, а не для однихъ дивидендовъ, изъ него вытекающихъ. Вотъ въ этомъ-то и разница нашихъ дѣлъ отъ того гешефтмахерства, что идеализируетъ и ставитъ вамъ въ примѣръ вашъ Лже-Ротштейнъ. Мнѣ, напримѣръ, далеко не все равно было бы, — случись мнѣ, сохрани Богъ, считаться съ бѣдою вродѣ Деврива или Мамонтова,—кто меня замѣнитъ во главѣ моего любимаго дѣла: лицо, ему

страстно преданное или акціонерное общество какого-нибудь банка или далекой заграничной компаніи,—лицо юридическое совершенно равнодушное къ тому, что будетъ дѣлаться внутри дѣла, лишь бы росъ дивидендъ и акціи выше и выше котировались на биржѣ. У меня, скажемъ, сталелитейный заводъ. Я испытываю заминку въ дѣлахъ, продаю заводъ банку или иностранной компаніи. У нихъ дѣла идутъ тоже неважно. Что дѣлать? Да очень просто: такъ какъ производство завода не даетъ немедленно желательнаго дивиденда, а ко всему, кромѣ послѣдняго, банкъ совершенно равнодушенъ, то бывшее производство упразднить, а перейти на новое, рыночное, съ такимъ-то и такимъ-то сбытомъ, который обезпечить такой-то и такой-то дивидендъ. Заминка съ паровозами—строй печки и вапны. Заминка съ паровыми котлами—валяй кухонные горшки.

Почти каждое русское промышленное предпріятіе связано съ «идеей». Да, да! Можете улыбаться, сколько угодно. но это такъ. У насъ нѣтъ обратнаго капитала, но обратныхъ идей—богатѣйшій запасъ. Было бы, можетъ быть, лучше, кабы паоборотъ, а, можетъ быть, и хуже. Я, какъ ни туго намъ, все же предпочитаю настоящее соотношеніе. И всѣ мы промышленную идею свою любимъ, потому что мы русскіе и любимъ Россію, а почти каждая промышленная идея въ Россіи рождается изъ соприкосновенія съ насущною потребностью страны, -- по культурной молодости нашей и неудовлетворенности еще массы этихъ потребностей. За исключеніемъ московскихъ мапуфактуристовъ, всѣ мы въ огромномъ большинствѣ работаемъ гораздо чаще на государство, чѣмъ на частную нужду. Здѣсь и желѣзнодорожники, и судостроители, и желѣзодѣлатели и проч., и проч. И, разумѣется, не въ расчетахъ государства сокращать трудящуюся на страну силу. А переходъ предпріятій изъ хозяйскихъ энергичныхъ и любвеобильныхъ рукъ въ равнодушную машину банкаго или иностраннаго владѣльчества не только сокращаетъ—упразд-

няеть ее. Банкъ покупаетъ фабрику. Что она производить для акціонеровъ банка? Бумагу, ситець, краску? Нѣтъ, --- деньги. Если она производитъ денегъ до 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub> чрезъ производство краски, а на акціонерномъ общемъ собраніи кто-нибудь докажетъ: «а, вотъ, если бы она дѣлала не краску, но стальныя перья, то производила бы денегъ на 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> больше!»— повѣрьте мнѣ: банкъ немедленно откажется отъ краски и примется фабриковать перья... Русскій предприниматель— упрямый единичникъ. Онъ разоряется, но стоитъ на своемъ дѣлѣ. У него можетъ заводъ не работать, стоять безъ заказовъ, но онъ останется заводомъ съ опредѣленнымъ промышленнымъ назначеніемъ и, когда черныя дни пройдутъ, пригодится, именно, въ этомъ же назначеніи. Изъ него не вынесутъ машинъ, чтобы устроить въ залахъ его танцклассъ, и стѣны его не разрисуютъ въ стилѣ рококо подъ кафешантажъ. Ну, а гдѣ хозяинъ— банкъ, тамъ я даже и за такую возможность не поручусь... Намъ нуженъ и трудъ, и дивидендъ, а балку—только дивидендъ.

Попрекаютъ насъ привычкою обращаться къ правительству за помощью при нашихъ затрудненіяхъ. Да къ кому же обращаться-то, какъ не къ главному нашему заказчику? Иванъ, Сидоръ, Петръ очень легко могутъ покуда обойтись въ частномъ обиходѣ своемъ безъ моего дѣла и почитаютъ его очень отъ себя далекимъ,—потому для меня, при нуждѣ, и мало у нихъ кредита; но государство, объединяющее Ивановъ, Сидоровъ, Петровъ, обойтись безъ меня уже не можетъ, и, когда я погибаю, государство теряетъ во мнѣ не только купца-производителя обогащающагося отъ дѣятельности своей, но и частичку своей собственной силы удовлетворить такой-то и такой-то своей потребности; а, если, взамѣнъ меня, оно приметъ чужака, иностранца,—то, значить, кромѣ частички силы оно утрачиваетъ еще и частичку самостоятельности.

— Ну, этакъ вы договоритесь, что тяжелыя дѣла Дервизовъ, Мамонтовыхъ и прочихъ несуть Россіи новое иго... бельгійское или англійское, что ли.



— Бельгійское, англійское, французское, иго Ротшильдовъ и ихъ здѣшнихъ приказчиковъ Мемельберговъ и Блауштейновъ... А какъ же иначе-то? Сколько лѣтъ мы травимъ московскихъ капиталистовъ за косность и неподвижность? Мануфактуристовъ, что гребуть лопатами деньги за миткали и въ усъ себѣ не дуютъ на всякія «богатства», «нѣдра», «непочатые углы», да «нетронутыя цѣлины»<sup>2</sup> Возмутительно! Лежатъ люди на милліонахъ и знать ничего не хотятъ: какія тамъ инициативы? была бы кубышка! Но вотъ является капиталъ съ инициативою, раскачивается, принимается за назрѣвшее, государственное предпріятіе... Эхъ, сидѣль бы ты лучше на миткалѣ, да приумножалъ кубышку! доброжелательно говорятъ ему москвичи. — Ладно! Приумножайте вы, а мы поработаемъ!.. Трудится, устраиваетъ, ворочаетъ милліонами, расходуетъ милліоны, раскидывается—по огромному масштабу отечества нашего—на сотни второстепенныхъ прикосновенностей къ дѣлу... что же получаетъ онъ въ концѣ концовъ? Глубочайшее недоброжелательство, стремленіе подорвать ему кредитъ, и безъ того заторможенный, самую разностороннюю агитацію, чтобы сорвать его дѣло, всякое лыко въ строку—да и строку то красную—въ прессѣ, страшную конкуренцію иностраннаго капитала, которую приходится выносить одинъ на одинъ, и перспективу—что, когда неравная борьба сломитъ его силы, никто не поможетъ, всѣ закричатъ, ну еще бы! такъ и надо было ждать! Мы давно въ томъ были увѣрены!.. Такъ ему и надо! не суйся не въ свое дѣло!.. Дави его, топи! И такъ часто раздается это «не свое дѣло», что я просто недоумѣваю: какое же, наконецъ, для нашего брата дѣло *свое*? Если это—фабрикація миткалей и набиваніе кубышекъ, тогда зачѣмъ же насъ попрекаютъ имъ, зачѣмъ требуютъ отъ насъ другихъ, болѣе жизненныхъ инициативъ? А если нужны инициативы, зачѣмъ душить тѣхъ, кто ее про-являетъ?



**Несторова лѣтопись за 1899 годъ.**

Фельетонъ этотъ, написанный на quasi-славянскомъ языкѣ подѣ Несторову лѣтопись, уродился очень счастливымъ: имѣлъ большой успѣхъ и широкое распространеніе. Перепечатаваю я его, вопреки совершенной устарѣлости, потому, что онъ вызвалъ въ послѣдствіи много подраженій, изъ которыхъ инья ошибочно приписывались мнѣ. Поэтому, я и рѣшилъ включить въ «Накипь» эту вещь, какъ единственную, первую и послѣднюю, мою шутку въ семъ исключительномъ стилѣ. Остальныя не мои—«просяты остеа регатыя подѣлокъ».

1903.

## Се повѣсти временныхъ лѣтъ, откуда есть пошелъ 1899 годъ отъ сотворенія же міра 7407-й.

Бысть въ народѣхъ прѣ о поединцѣхъ, инославне глаголемыхъ дуэль. Тягахуся онъ на онъ, яко военнии, тако и штатстїи, и сотворися кричаніе многое. Овые супротивници многой крови алкаша, мечи возблистанія и пистолей стрѣлянія. Овые же, съ разумѣніемъ, восклицаху: оле вамъ, малосмысленнымъ! аще ли крови алчете, се сыти будете и черниломъ! И многіе князи, и бояре, и чтивые люди ревоваху прѣ сей, такъ что мало-мало въ ней живота своего не положить. Въ первыхъ же помянути Петерсена Володимера, мужа честна, гласомъ трубна, перищемъ необузданна, отъ страны Скандинавсьтѣй суца, Выборгомъ именуемой, кренделіе сдобно ядуца; той же Володимеръ инако речеть себе А—тъ. И Кирѣва Александру, и Навроцкаго Александру, и Новикова Александру, и Цертелева князя, и Драгомпрова Михайлу, и иныхъ воя и князя, ихъ же имена ты единъ, Господи, вѣси.

Паче же всѣхъ вопіаше Кирѣвѣ Александра, мужъ почтенъ, иже въ эполетѣхъ генеральстѣхъ, а супротивникъ ему сый Новиковъ Александра, Ивановъ сынъ, отъ кореню дворянска прозябый и земско-начальническъ чинъ отъ младости на ся приемляй. И лютоваста воя тѣ на листѣхъ печатныхъ, мало даже не до сего дня, и не даста другъ другови замиренія, а толку не обрѣтоста. И міръ, онъ же во фрязѣхъ речется публика, такожде толку не

обрѣте. Тако Александра на Александрю налѣзаше и Александра Александрю не позна.

Новикову же Александрѣ, Иванову сыну, въ земско-начальничествѣ чинѣ сущу, угобзися добронравіемъ, яко кошница, и благоутробіемъ, яко жезлъ Аароновъ, процвѣте. Народу судъ творяй, егда налѣзашу въ гридницу его, яже зовется камера, смерди, мужици рекомые, онымъ смердамъ не токмо зубы не выбиваше, но паче того — аще смерда, мужика рекомаго, беззуба зрѣлъ, — зубы ему, за свой коштъ, отъ земско-начальническа милосердія своего, вставляше. И бѣ за то не токмо въ газетѣхъ похваленъ, но и отъ врачей зубныхъ много одобряемъ. Мужици же, яко неблагодарни суть, недоумѣваху, со непщеваніемъ велимъ, арыкучи: земско-начальниче! Се — зубы, да ядемо, даль еси ны, чесо же зубами ясти не имамы!.. И возскорбѣ Александра Новиковъ, Ивановъ сынъ, и возстрочи о томъ во курантѣхъ статьи мнози.

Димитрію же Бодиску, отъ племени Батыева, еже киргизъ-кайсаци суть и злые наѣздници, за обиду стало, что Александра пишетъ во курантѣхъ статьи мнози, и се — потягль есть на оны, со ордою великою, и «Вѣдомости Московскія», и прочіе нечестивые агаряне совокупишася съ нимъ. Ведоша же рать боляре: Грингмутъ Володимеръ, человекъ русьскій, жида и нѣмцы не терпай, Ромеръ Ѳеодоръ, Эмилиевъ сынъ, человекъ русьскій, жида и нѣмцы не терпай, да еще Володимеръ князь Мещерскій, Петровъ сынъ, мужъ бѣсогласенъ, жида и нѣмцы не терпай. Эспера же князь Ухтомскаго, сына Эсперова, не бяше съ ними, понеже, проходящу ему, боляринъ Грингмутъ со дерзновеніемъ рече: Русьскые люди есмы. Эсперъ же русское ли имя носиши? Не можешь идти съ нами; мнимъ ты инородца и сепаратиста быти суща!.. И отъиде Эсперъ, посрамленъ бо бысть, и дерзновенію ихъ изумися много. И недоумѣваше: то ли суть патриоти, то ли разбойници?

И воззва Новиковъ Александра Грингмута Володимера и рече ему: Выпусти ты свой мужъ, а я свой, да борета ся; аще Димитрій Бодиско ударить мною, да азъ не пишу статьи мнози за три лѣта; аще же азъ ударю Бодискомъ, да онъ не пишетъ за три лѣта. И рече Бодиску Грингмутъ Володимеръ: можеша ли ся съ нимъ бороти? Бодиско же, сложа персты, показа Новикову Александрѣ, Иванову сыну, знакъ масонскъ, отъ смердовъ кукишъ глаголемый, и возопи гласомъ велимъ: нашли дурака! Натко—выкуси!.. И не восхотѣ бороти ся съ Александромъ Новиковымъ, Ивановымъ сыномъ, возжалѣше бо вельми гонорарія своего, онъ же прія за статьи мнози.

Учредиша украинци, иже ся малоросси глаголють, союзъ нѣкій, да іудеомъ други сотворятся, и совокупишася со іудеями во храмнѣ Думстѣй, да союзъ свой молитвою укрѣпити, вожди, иже предсѣдатели и членове почетные рекутся, избрати и тако вкупѣ и влюбѣ трудъ почати. И азъ, многогрѣшный писатель правды житейскія, быхъ, по смиренію своему, въ совѣтѣ томъ и, ей же скорби приключитися, зрѣхъ тыя очима своима. Яко избраша вождь, Мірдівца Данилу, діда ветха денми зѣло, сердцемъ подобна горлицѣ дивѣй яже на вербі сидяща смиренномудре курлыка. И еще избраша Федоровскаго генерала, мужа добляго, избраша же его, зане отъ младости іудолубивъ бѣ іудолубія его ради. И возрадахуся яко жидове, тако и малоросси, и плескаху рукома, и воспѣваху пѣснь. Но се злой духъ, глаголемый сатана, согласію супротивникъ и дружеству чловѣковъ издревле ненавистникъ сый, возрѣ на соборъ чловѣчскъ и зубами во злѣ възскрежета. И вниде лукавый сатана въ генерала Федоровскаго, мужа добляго, иже предсѣдатель избранъ бѣ. И вскочи Федоровскій генераль незапу на нозѣ своя и паче того незапу рече ко малороссы: панове козаци! избіемо жида!.. И бысть страхъ велий, и недоумѣніе вящее, и ужась іудеомъ, и малороссомъ неразумѣніе; предсѣдатель же, глаголь продолжая, руцѣ

\*

простирающъ и взоры сверкающъ, вопіяше: не лѣпо ли нынѣ башеть погрому быть?.. И бѣгоша людіе изъ храмины Думстѣй, во страстѣ ко проходящимъ взывающе: Се—предсѣдатель нашъ уже взбѣсился! чи, пане, часомъ не психіатръ ли есте?.. Данило же Мірдівецъ огорчился зѣло и плакася горько, дивяся прельщенію сатанинску, еже сотвори злобѣсный духъ соблазнъ велій, рекомый скандалъ.

Мѣсяцу маію суццу, придоша на Русьскую землю воевать иноплеменници, рекомые банкири отъ страны Белгской, отъ страны Фряжской, отъ страны Угорской, наипаче же отъ Парижа-града, идѣ же великій ханъ ихъ сидитъ. А имя ханови Ротшильдъ речется, а въ певѣрномъ законѣ ханъ твердъ, и, аще ханъ свиню имать, самъ не ясть, но сосѣдомъ, инша закона суцимъ, ту свиню подкладающъ творится. И внесоша тѣи окаяннїи банкири на Русь казну многу, юже людіе «иностранные капитали» зовуть, и помутиша казною народъ русьскїй, елицы суть желѣзно-дорожници, и биржевици, и заводчици, и промышленници, глаголемые фабриканти. Мутяще же, златомъ бряцаху и срамными листы, иже векселя суть, вѣяху и вопіяху источными гласы: Се, люди гостипные, несемо вамъ кредитъ, кабалу рекомую. И ханъ Ротштейнъ во главѣ сихъ, и ханъ Вавельбергъ, и иные ханове, ихъ же имена не лѣпо башеть помянути ту, глаголено бо есть въ Писанїи: отыди отъ зла и сотвори благо.

И тако обольстиша иноплеменници народъ русьскїй. Егда же обольстиша, мучаху зѣло должници своя, желѣзно-дорожници, и биржевици, и заводчици, и промышленници, глаголемые фабриканти; срамные листы, иже векселя суть, ко взысканію представляху, листомъ же срамнѣйшимъ, акціи имя имъ, цѣну на биржѣ роняху, по гривнѣ за рубль хитроумне скупаху и ставяху должници своя на правезъ, съ немилосердіемъ пристрастїе вопіюще: Се убо година ваша приде,—платите оноколь!.. Аще же не платяша, разоряху дома тѣхъ, беруще пожитки ихъ на ся за долгъ

бывый, и узы налагаху, и въ темпицы ввергаху. И многъ русьскый людъ тако нечестне изгибе.

Первое же, егда пріити нечестивымъ иноплеменникомъ на землю Русьскую, изыде противу имъ фонъ-Дервизъ Павелъ, желѣзподороженъ круль сый. А воевода полку его бѣ Померанцевъ Александра, мужъ славенъ, не столь во многихъ ратѣхъ и боехъ одолѣніе стяжавый, сколь ногоплясанія позорищныя, яже балеть рекутся, нарочито одобрай. И бившимся имъ, побѣдиша иноплеменници фонъ-Дервиза Павла съ Померанцевымъ Александрю и сотвориша имъ крахъ велій, поли до снятія порты съ ногъ ихъ. И пустиша на вѣтеръ дорози ихъ, и флоти ихъ, и дворци ихъ, и нарекоша зле имя имъ: банкроти есте. Людъ же русьскій, глядый, еже творять нечестивіи иноплеменници, ужасашеся въ сердцѣ своемъ. И бѣ трусь и смятеніе веліе, и абіе биржа упаде.

Такожде изгибе Мамонтовъ Савва, тысячникъ, отъ людей посадскихъ, мужъ доблій, въ искусствахъ искусенъ и науки наученъ. Въ гусли и тимпаны бряцающъ, гласы поющъ, стихиры пишуцъ и болваны лѣпящъ. Онколяху Савву окаянніи иноплеменници яко три мѣсяцы, и не стерпѣ Савва, зане нарочито испотрошенъ бысть. И свершишася судьбы его, и взянъ бысть чрезъ игемона, иже глаголется прокуроръ, и вверженъ въ темницу. Нечестивіи же банкири рукома плескаху и главами помаваху, единъ другому рекуще: Побѣдили есмы казну русьскую. Аще ужъ Савва сидитъ, и другимъ сѣсти будетъ. Людъ же русьскый паки ужасашеся въ сердцѣ своемъ, и паки бѣ трусь и смятеніе веліе, и паки биржа упаде.

Той же Савва, во узахъ суцъ, не удручися духомъ, но, — стихиры для позорищъ мусикійскихъ, яже оперы суть, стихиры же оныя отъ фряговъ либретты нарицаются, составляяй и паки болваны изъ глины лѣпйя—такъ заточенъ пребываше.

А стражъ бѣ Саввѣ Шараповъ Сергѣй, допрежъ того



со разбойници пера на шарапъ ходивый, посему отъ шарапа есть имя ему. И поносый Шарапка безстудникъ Савву во всё дни живота его, и главою помаваше, «Сарынь на кичку!» привычне вопіай. И бѣ то Саввѣ на пагубу конечную. Шарапка же отъ пагубы его добра не стяжа.

И вниде злой духъ, иже речется діаволь, во Шарапку-безстудника, и се възбѣсися Шарапка и нача бросатися на людѣ мимо идущѣ и, лаяй, кусаше онъ. Бѣ же въ народѣ женка нѣкая, въ русьскихъ слывущѣ Елизаветъ, яко же въ нѣмцѣхъ жила, стало Эльза имя ей, отъ Эльзы княжны Брабанстѣй, являемой на бѣсовскомъ игрищѣ мусикійскомъ, рекомомъ «Лоэнгринъ». Бяше бо Елизаветъ ко игрѣмъ бѣсовскимъ привержена зѣло и, жена книжна и письменна бывъ, сама отъ разума своего игры сочиняше и, мнози скомороси и бахари совокупа, являше игры своя на позорище народное, глаголемое театръ.

Эльзѣ той безвредне мимо идущей, наскочи на ю Шарапка-безстудникъ, бѣшенъ бо бѣ, и кусаше, зле лаяй ю, поношенія изрыгающѣ многы. И распалися духомъ Эльза, и рече: чесо сотворити имамъ злодѣю сему? Нѣсть бо мнѣ мужъ, братъ, ниже любовникъ, и некому защитити мя, — дѣва бо есмь. Но се воззову отъ улицы Невстѣй, тоя же есть проспектъ, мужи два, во краснѣхъ шапцѣхъ ходящи, служащи на посланіе челоувѣчесько, понеже артельщици суть. И се дамъ артельщикома плату многу, рубль серебра, да возьмутъ палцѣ въ руцѣ своя, и да идутъ по Шарапку-безстудника, въ домъ его, рекомый редакція. Нашедше же, да подымутъ палцѣ своя и да пропишутъ Шарапкѣ-безстудникови на весь рубль серебра, что есть кузькина Мать!

Тако рече и убоися Шарапка-безстудникъ свирѣпныя жены сея и побѣже отъ нея въ мѣсто пусто, мѣсто безводно, мѣсто безплодно, и тамо окаянные погиге между чехи и ляхи.

Маію же мѣсяцу истекающу, учредиша людіе петербургстїи празднества не весьма великія, Пушкина память чтуще.

И, егда совѣтъ творяху, како празднество устроить и знаменіе пристойше ему сотворити, есть бо Пушкинъ той мужъ премудръ зѣло, сладкопѣвень, стихослагателень и любезень всему народу русскому на вѣки вѣковъ,—ту возста Комаровъ Виссаріонъ Виссаріоновъ сынъ, генераль сербскій, и рече слово, яко воструби въ трубу звончату: Отцы и братіе! Чесо ради вчерашень день ищете? Аще знаменія памяти Пушкина Александра алчете, се азъ дамъ его вамъ. Соберемся въ палату офицерскую, яже на углу Литейной и Кирочной, и учредимъ жратву велию — даже до снятія поясы. Роспись же жратвѣ, отъ фряговъ меню рекомое, азъ сотворю вамъ отъ доброты моя. Зане, аще въ генералѣхъ не весьма славень есмь, не имамъ соперници въ поварѣхъ; аще въ литераторѣхъ чужанинъ числюсь, нѣсть ми искусникъ равень въ художествѣ метръ-д'отельствѣмъ. И вняху людіе Комарову Виссаріонову и совокупшася въ храмину, и жряху—яко глазамъ полѣзти на лобъ. И кулебяку съ вязигою, и сѣдло бараніе, и слизняци поганые, въ раковины заключенни, иже суть устерсы, и наваръ черепашій и всякое, еже измысли отъ разума своего Комаровъ Виссаріонъ, въ метръ-д'отельствѣхъ приснопамятный.

И содѣяся оттого сборищу пицевареніе изобильное, а Пушкину великая слава. Сборище же, еже въ храмину совокуплено бысть, иностраннѣ глаголемое компанія, бѣ не велика, но честна: Виссаріонъ Комаровъ, два мужи полицействія, да двое цензоры, не къ ночи тому слову речену быти.

Сладкопѣвци же, стихослагатели, мужи, куранты издающи и пишуци, книжници и учителіе людствія и прочіе, иже себе литератори рекутъ, не придоша на празднество. Ибо, зряще Комарова съ компаніей за столы сидяци и устерсы глотающи, ужасохся зѣло и бѣжаху прочь, между собою глаголюще: яко мужи сіи устерсы глотають, тако они и наеъ пожрутъ!...

Бѣжаху же ажъ до Святыя Горы, идѣ же прахъ Пушкина Александра, Сергѣева сына, со праведными упо-

кояеться. И сотвориша ту игрища бѣсовстїи, яко скомороси и бахари отъ позорищъ петербургстїихъ съ собою захвативше. И Юрьева Георгїя, во младѣхъ лѣтѣхъ суща, и Яворскую Лидїю. И явиша мужикомъ святогорстїмъ любо-страстїе донь-жуанское, еже Пушкинымъ сладкопѣвне сотворено бысть на соблазнъ человѣческъ и нареченно «Каменный гость». А Барятинскїй князь стихиры чель на языцѣ фряжскомъ и, внемлюще, дивяхуся мужици святогорстїи, яко словеса его уразумѣти не могутъ, а усердіе его зримо есть даже до испарины.

Игры же бѣсовстїи отыгравше, сотвори воевода псковской, предводитель дворянства сый, жратву велїю. И позваше къ трапезѣ вси сладкопѣвци, стихослагатели, мужи, куранти издающїи и пишущи, книжници и учителя людстїе и прочїе, иже рекутъ себе литератори, а такожде бахари и скоморохи. Лухманову же Надежду болярыню, да Фаресова Александра не позва. И оскорбїся духъ ихъ, и восхотѣша бѣжати отъ Святыя горы, и, подъ дождемъ бродяще и за свой коштъ колбасу псковскую жующе, вопїяша жалостне: коня, коня! полцарства за коня! И рекоша имъ мужици святогорстїи: кони суть у урядника. Шедше же къ урядникови, ноци сущей, обрѣтоша его воздреманна, спяща. И изыде къ нимъ урядникъ въ штанцѣхъ бѣлѣхъ и, зѣваяй, яко китъ, Іону поглотшїй, громогласне вопроши: Какого чорта по ночамъ шляетесь?... Болярынѣ же Лухмановой Надеждѣ, егда видѣста очи ея мужа урядника, во бѣлѣхъ штанцѣхъ суща, изступи умъ. И возопи болярыня гласомъ велїимъ: ахъ, кель пассажъ!—и побѣгла есть въ Петербургъ-городъ. И писаста Лухманова Надежда и Фаресовъ Александръ статьи мнози о штанцѣхъ урядниковыхъ, мняще въ оныхъ неуваженїе предводительское.

Бѣ во игрищѣхъ петербургстѣхъ бахарь пѣкакїй, на гласъ тонкїй, иже теноръ зовется, воспѣвающъ, и Фигнеръ имя тому. Прїятењ зѣло бяше мірови петербургстѣму, глаголемой публицѣ, наипаче же дѣвамъ и женамъ безумнымъ,

елицы, древнимъ амазонки подобяся, о тѣхъ же и у святыхъ отецъ писано есть, именовалхуся дерзновенне психопаткы.

И той Фигнеръ бѣ Скилтѣ баснословнѣй подобенъ, яко эллипы рекутъ о ней, глаголюще: ликомъ красна зѣло и гласомъ сладкопѣвна, пизу же баше собаки опоясана, да гласомъ и ликомъ челоуѣкъ къ себѣ приманивъ же, чрезъ собаки пожретъ онь.

Такожде и Фигнеръ, чуденъ гласъ имѣяй, воспѣваше, яко птица кинарей, правъ же его собаческъ бѣ. И егда Фигнеру въ пути быти, мордобоенъ творящеся зѣло и избиваше тати желѣзнодорожніе, иже рекутъ себе инженери. И содѣлася инженеромъ страшенъ вельми, ажъ до трясенія животы. И коли слуси быша: се Фигнеру Николаеви изъ Петербурга града ко странѣмъ южнѣмъ желѣзными дороги ѣхати,—толи разбѣгахуся съ дороги той вси инженери, тати желѣзнодорожніи и прочіе воровскыя люди, вопіюще: бѣда есть! се уже Фигнеръ Николай идетъ на ны—царапати лики наши и кожу драти съ ны! И, заше инженери покидаху. дороги своя, творяхуся дороги въ онь часъ безопасни зѣло, и путници, рекомые пассажири, безпечне бѣдуще, славяху Бога.

Возвратившуся же въ Петербургъ градъ, наченъ Фигнеръ Николай, отъ злонравія своего, котору многу противу женѣ нѣкакой, отъ молдаваньствѣхъ странъ сущей, и райскими гласы на позорищѣ мусикійскомъ, еже зоветься Маріинскій оеатръ, обычне воспѣвающей. А имя женѣ той Куза Валентина, башеть бо отъ роду Кузова. И рече Фигнеръ Николай Кузѣ Валентинѣ: не вмѣстно мнѣ пѣти съ тобою; отыди, Кузо, да поеть мнѣ супруга моя, свѣтъ Медея Ивановна. И огорчися Куза Валентина зѣло, и оросишася ланиты ея токи слезными, и вопіяше на гласъ источень, прибирающа Фигнерови словеса мокрыя — понеже слезна башеть. Фигнеръ же Николай, егда слышати ему мокрыя словеса, чьто Куза рекла есть, озвѣрися зѣло и отвѣ-

ща той невступне рыбьими словеса, отъ нихъ же стѣпѣмъ театральнѣмъ, кулисамъ сущимъ, краснѣмъ сотворитися. Кузѣ же Валентинѣ, слышущей рыбы словеса, изступи духъ, и се—паде, яко мѣртва есть, на помостѣ театральномъ, иже рампа нарицается. И глаголаху Фигнерови людие: Оле злонравію твоему! Аще не зришь еще, яко сотворилъ еси Кузѣ Валентинѣ пакость велию? Фигнеръ же отвѣща противу имъ: А мнѣ въ высокой степени наплевать!

И се раздѣлишася людие петербургстіе овые за Кузу стояти, овые Фигнерови сопрягшеся. И бѣ смятеніе велие, и преніе словесное, и избіеніе человѣкы. Елицы же за Кузу стояху, глаголаху: не лѣпо содѣялъ еси, Фигнере, яко обругалъ еси Кузу Валентину, жена бо есть, и нѣсть то свычай лыцарскъ, жены рыбьими словеса лаяти. Елицы же Фигнерови сопряглись, вопіяху: Вольно есть Фигнерови не токмо Кузу Валентину, но всѣ Кузы, подъ солнцемъ сущы, лаяти рыбьими словеса, токмо бы пѣлъ ны!.. Понеже во дни оны преста пѣти Фигнеръ Николай на позорищѣхъ мусикійскихъ, аще и платяй пени и протори мнози.

А мѣсяцу февралю въ день осьмый, сотворися сколота велия на рѣцѣ Невѣ, близко двумъ болваномъ египетскимъ, иже сфинкси суть. Но о семь —увы! увы!—наименьше.

И паки биржа упаде. И великъ человѣкъ, ему же дано есть финансы вѣдати, воззваше нечестивіи банкири и рече имъ: что сотворили есте, чада бѣсовы?!.. Тии же молчаху. А биржа паки упаде.

И посла великъ человѣкъ, ему же дано есть финансы вѣдати, листы мнози, иже глаголятся «серьезное успокоеніе», и читаху вси людие и ликоваху въ сердцахъ своихъ, яко минула есть бѣда, отъ банкири сотворенна, и се начатися изобилію плодовъ земныхъ и временѣмъ мирнымъ. А биржа паки упаде.

Собравшеся князи и бояре и великіе люди, совѣтъ держаще, како устроить людѣ дѣтескъ, елицы студенти суть,

абы науки учились, себѣ на пользу, родителемъ же на утѣшеніе. И устрояху князи, боляре и великіе люди прожектъ нѣкакій, глаголемый «общеніе», да пасется левъ рядомъ съ агнцемъ и волкъ съ козлятемъ, и первокурсникъ рядомъ съ педелемъ. И да сотворятся междулюдіе нѣціи, иже подпрофессори и надстуденти нареченны быти имуть. А что есть надстудентъ, что подпрофессоръ, тайна сія глубока есть; и не вольно есть уму человѣческу увѣдѣти ю. И, кто тайну сію отгадаты восхоцетъ, не жити тому даже и три дня, понеже лобъ лопнетъ. И устрояхуся общенія чаямыя, и се бысть реченное пророкы, яко вѣкъ наступи златый, и левъ пасеться рядомъ съ овчатею, и волкъ съ козлятемъ, и первокурсникъ рядомъ съ педелемъ. Подпрофессори же и надстуденти не уявишася людемъ даже до сегодня. Чаемо же отъ многихъ, яко приидуть ти подпрофессори и надстуденти токмо во времена оны, егда быти преставленію свѣта, и мертвыхъ воскресенію, и страшному судищу Христову. Писано бо есть у отецъ, яко во дни тѣ изыдутъ гоги и магоги, и иные дивіи народи, ихъ же заключи въ горѣхъ Гидерборейскихъ Александръ Македонскій, воитель бывый.

Еще сотворися казнь грѣхомъ нашимъ. Посла Богъ гладъ великъ на людъ дѣтескъ, иже студенти суть, и не возмогаша платити за науки своя, лекціи рекомыя, и се многіе наукъ ужь лишени суть, оскуденія своего ради. И бѣ плачь и рыданіе многое, и студентомъ горькая пагуба, родителемъ же несносная скорбь. Помощи же ищуще, малу обрѣтоша.

Еще сотворися казнь грѣхомъ нашимъ. Посла Богъ нашествіе иноплеменники рекомыхъ марксисты, глаголющи ся отъ Маркса Карлуса рожденни быти. И бѣ то слово ихъ обманное, зане Марксъ Карлусъ мужъ нарочито мудръ бѣ, изъ сихъ же, марксисты ся рекущихъ, ни единъ наслѣдственныя черты сея не уяви. И метахуся, яко бѣсновати, и воеваху земь Русьскуюю, и общину, и міръ, да не быти имъ. А земли, рекутъ, мужику не надобѣ, а пашни ему не

пахати, а хлѣба ему не растити, понеже хлѣба мужикъ, аще возалчетъ, и у нѣмца купить можетъ, у нѣмца гостиннаго, иже пекарни имать, глаголемыя булочныя. И въ деревнѣхъ и селахъ мужику не быти, житѣ же свершаги во градѣхъ, на фабрицѣхъ сущихъ. И, аще содѣяти по глаголу ихъ, быти, рекутъ, въ онъ часъ на земли избылію многому, и рѣкы млечныя, и потоци медовые во брезѣхъ кисельныхъ текущи. Мужикови же, рекутъ, наивящее всѣхъ благо будетъ, во простыхъ людѣхъ глаголемое лафа, отъ мудрыхъ же книжници — фабрично-промышленная эволюція.

И се потягъ есть на марксисты Энгельгардтъ Николай, но, яко дѣтескъ и малосмыслень башеть, одолѣнія не стая, посмѣяніе же и главы покиваніе многое. Оболенскій же Леонидъ, Егоровъ сынъ, мужъ нрава кротка и брады апостольнѣй, миръ и согласіе любя, тѣшася котору пресѣщи, абіэ глаголяй: Горе вамъ, марксисты и народници, чѣто бѣете другъ друга, взаимно творяще обиды и пакости велія. Не добро и беззаконне творите сіе, понеже братья есте!.. Тако рече Леонидъ, мня ся Іеремію пророка быти. Марксисты же, родъ безуменъ сый, и народници Леониду, яко жидове Іереміи, не внимаху, главы на онъ покиваху, персты своими на Леонида глумливе тычуще, языки Леониду обычаемъ дѣтскимъ показующе, носъ творяще, и со дерзновеніемъ восклицающе: гради себѣ, плѣшиве!.. Бѣ бо Леонидъ, Егоровъ сынъ, лысь аки Елисей пророкъ и всѣ пророци. Въ томъ лишь пророкомъ подобень бѣ.

Эволюціи же не свершающейся и избылію не настающе, паки биржа упаде. И рече великъ человекъ, ему же дано есть финанси вѣдати: не ужасайтесь, мужи-промышленници и люди гостинные, аще злата не имате; се бо злато на востокъ ушло... Они же, неразумніи, не престаша ужасатися и непщеваху и плакаху горько, кычуще яко зегицы: господине! то ли на востокъ, то ли на закатъ ушло, равно есть ны,—зло же наше есть, яко въ карманѣхъ и кассѣхъ нашихъ злата не пмамы!.. И паки биржа упаде!..

1900.









PG 3451 .A7 .Z35  
Zhiteiskaia nakip'

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 035 708 838

PG  
3451  
.A7.Z3

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

